

Р. А. БУДАГОВ

ЧТО ТАКОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ЯЗЫКА?

*2-е издание, дополненное*

МОСКВА • 2004

УДК 80/81  
ББК 81  
Б90

К печати книгу подготовила  
*А.А. Брагина*

**Будагов Р.А.**  
Б90      **Что такое развитие и совершенствование языка? 2-е изд.,**  
доп. — М.: Добросвет-2000, 2004. — 304 с.

ISBN 5–94119–023–9

В книге сделана попытка показать, как следует понимать проблему развития и совершенствования языка. Без осмысления и обоснования этой проблемы всякие изменения в языке невольно сводятся к «теории коловращения форм», ничего общего не имеющей с учением о поступательном развитии всей человеческой культуры, в том числе и живых языков человечества. Исследование опирается на материал русского и западноевропейских языков.

Издание предназначено для лингвистов, филологов и культурологов.

**УДК 80/81**  
**ББК 81**

ISBN 5–94119–023–9

© Р.А. Будагов, 2004 г.  
© Оригинал-макет издательства  
«Добросвет-2000», 2004 г.

---

---

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Брагина А.А.</i> Язык и человек в развитии и совершенствовании .....	4
<i>Чичерин А.В.</i> Совершенствуются ли языки... и литературы? .....	5
<i>Макаров В.В.</i> Что такое развитие и совершенствование языка? .....	10
<i>Вводные замечания</i> .....	16
<i>Глава первая.</i> С какими трудностями сталкивается теория совершенствования языка? .....	21
<i>Глава вторая.</i> Совершенствование языка в области лексики .....	44
<i>Глава третья.</i> Совершенствование языка в области грамматики .....	91
<i>Глава четвертая.</i> Историческое совершенствование научного стиля изложения .....	125
<i>Глава пятая.</i> Научно-техническая революция и процесс совершенствования языка .....	154
<i>Глава шестая.</i> Эстетические возможности языка .....	170
<i>Глава седьмая.</i> Проблема развития языка в некоторых направлениях структурализма .....	192
<i>Глава восьмая.</i> Что означает словосочетание «современная лингвистика»? ..	211
<i>Заключительные замечания</i> .....	223
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	
Возникновение литературных языков в романских странах .....	229
Общепонятные и литературные языки ..	236
Понятие о литературном языке и его специфика .....	247
Определяет ли принцип экономии функционирование и развитие языка? .....	257
Система и антисистема в науке о языке ..	280
Несколько замечаний о взаимодействии теории языка и теории литературы .....	290
Об одном интересном издании, посвященном художественному творчеству ..	296

---

---

---

---

ЯЗЫК И ЧЕЛОВЕК  
В РАЗВИТИИ  
И  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ

Язык развивается, а развиваясь, имеет шанс для совершенствования. В это верил Р.А. Будагов, верил, убеждаясь на опыте изучения разных языков (романских, германских, русского и некоторых других). Это не значит, что язык не может погибнуть! Но гибнет, борясь! Угадывая силу добрую и отвергая губительную. Вот почему в заглавии настоящей книги поставлен вопрос — призвать к размышлению, дискуссии, привлечь внимание к проблеме, поддержать беспокойность: порча? совершенствование? или топтание по кругу? или?..

Появились вопросы, дифференцировались, объединяя в чем-то разные, а в чем-то близкие книги автора. Так сближаются «Сравнительно-семасиологические исследования» (1963), «История слов в истории общества» (1971) и «Сходства и несходства между родственными языками» (1985).

Книга «Что такое развитие и совершенствование языка?» (1977) словно подсказана предшествующей «Литературные языки и языковые стили» (1967) и продолжается в работе «Язык — реальность — язык» (1983). И тут уже нельзя не заметить, что главная связь, никогда не прерывавшаяся во всех трудах Р.А. Будагова, — это связь «Человек и его язык». Человек, воздействуя на язык, меняется сам. Взаиморазвитие «человек → язык» и «язык → человек» раскрывается на страницах трудов Рубена Александровича Будагова в его филологическом понимании.

*А.А. Брагина*

---

---

---

---

СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ  
ЛИ ЯЗЫКИ...  
И ЛИТЕРАТУРЫ?

Филология всегда объединяла литературоведение и языкознание, которые то в большей, то в меньшей степени взаимно пропитывали друг друга. Во всяком случае, на двух отдаленных этапах русской филологии, в М. Ломоносове и в В. Виноградове, сочетались литературовед и лингвист.

Есть и голоса, утверждающие, что эти две ветви единой науки разошлись в разные стороны и ушли друг от друга так далеко, что между ними общего ничего не осталось.

И в самом деле, немало лингвистических книг, статей, диссертаций, в которых литературоведу, даже стилисту, нечего делать. Он в них пищи для себя не находит. И наоборот, лингвист, чем он хочет быть «современнее», тем дальше ему «полагается» находиться не только от литературоведения, но и от литературы как объекта исследования и как одного из путей, ведущих к пониманию языка.

Тем более интересно появление лингвистического исследования, весьма привлекательного для теоретика литературы, для стилиста.

Полный критический анализ книги Р.А. Будагова «Что такое развитие и совершенствование языка?» (М., 1977) — дело лингвистов. И нетрудно предвидеть, что она вызовет двойственное к себе отношение. Положительное со стороны, условно говоря, филологов. Отрицательное — со стороны «современных» лингвистов, структуралистов и сторонников математизации этой науки.

На страницах литературоведческого журнала позволительно рассмотреть эту книгу в своем плане. Полезна ли она, и если полезна, то чем теоретику и чем историку литературы? Чем она его обогащает? Над чем заставляет задуматься?

Совершенствуется ли язык? Из года в год? От столетия к столетию? В рас-

---

---

поряжении Кантемира, Жуковского, Лермонтова, Достоевского, Горького, Распутина тот же самый язык или разный? Стал ли русский язык за столько-то времени богаче или беднее, хуже или лучше?

Нужна ли готовность литературного и народного языка для того, чтобы стало возможным творчество того или другого писателя? И в чем именно сказываются такого рода неготовность или готовность?

Р.А. Будагов, сопоставляя факты из истории многих языков — латинского, французского, румынского, немецкого, русского, английского и других, — показывает, как к слову прирастают новые значения, то отменяя, то сохраняя прежние. Не затемняя исконные значения и внедряя такого рода оттенки, которые на прежней стадии не были приметны. При этом, по мысли Р.А. Будагова, полисемия не только не вредит ясности понимания слова, но создает в нем своего рода игру и делает более рельефной свойственную слову жизнь. Возникают и новые слова при расчленении смысла сохраняющегося слова. Так, французское слово *poudre* означало 'пыль'. Оно получило новое дополнительное значение 'порох'. Тогда слово *roussière* вышло из диалекта и вошло в литературную речь. Чтобы недвусмысленно обозначить — *пыль*. Так же и в русском языке *порох* значило 'пыль' («от зноя земля порох порохом», чисто: «без пороха и паутины»). А когда это слово приобрело иное дополнительное значение, возникшее по внешнему сходству, на выручку ему пришло слово *пыль*.

В главе «Совершенствование языка в области грамматики» очень убедительно показано, как с течением времени перестраивается синтаксическая система.

При этом оказывается, что стилистические соображения играют весьма значительную роль. Так, в литературной речи XVII в., не только у Мольера, у Сен-Симона, но и у изысканно пишущей М. де Лафайет такие нагромождения *que*, что эти *que* толкают друг друга и застревают у

читателя в горле. В буквальном переводе получается: «...камень... который... который вы видите, который...»

У Бальзака и его современников такого рода явление значительно убывает, а потом — не только у самого Флобера, но и в его время — оно становится совершенно невозможным даже у посредственного писателя.

Переходя от языка к литературе, нужно заметить, что историки французской литературы обычно отмечают *совершенствование* литературы. Великие писатели первой половины XIX в., Бальзак и Стендаль, *не умели писать*: нечто хаотическое, несдержанное, патетическое у Бальзака, отрывистое, неотделанное у Стендаля. Зато Флобер создал школу литературного мастерства, из нее вышел Мопассан. Созрело такое умение писать, что и посредственный писатель пишет лучше великого Бальзака!

В верности этой схемы можно и усомниться. При всей хаотичности, а порой и патетике, в недрах стиля Бальзака есть оригинальность и сила, утраченные Флобером. В стиле Стендаля такая острота слова и такое движение мысли, что в этом отношении, может быть, и уступает ему Мопассан.

Видимо, в истории и языка и литературы совершенствование протекает не прямолинейно и не просто. В начале книги Р.А. Будагов упоминает такое явление, как *порча* языка. Но это явление в дальнейшем не раскрыто. Между тем мы с вами чаще слышим толки, порой и ворчливо-неосновательные, о порче, нежели о совершенствовании языка. Видимо, то и другое происходит одновременно, подобно тому как человек с каждым годом становится опытнее, учнее, но запоминание нового у него слабеет. Интеллектуальные способности и совершенствуются и портятся одновременно.

Кажется, невинная вещь, что молодые люди стали говорить: «практически я теперь не бываю в театре», «практически мы друг друга любим», а в газетах стали писать: «улицы практически

не освещаются». Одним дежурным словом стали затыкать весьма разного рода щели. Это один из признаков обеднения и порчи, который нисколько не противоречит одновременному процессу обогащения и совершенствования языка.

В главе «Эстетические возможности языка» убедительно сказано, что язык *не* «абстрактная коммуникативная система знаков». Очень верно и полезно замечание о том, что не в «красотах стиля», а в выразительности и идейной ценности слова — его значение и сила.

Однако вряд ли можно было при этом обойтись без анализа содержимой в слове, ищущей выхода эстетической энергии. Как именно слово, по мысли Потебни, стало произведением искусства? Поэт может усилить его действие или ослабить, даже свести на нет.

Р.А. Будагов различает *язык* и *речь*, но то и другое остается специально препарированными объектами изучения. А если рассуждать проще: выходят грамотно, а во многих случаях великолепно написанные книги. В XVIII в. в России читателей были тысячи. В XIX в. все возрастающее количество, доходящее до миллионов. В наше время — свыше ста миллионов читателей. Образуется ли мысль и *речь* читателя читаемая им книга?

В совершенствовании владения речью народных масс вряд ли можно сомневаться. Но не происходит ли одновременно другой процесс — оскудения народного слова, стандартизация языка?

И совершенствование, и порча идут своим чередом, то и другое отзывается и в художественной литературе.

Вот еще пример: проза Льва Толстого не лучше и не хуже прозы Пушкина, но в языке и «Детства», и «Войны и мира» сказываются сдвиги, происшедшие в русской мысли, в русском языке к середине XIX столетия. Язык Толстого не только вобрал то новое, что образовалось в народной речи, но переработал и усилил. Осложнение синтаксиса стало, и в живой речи и в литературе, инструментом, необходимым для тех



аналитических, синтетических и ассоциативных связующих сил, которые и в языке и в литературе ко второй половине XIX в. сформировались.

И в этом случае разрыв между историей языка и историей литературы неплодотворен. То, что мы видим в литературе, нужно уметь увидеть на более широком плане, в разных видах речевой деятельности изучаемой эпохи.

Книга Р.А. Будагова показывает в истории языка процессы, имеющие прямое отношение к истории литературы. Но у книги этой есть и другое достоинство: в отличие от очень многих работ по лингвистике, особенно по лингвостилистике, где в самом тексте бывает забыто о том, что такое язык, где его подменяет мертвая «коммуникативная система знаков», эта книга — хорошо написана.

Русский язык этой книги — действительно русский язык: живой, интеллектуальный, интонационно разнообразный и сильный. Аргументация захватывает в свою сеть много языков, много других книг. Читатель не только убеждается в верности основного положения, он попутно узнает много нового и нужного.

А как это важно, чтобы книга, особенно книга филолога, была написана хорошо!

*А.В. Чичерин*, г. Львов, 1978

---

---

ЧТО ТАКОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ЯЗЫКА?

На расстоянии четверти века с момента публикации книги Р.А. Будагова\* еще более четко выявляется ее теоретическая основательность, и не только в лингвистическом, но и в широком, общегуманитарном смысле. Если согласиться с тем, что полемическое острие книги было направлено против крайних структуралистских концепций того времени, то представляется интересным проследить их соотношении с новыми тенденциями в сфере гуманитарного знания, в период формирования, как часто говорят, современной научной парадигмы.

Если в «Сравнительно-семасиологических исследованиях» (1-е изд., 1963) Р.А. Будагов, очевидно, склонен следовать традиционному подходу, то в интересующей нас сейчас работе ему свойственна скорее синтезированная оценка исторической основы романских языков. В самом деле, судя по результатам анализа «Appendix Probi» — одного из наиболее значительных памятников предроманского периода, многое в системе современных романских языков получает объяснение благодаря фактам классического языка или на основе их взаимодействия с фактами вульгарной латыни. Иными словами, в этом чрезвычайно показательном случае идея исторического «дисконтинуитета» между разными языковыми эпохами не находит подтверждения. С исторической же точки зрения — и снова в отношении к постструктуралистской идеологии — большой интерес представляет критика, которой Р.А. Будагов подвергает теорию развития языка как движения по кругу (например, популярная в

---

---

\* См.: Будагов Р.А. Что такое развитие и совершенствование языка? М., 1977 (далее указаны страницы этого издания).

романистике тема периодической взаимозаменяемости синтетических и аналитических форм будущего времени).

По мнению Р.А. Будагова, ответ на вопрос, существует ли прогресс в языке и в каких формах он находит свое воплощение, зависит от понимания фундаментальной проблемы: каково отношение языка к людям, к обществу, использующему язык.

Если утверждается «общая зависимость состояния языка от уровня развития общества и мышления человека» (с. 235), то нельзя не признать корреляцию языка и человеческой культуры в плоскости их развития и совершенствования. Прогресс языка состоит в его способности приспосабливаться к новой общественной действительности, в улучшении основной его функции — служить потребностям (в широком смысле) «говорящих на данном языке людей» (с. 233).

При очевидности и привычности для нас данного тезиса в общем плане представляется необходимым тем не менее еще и еще раз подчеркнуть его значение. Ибо, по-видимому, только на фоне этого соотношения можно оценить и определить границы применимости некоторых специфических теорий развития языка. В первую очередь укажем на принцип экономии, который часто связывают, и не всегда справедливо, с именем А. Мартине. Р.А. Будагов считает, что в некоторых конкретных случаях применение этого принципа может быть достаточно эффективным, однако весь вопрос в том, какое место отводится экономии в системе факторов, детерминирующих изменения в языке. Если принципу экономии приписывается абсолютная сила, и он оказывается, таким образом, на высшем уровне детерминирующих факторов, то такой подход отклоняется, как, впрочем, и любая другая попытка объяснить изменения в языке без учета решающего принципа — общей зависимости состояния языка от уровня общественного развития и мышления.

В книге Р.А. Будагова значительное место отводится обсуждению вопроса о признаках, в которых выражается совершенствование языка. Это очень трудный вопрос, так как его решение зависит от учета большого числа взаимодействующих, нередко противоречивых явлений. Здесь вряд ли могут быть в полной мере полезны критерии частного характера: убедительные, может быть, в приложении к фактам, освещенным с одной точки зрения, они часто оказываются несостоятельными при оценке с более широких позиций, на историческом или типологическом фоне. Поэтому Р.А. Будагова интересуют в первую очередь «большие линии», по которым направляются языковые процессы. Среди возникающих при этом задач автор уделяет особое внимание тому, как соотносятся в этих процессах качественные и количественные показатели.

Количественные признаки лежат на поверхности явлений, особенно в лексической области. Стало обычным упоминание о стремительном росте словаря как прямом отражении интенсивных процессов в духовной и экономической жизни общества. По мнению автора, с такими фактами необходимо считаться, однако количественный аспект не может отразить главное в процессах языкового совершенствования, более существенны признаки качественного порядка.

Качественные оценки языкового явления формулируются на базе понятия его функциональной адекватности потребности говорящих. Р.А. Будагов полагает, что «завоевания человеческого разума и человеческого воображения» отражаются в закономерной смене оснований, на которых зиждется та или иная часть языковой системы. Примером может служить характер перестройки, которой подвергается полисемия слова в современных языках по сравнению с их древним состоянием. Эта идея, подкрепленная солидным фактическим материалом, представляется весьма плодотворной как с точки зрения общей теории прогресса в языке, так

и в плане исторической лексикологии — дисциплины, в которой еще очень сильны эмпирические положения. Слова не движутся, говорит автор, от полисемии к моносемии или от моносемии к полисемии. Суть дела, как правило, состоит в переходе от «разбросанной», структурно слабо мотивированной полисемии старого языка к «собранной», т.е. внутренне более организованной полисемии нового языка.

Формой выражения прогресса является и стремление языка к более четкой дифференциации грамматических категорий. Если в исторически отдаленные периоды наблюдается слабое разграничение тех или иных грамматических значений, то в ходе своего совершенствования язык устанавливает функционально обоснованные и формально выраженные различия между ними. Ученый показывает это на разнообразном материале, часто новом, не привлекавшем ранее внимания исследователей (например, анализ функций причастия настоящего времени во французском языке средних веков и нашего времени).

Этот тезис дает автору возможность еще раз аргументировать свои возражения относительно концепции движения языка по кругу. Из истории индоевропейских языков, например, известно, что имена существительные и прилагательные прошли долгий путь дифференциации. Вместе с тем в современных языках, в частности французском, отмечается усиление атрибутивной роли существительных (в сочетаниях типа *homme nature*). Здесь наблюдается как бы возврат к давно пережитому состоянию, но это лишь внешнее впечатление, ибо у подобной конструкции укрепляется новая дифференцирующая функция — стилистическая. Сходным образом можно интерпретировать явления паратаксиста и номинативную конструкцию (в художественном тексте).

По нашему мнению, ничто не мешает видеть в критике Р.А. Будаговым теории круговорота более широкие методологические возможности.

Это в полной мере относится к постструктуралистской идее интертекстуальности, которая, взятая в ее крайней форме, фактически равносильна отрицанию какого-либо прогресса в жизни общества и, соответственно, в творческой дискурсивной (речевой) практике людей. Но в этом случае и система языка (если допустимо постструктуралистское представление о системе) может трактоваться всего лишь как «эхокамера» (Р. Барт) панхронического языкового состояния.

Р.А. Будагов не случайно подчеркивает, что совершенствование языка следует видеть в «больших линиях» его развития. Признаки, взятые отдельно друг от друга, вне общей перспективы стоящих за ними процессов, не могут служить надежной основой для оценки прогресса в языке. Этим объясняется осторожность, с которой автор использует предлагаемые им критерии. Широко распространена, в частности, точка зрения, что выражением более высокого уровня в семантическом развитии языка является движение от конкретного к абстрактному. Действительно, такая закономерность хорошо прослеживается в словаре и в грамматической организации языка. Но этот тезис, по мнению Р.А. Будагова, нельзя толковать расширительно. Факты показывают, что значения слов могут развиваться и в обратном направлении — от абстрактного к конкретному. Особенно опасно абсолютизировать тот или иной признак, если речь идет о сопоставлении разных языков. Здесь предвзятые мерки могут привести, при неблагоприятных целях, к грубым искажениям, и не только в лингвистическом плане. Сравнительно-психологические исследования, проведенные в последние годы, показали необоснованность представления, будто у какого-либо культурного социума отсутствуют такие важные познавательные процессы, как абстракция, умозаключение, категоризация и т.д. Нет оснований и для предположения о том, будто языки каких-либо существующих этнических групп не способны служить инструментом для подобных

познавательных действий и отражать их в своей структуре.

Заслуживает внимания и вопрос о семантическом синкретизме, часто трактуемом в аспекте языковой архаики. Хотя нет оснований исключить этот критерий из общей системы оценок, было бы излишне категоричным рассматривать синкретизм только как выражение отжившего состояния. Факты романской лексики свидетельствуют о том, что часто не расчлененный в условиях латыни «семантический конгломерат» в дальнейшем действительно приобретает черты специализации. Но параллельно в романских языках наблюдается процесс формирования новых, во многом сходных «семантических конгломератов». Семантический синкретизм, таким образом, это не всегда архаика языка, отражающая некий пережиточный этап мышления.

Без сомнения, сказанное не исчерпывает содержание книги, богатой идеями, оригинально поставленными вопросами и предлагаемыми решениями. Работа Р.А. Будагова, побуждающая к размышлению, к дискуссии, по-прежнему отвечает самым живым потребностям теоретического языкознания.

*В.В. Макаров*, г. Минск, 2003

Науч. докл. высшей школы. Филологические науки. 1978. № 3. С. 104–106.

---

---

## ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В этой небольшой книге сделана попытка связать два понятия — развитие языка и совершенствование языка. К сожалению, к концу XX в. над такими попытками чаще всего либо прямо насмеются, либо менее прямо иронизируют. Обычные, ставшие традиционными возражения: невозможно доказать, что языки бывают более развитыми и менее развитыми, более совершенными и менее совершенными. Выступления против самого принципа развития языков в процессе их исторического формирования иногда прикрываются заявлением о «всеобщем равенстве всех языков мира».

Но если согласиться с такой постановкой вопроса, тогда неизбежно следует признать, что языки не связаны с культурой тех народов, которые говорят на этих языках, так как культура народов обычно и развивается, и совершенствуется. Если согласиться с такой постановкой вопроса, тогда столь же неизбежно следует сделать вывод о том, что всякие изменения в языке являются результатом его «коловращения»: сначала одно, затем другое, а затем вновь первое. Едва ли возникает необходимость доказывать полную теоретическую несостоятельность подобной постановки вопроса. К тому же многочисленные факты подлинного развития самых различных языков опровергают теорию «коловращения».

И все же какие только доводы не выдвигаются противниками идеи совершенствования языков! Обычно ставят такие «каверзные» вопросы: «А разве можно доказать процесс совершенствования языка?», «По отношению к какому своему предшествующему состоянию совершенствуется язык?», «Разве могут быть языки более красивыми или менее красивыми?» При этом «не заме-

---

---



чают», что последний вопрос не имеет отношения к первому.

На возражения подобного рода следует ответить односложно: да, доказать совершенствование языков в процессе их исторического развития не только можно, но и необходимо.

В самом деле. Проблема исторического совершенствования языков не имеет, разумеется, ничего общего ни со школьным пониманием «красоты слога», ни с таким истолкованием категорий языка, которое будто бы позволяет определить, «лучше» ли, «хуже» ли категория рода или категория падежа, категория времени или категория вида.

Рассуждения подобного уровня и подобного характера не имеют никакого отношения к проблеме совершенствования языка.

Эта проблема требует от исследователя умения показать, опираясь на конкретный материал: 1) как процесс развития того или иного языка связан с процессом его совершенствования, 2) как и в чем обнаруживается процесс совершенствования языка на разных этапах его исторического существования, в том числе и в нашу эпоху, 3) почему наличие в мире более развитых и менее развитых языков нисколько не противоречит тезису о *принципиальном единстве и равенстве природы всех языков*, одни из которых в дальнейшем получают более благоприятные социальные условия для своего развития, а другие — менее благоприятные или совсем неблагоприятные социальные условия для аналогичного развития.

Как говорил замечательный русский лингвист XIX столетия Н.В. Крушевский, каждый язык, развиваясь, стремится ко все более и более «полному общему и частному соответствию мира слов миру понятий»<sup>1</sup>. В наше время эту точную и глубокую формулировку необходимо толковать широко. Следует иметь в виду не только

---

<sup>1</sup> Крушевский Н.В. Очерк науки о языке. Казань, 1993. С. 149.

слова, но и все остальные ресурсы языка — его морфологические и синтаксические, словообразовательные и стилистические возможности. Исследователь, занимающийся проблемой совершенствования языка, и должен показать, как язык в процессе своего развития начинает предоставлять людям все бóльшие и бóльшие возможности для передачи их мыслей и чувств, для приближения к соответствию между миром слов и миром понятий.

В отличие от общего движения в истории процесс развития языков, как и процесс развития культуры, — это не только процесс всевозможных изменений, но и процесс укрепления прошлого состояния различных языков. Здесь новое обычно опирается на старое и вместе с тем обогащает это старое. В истории самых разных языков новое и старое постоянно и всесторонне взаимодействуют. В лексике, например, новые слова в определенные эпохи встречаются реже, чем старые слова в новых значениях, в новых сочетаниях. Но подобное «старое» выступает в языке как новое. То же следует сказать и о грамматике, и о фонетике. Все это несколько не умаляет *огромной роли самого процесса развития языка*, хотя и придает этому процессу неповторимое своеобразие.

В последние два—три десятилетия XX в. и у нас, и за рубежом проблему развития языка обычно сводят к всевозможным чисто внешним показателям: к числу слов, к частоте употребления тех или иных словесных клише и т.д. Между тем следует всегда помнить, что количество определенных «единиц» языка само по себе еще мало о чем говорит. Изобилие в языке бывает результатом не только его богатства, но и его бедности. Оно может свидетельствовать о «неупорядоченности» языка, о неумении разграничить то, что позднее будет четко различаться, и т.д. К тому же подсчитывать те или иные «единицы языка» гораздо легче, чем изучать их функциональное «поведение» в языке.

Нисколько, впрочем, не отрицая известного значения и чисто количественных показателей в языке, я стремился в дальнейшем акцентировать *качественные изменения* в истории различных языков, помогающие глубже понять только что приведенный бесспорный тезис Н.В. Крушевского.

В прошлом русская наука о языке всегда интересовалась историческими проблемами языка. К сожалению, эти проблемы отошли на задний план. Между тем только в свете истории языка можно по-настоящему понять и его важнейшие современные проблемы.

Мы живем в эпоху научно-технической революции, которая оказывает заметное воздействие на все стороны нашей жизни, в том числе, разумеется, и на язык. В одной из глав книги делается попытка показать своеобразие подобного воздействия и вместе с тем обосновывается недопустимость паники перед таким явлением. К сожалению, «горячие головы» уже готовы «заменить» национальные литературные языки будто бы более удобными искусственными «знаковыми системами».

Автор понимает, что в его книге многого нет. Сама тема «совершенствование языка в процессе его развития» настолько сложна и многоаспектна, что ее с самого начала пришлось ограничить. В работе анализируются лишь *литературные языки*, поэтому ничего не сообщается о дописьменной эпохе их бытования. Не затрагивается и проблема стадийного развития языков, так как в этом случае пришлось бы выйти за пределы литературных языков, которые в первую очередь интересовали автора. Разные языки знали и знают не только эпохи подъема и расцвета, но и эпохи упадка, застоя. Все это обычно обуславливается историей тех народов, которые выступают как носители данных языков. В предлагаемой же вниманию читателей работе акцент сознательно поставлен на развитие и совершенствование языков.

Занимаясь столь трудной и неразработанной проблемой, как проблема совершенствования

языка, автор стремился всегда помнить замечательные слова Н.Г. Чернышевского: «Исторический путь — не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри»<sup>1</sup>. Все это целиком относится и к историческому пути, по которому непрерывно движутся языки человечества.

Автор сознает, что он лишь затронул очень большую и очень важную тему. В книге частично использованы, как правило, в переработанном и расширенном виде некоторые публикации автора по данной теме последних десяти — пятнадцати лет. Хочется сердечно поблагодарить рецензентов книги В.Н. Ярцеву и Ф.П. Филина за советы и рекомендации.

---

<sup>1</sup> *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч. Т. 8. СПб., 1906. С. 38.

---

---

ГЛАВА ПЕРВАЯ

С КАКИМИ  
ТРУДНОСТЯМИ  
СТАЛКИВАЕТСЯ  
ТЕОРИЯ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ЯЗЫКА?

Многие лингвисты обычно даже не ставят вопроса о том, что такое прогресс (совершенствование) языка<sup>1</sup>. Между тем, по моему глубокому убеждению, эта проблема является центральной и для теоретического, и для исторического языкознания, для теории и истории любого конкретного языка. Поэтому необходимо рассмотреть доводы, которые обычно выдвигаются учеными, всячески стремящимися «снять» проблему совершенствования языка. Но прежде чем ее снять, ее чаще всего пытаются высмеять.

В начале 30-х гг. Е.Д. Поливанов, наш известный востоковед, рассказывал: однажды интеллигентный японский инженер, услышав о научных занятиях лингвистов, спросил Поливанова: а разве языки изменяются? Поливанов невольно рассмеялся<sup>2</sup>. Как это ни странно, в наше время аналогичный вопрос совсем не будет звучать смешно, если его построить немного иначе: а разве языки, изменяясь и развиваясь, при этом совершенствуются?

Нельзя сказать, что книг и статей, в названии которых не значилось бы слово «прогресс» («прогресс в языке») вообще не было. Они были. В 1956 г. один из датских ученых даже попытался дать справку об истории изучения «прогресса в языке» в западноевропейской лингвистике<sup>3</sup>. Он, в частности, вспомнил известную книгу О. Есперсена «Прогресс в языке» («Progress in language»), первое издание которой вышло в свет еще в 1894 г. Но и датский ученый, и

---

<sup>1</sup> В дальнейшем изложении *прогресс языка* и *совершенствование языка* я употребляю как абсолютно синонимические словосочетания.

<sup>2</sup> См.: Поливанов Е.Д. За марксистское языкознание. М., 1931. С. 36.

<sup>3</sup> Engels J. Y a-t-il progres dans le langage? // Neophilologus. Groningen, 1956. N 4. P. 242–248.

---

---

его предшественники занимают здесь позицию «ни да, ни нет». Знаменательно, что статья датского филолога так и оканчивалась: «прогресс в языке и есть, и его нет»: все зависит от «изобретательности ученого», исследующего тот или иной язык<sup>1</sup>.

Но проблема, разумеется, не в этом. Дело не в «изобретательности ученого», а в его общей методологической концепции, в том, как он понимает процесс развития языка, как он интерпретирует факты и что он видит «за» этими фактами.

Даже среди тех лингвистов, которые готовы признать наличие прогрессивного развития языка, обычно распространена доктрина, заранее объявляющая всевозможные изменения, происходящие в языке, прогрессивными. Развивается аналитический строй в грамматике? Прекрасно. Это свидетельствует о переходе языка на новую, более высокую ступень развития. В других языках наблюдается противоположный процесс — увеличивается роль флексий в морфологии. Тоже прекрасно. Для данных языков это тоже прогрессивно. Увеличивается число слов в языке? Также прогресс, и также прекрасно. В свое время на такого рода рассуждениях (их я немного утрирую, но не искажаю их сущности) была построена уже упомянутая книга О. Есперсена «Прогресс в языке». С аналогичным истолкованием прогресса выступила и румынская исследовательница Л. Вальд<sup>2</sup>.

Подобная постановка вопроса не может удовлетворить филолога, который стремится не «оправдать» то или иное развитие языка, а по возможности объяснить его причины, отделить типичное от случайного, характерное от нехарактерного. Под понятие «прогресс языка» бессмысленно «подгонять факты». Сами эти факты должны быть интерпретированы (насколько это позволяют наши современные знания) в свете неуклонно поступательного движения языка.

Предположим на минуту, что язык вовсе не совершенствуется. Что же тогда получится? В этом случае получится, что языки человечества не связаны ни с культурой, ни с цивилизацией, ни с мышлением людей, что они существуют «раз и навсегда», а изменения в их строе и в их лексике являются результатом их же «порчи». Так и думали в средние века. Но мы уже в XX столетии разделять взгляды по этому вопросу мыслителей средних веков, разумеется, не можем. Поэтому проблема совершенствования языков в процессе развития человеческой культуры (в самом широком смысле) не может не быть одной из центральных про-

<sup>1</sup> *Engels J.* Ibid. P. 248.

<sup>2</sup> *Wald L.* Progresul în limbă. București, 1969 (и все же книга Л. Вальд — шаг вперед по сравнению с аналогичной книгой О. Есперсена).

блем лингвистики нашей эпохи. Между тем, как это ни парадоксально, она таковой совсем не является. Больше того. Как я уже подчеркивал, очень часто проблему совершенствования языка открыто или скрыто высмеивают.

Неоднократно, например, говорилось о том, что вопрос о прогрессе языка так же невозможно ставить, как и вопрос о прогрессе искусства, прогрессе художественной литературы. «Теория прогресса в литературе, — писал в свое время поэт О. Манделштам, — самый грубый вид школьного невежества»<sup>1</sup>. Независимо от Манделштама на этом же настаивает, например, французский лингвист Ж. Вандриес: «Было бы странным пытаться доказать, что язык Гомера, Платона и Архимеда ниже или выше языка Шекспира, Ньютона и Дарвина... Не верьте неискусным писателям, которые перекалывают вину за свое неумение на язык. Вина всегда лежит на писателе, а не на языке»<sup>2</sup>.

На первый взгляд кажется, что аргументации и Манделштама и Вандриеса неотразимы. Между тем обе они ошибочны. Следует прежде всего обратить внимание, что и тот и другой автор *один вопрос подменяют другим*. Манделштам, развивая свою мысль, напоминает иную истину — о вкусах не спорят. На той же странице своей книги он заявляет: «Нет никакой литературной машины и нет старта, куда нужно скорее других доскакать». Но высмеять проблему легко, осмыслить ее гораздо труднее. «Доскакать» куда бы то ни было в истории художественной культуры действительно нет никакой надобности, но понять ее поступательное движение совершенно необходимо. Художественная культура развивается иначе, чем техника и технические изобретения, поэтому сравнение Манделштама («литературная машина») нужно признать несостоятельным.

Не менее очевидна подмена одного вопроса другим у Вандриеса. Проблему прогресса языка ученый сводит к искусству того или иного писателя. Но это совершенно разные проблемы. Нельзя не удивляться антиисторическому подходу к самой теме в книге, подзаголовок которой гласит — «Лингвистическое введение в историю». Прогресс языка недопустимо подменять вопросом о том, кто писал лучше — Гомер или Шекспир, Архимед или Дарвин. Не говоря уже о том, что к одному вопросу (прогресс языка) здесь присоединяется совершенно другой (литературное дарование писателей и ученых разных эпох), автор подобных рассуждений стремится «с помощью» второго вопроса высмеять первый, нисколько не решая ни одного из них.

<sup>1</sup> Манделштам О. О поэзии. Л., 1928. С. 29.

<sup>2</sup> Вандриес Ж. Язык. Лингвистическое введение в историю. М., 1937. С. 312.

Подмена одного вопроса другим весьма характерна для всех, кто отрицает самую возможность прогресса в развитии языка. Так, например, датский лингвист К. Тогеби переводит проблему прогресса языка в плоскость совершенно иных рассуждений, согласно которым «не могут быть языки сами по себе ясные или сами по себе неясные, а имеются лишь люди ясно или неясно выражающие свои мысли»<sup>1</sup>. Здесь нельзя не «развести руками». Разумеется, сами по себе языки действительно не бывают ни ясными, ни неясными, а люди, говорящие на тех или иных языках, действительно либо умеют, либо не умеют выражать свои мысли ясно, но все это не имеет никакого отношения к проблеме совершенствования языка в ходе его исторического развития. Думать иначе — значит подменять одну проблему совершенно другой, не имеющей к ней прямого отношения.

Разумеется, на языке исторически более развитом людям — при прочих равных условиях — легче передавать мысли, чем на языке исторически менее развитом, но это уже различные последствия самого факта совершенствования языка в ходе его становления. К этому вопросу я еще вернусь в процессе анализа конкретного материала.

Рассмотрим теперь более серьезные возражения против идеи прогресса языка. Эти возражения стали особенно часто повторяться уже с 10-х гг. XIX в. Они постоянно возникают и в наше время, хотя и формулируются теперь более осторожно, с некоторыми оговорками. Сущность их сводится к следующему.

В связи с обоснованием сравнительно-исторического метода в конце 10-х гг. XIX столетия первые компаративисты, основываясь на данных индоевропейских языков, утверждали, что в прошлые времена эти языки, наделенные разнообразными флексиями, развивались более интенсивно, чем позднее, в новые времена, когда индоевропейские языки, утратив многие флексии, стали развиваться медленнее, а затем и вовсе лишились всякого движения.

Эта теория позднее получила название теории двух периодов развития языка: в далеком прошлом весьма интенсивное развитие, а затем, по мере приближения к новому времени, все более слабое, все менее интенсивное<sup>2</sup>. В первой половине XIX столетия эту теорию понять было легко, так как в те времена «богатство языка» еще очень наивно связывали с «богатством флективных образований» в грамматике: многообразие подобных образова-

<sup>1</sup> *Revue romane*. Publiée par les instituts d'études romanes au Danemark. Copenhague, 1966. N 1–2. S. 138.

<sup>2</sup> См. об этом: *Benfey Th. Geschichte der Sprachwissenschaft und orientalischen Philologie in Deutschland*. München, 1869. S. 370.



ний ассоциировалось с движением языка, а их постепенная утрата — с прекращением развития языка. Получалось так: язык развивается до определенного периода, после чего он достигает уровня, на котором и останавливается. Все последующие изменения языка признавались ничтожными, не имевшими хоть сколько-нибудь существенного значения.

Эту ошибочную и наивную концепцию разделяли позднее почти все младограмматики. Даже в наше время в нее вносятся лишь самые незначительные поправки. Возникло парадоксальное положение. Обоснование исторической точки зрения на язык в 20-х гг. XIX столетия обернулось врагом истории. Историю как бы «загнали» в прошлое. Ее обнаруживали лишь в далеком прошлом индоевропейских языков и еще не умели распространять сферу ее действия на настоящее, на состояние языков в новое и новейшее время. На фоне подобной ситуации легче понять изречение видного лингвиста середины того же XIX столетия А. Шлейхера — изречение, звучащее сейчас парадоксально, но по существу верно отражавшее сложившуюся тогда ситуацию: «История — враг языка» («Die Geschichte, jene Feindin der Sprache»)<sup>1</sup>. Действительно, если согласиться с доктриной, согласно которой «богатство языка» обнаруживается прежде всего в богатстве его флексий, а в ходе исторического движения многих индоевропейских языков флексии стали вытесняться («падать»), то история языка невольно оборачивается его «врагом», его «разрушителем».

К концу XIX в. ситуация меняется. Остается не так много лингвистов, которые продолжают связывать флексии с представлением о богатстве языков. И все же теория двух периодов развития языка сохраняется вплоть до наших дней, лишь слегка видоизменившись терминологически. В чем же здесь дело? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, следует вновь обратиться к некоторым общим аспектам теории развития разных общественных явлений.

## 2

Уже Гегель считал, что расцвет художественного творчества в античную эпоху был связан с неразвитостью общественных отношений того времени. Личность художника находилась в прямой зависимости от условий существования общества. Позднее развитие общественных отношений — прогрессивное само по себе — поставило художника в более трудные условия творчества.

---

<sup>1</sup> Schleicher A. Sprachvergleichende Untersuchungen. II. Bonn, 1850. S. 144.

Художественное развитие и общественное развитие оказались в сложных отношениях<sup>1</sup>. Об этом же писал и К. Маркс, сумевший объяснить возникшее здесь противоречие: «...капиталистическое производство враждебно известным отраслям духовного производства, например искусству и поэзии. Не учитывая этого, можно прийти к иллюзии французов XVIII в., так хорошо высмеянной Лессингом. Так как в механике и т.д. мы ушли дальше древних, то почему бы нам не создать и свой эпос? И вот взамен “Илиады” появляется “Генриада”»<sup>2</sup>. Эти слова иногда толкуют так, будто бы К. Маркс отрицал художественный прогресс вообще. Между тем здесь речь идет совсем о другом: о непараллельности общественного и художественного прогресса, о недопустимости отождествления художественного прогресса с прогрессом в области техники.

Вместе с тем К. Маркс был убежден, что упадок искусства в капиталистическом обществе прогрессивен даже с точки зрения самого искусства. Подобный упадок, обнаруживая глубокие противоречия между общественным устройством и художественными возможностями выдающихся представителей этого общества, как бы подготавливает условия для преодоления самого упадка при новом устройстве общества. Непараллельность общественного и художественного развития человечества, хотя и осложняет проблему художественного прогресса, но отнюдь не снимает ее. Проблема сохраняет всю свою актуальность и в наши дни<sup>3</sup>.

Сказанное помогает подойти и к прогрессу в истории различных языков. Здесь возникают свои трудности, хотя они и несколько иного рода по сравнению с трудностями в истории искусства и литературы.

Дело в том, что в истории многих языков, прежде всего индоевропейских, в средние века совершались интенсивные изменения в первую очередь в области их фонетики, морфологии и лексики. Подобные изменения сейчас легко обнаружить даже «невооруженным глазом». Они лежат как бы на поверхности языка. В более поздние времена, в эпоху становления национальных языков, изменения «переместились» из сферы фонетики, морфологии и лексики в сферу синтаксиса, стилистики и вновь лексики. Лишь лексика продолжала заметно развиваться во все периоды истории различных языков. Другие же области языка в разные эпохи претерпевали неодинаковое развитие. Между тем

<sup>1</sup> См.: Гегель. Соч. Т. XII. М., 1938. С. 109 и сл.

<sup>2</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. 1. С. 280.

<sup>3</sup> См. об этом: Лифшиц М. Вопросы искусства и философии. М., 1935. С. 133 и сл.; Он же. Карл Маркс, искусство и общественный идеал. М., 1972. С. 47 и сл.

трансформации в области синтаксиса и стилистики гораздо менее заметны, чем аналогичные трансформации в области фонетики и морфологии. В первом случае «невооруженным глазом» почти ничего нельзя заметить. Так сложилось убеждение, получившее очень широкое распространение среди самых разных лингвистов, согласно которому языки развивались в прошлом и «почти совсем» остановились, «почти совсем» прекратили свое движение в новое время.

Итальянисты утверждают, что итальянский язык интенсивно изменялся до эпохи Данте (1265–1321), после чего он как бы сразу стал современным итальянским языком, последующие трансформации которого ничтожны. Об этом можно прочитать почти в любом курсе итальянской литературы и истории итальянского языка, в разнообразных монографиях. «Одним исполинским усилием, одним гениальным взмахом, — пишет, например, А.К. Дживилегов, — Данте создал такой язык, который, не старея, живет шестьсот лет»<sup>1</sup>. Это утверждение, разумеется, и ошибочно и наивно. Дело даже не только в том, что ни один литературный язык не создается «одним взмахом» (даже «взмахом» гения). Гораздо существеннее другое. После Данте итальянский язык действительно не претерпел серьезных изменений в области фонетики и морфологии, но он подвергся очень глубоким трансформациям в области синтаксиса, стилистики, лексики и фразеологии. Современные итальянцы, не имеющие специальной филологической подготовки, могут понимать текст сочинений Данте лишь приблизительно. Поэтому теория двух периодов развития языка не выдерживает никакого серьезного испытания при соприкосновении с фактами, с конкретной историей тех или иных языков. Недаром в 70-е гг. более внимательные историки итальянского литературного языка стали обнаруживать интенсивные изменения в самом этом языке, происходящие «на глазах» у современного поколения людей<sup>2</sup>.

Теория «двух периодов» получила широкое распространение и у историков русского литературного языка (впрочем, без употребления словосочетания «два периода»). Обычно рассуждают так: до Ломоносова, Карамзина и Пушкина литературный язык в России развивался интенсивно, после чего наступает эра «современного языка», изменения которого в последующие десятилетия признаются ничтожными. Можно привести десятки доказательств

<sup>1</sup> Дживилегов А.К. Данте Алигьери. Жизнь и творчество. 2-е изд. М., 1946. С. 201.

<sup>2</sup> См., например: Tullio de Mauro. Storia linguistica dell'Italia unita. Bari, 1970. P. 404–424.

существования подобной концепции. Я пока ограничусь одним примером. И.И. Ковтунова, например, в своей ценной по материалу и наблюдениям книге о порядке слов и русском литературном языке утверждает, что синтаксис языка сочинений Ломоносова «почти не отличается от синтаксиса современного литературного языка»<sup>1</sup>. Концепция автора такова: до начала XIX столетия русский литературный язык развивался, позднее же, в особенности после 1830 г., устанавливается «современный язык», изменения которого в дальнейшем сводятся лишь к закреплению нормы, лишь к очень незначительным «уточнениям». Даже синтаксис языка Ломоносова, во многом глубоко отличный от синтаксиса литературного языка наших дней, признается «почти современным»<sup>2</sup>.

Возникает уже знакомая нам теория «двух периодов» развития языка, только итальянисты «замыкают» первый период эпохой Данте, русисты — эпохой Ломоносова или эпохой Пушкина (с колебаниями примерно в 50–60 лет).

Я убежден, что в будущем внимательное изучение фактов развития языка в «современный период» покажет ошибочность теории «двух периодов». Как мы уже знаем, все дело в том, что изменения языка в «современный период» обнаружить значительно труднее, они гораздо менее заметны внешне, чем изменения языка в «несовременный период». Теория «двух периодов» развития языка и приходит на помощь тем исследователям, которые регистрируют лишь внешне заметные трансформации языка. Я сделаю попытку показать немного позднее, что некоторым филологам все же удастся обнаружить интенсивное движение языка и в «современный период».

Для тех или иных индоевропейских языков «современную эпоху» ученые относят к самым различным столетиям. В своей яркой книге о польском литературном языке Т. Лер-Сплавинский считает XVI в. такой эпохой, подчеркивая, что позднее польский язык почти не изменялся<sup>3</sup>. Факты, однако, которые тонко и внимательно анализируются в книге, вносят в концепцию автора существенные поправки: в другом разделе монографии он сам

<sup>1</sup> Ковтунова И.И. Порядок слов в русском литературном языке XVIII — первой трети XIX века. М., 1969. С. 118.

<sup>2</sup> Там же. С. 100 и сл. В 1886 г. Я.К. Грот сообщал о Карамзине, авторе «Писем русского путешественника»: «... этот человек писал уже языком, каким теперь пишем все мы, но который тогда с удивлением слышали в первый раз» (Грот Я.К. Очерк деятельности и личности Карамзина. СПб., 1867. С. 11). Между тем литературный язык самого Грота во многом отличен (в лексике, словообразовании, синтаксисе, стилистике, отчасти даже и в морфологии) от литературного языка Карамзина.

<sup>3</sup> См.: Лер-Сплавинский Т. Польский язык. М., 1954. С. 168.

говорит о переломе в развитии польского языка уже не в XVI, а в XIX столетии<sup>1</sup>. Все это обнаруживает слабости теории «двух периодов» в развитии языка. Вместе с тем материалы, относящиеся к этой теории, сложны и противоречивы.

В свое время А. Мейе подчеркивал, что персидский язык в VI столетии до н.э. имел еще «архаический вид», а в I столетии н.э. — уже, как казалось Мейе, современный вид<sup>2</sup>. Но и Мейе, выдающийся лингвист, опирался в своих суждениях о персидском языке лишь на показания его фонетики и морфологии, не учитывая других важнейших аспектов структуры языка, характера его функционирования.

Попытку по-новому обосновать теорию «двух периодов» развития языка сделал в 30-х гг. XX в. наш известный филолог В.И. Абаев. В отличие от младограмматиков, у которых второй период фактически оказывался периодом застоя, у советского ученого оба периода рассматривались как эпохи развития языка. Но в то время как первый (древний) период в истории индоевропейских языков интерпретировался как фазис развития «идеологически-созидательных процессов», второй период признавался фазисом «технически-приспособительных процессов» в языке. И не случайно, что статья В.И. Абаева, в которой обосновывалось подобное понимание теории «двух периодов» развития языка, так и называлась: «Язык как идеология и язык как техника»<sup>3</sup>.

Не касаясь здесь специального вопроса о том, как понимали отечественные лингвисты 30-х гг. тезис «язык как идеология»<sup>4</sup>,

<sup>1</sup> Там же. С. 366 («Романтизм и перелом в истории языка»).

<sup>2</sup> См.: Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. М., 1954. С. 42. Следует считаться и с такими фактами: «Эпоха наибольшего расцвета культуры в Исландии — это самое начало истории исландского народа, эпоха дописьменная и догосударственная» (Стеблин-Каменский М.И. Культура Исландии. Л., 1967. С. 21). А вот знаток истории русского языка утверждает: «Язык эпохи Киевской Руси *разительно отличается* по своей системе от современного русского языка» (Ларин Б.А. Лекции по истории русского литературного языка. М., 1975. С. 6).

<sup>3</sup> Язык и мышление. Т. 3. М.; Л., 1934. С. 44 и сл. Близок к этой точке зрения был в свое время Г. Пауль (Prinzipien der Sprachgeschichte. 5 Aufl. Halle, 1920. S. 145).

<sup>4</sup> Эта интереснейшая проблема требует особого и подробного анализа. Отмечу лишь, что если отождествление языка и идеологии неправомерно, то не менее неправомерна изоляция языка от форм и процессов выражения идеологии. К сожалению, в 50-х и 60-х гг. XX в. значительная часть советских ученых под влиянием лингвистической дискуссии 1950 г. отказалась от рассмотрения важнейшей темы — язык и идеология. Сейчас этой темой интересуются филологи самых различных стран. В конце 30-х гг. мною, в частности, была сделана попытка показать воздействие идеологии на язык, прежде всего — на его лексику, в монографии «Развитие французской политической терминологии в XVIII веке» (Л., 1940). Работа была навеяна известным исследованием П. Лафарга «Язык и революция» (М., 1930).

отметим, что В.И. Абаев сделал попытку наполнить новым содержанием теорию «двух периодов» развития языка. Новое здесь заключалось в том, что развитие языка усматривалось не только на протяжении первого, но и на протяжении второго периода. Остался, однако, неясным вопрос о том, почему на протяжении всего второго периода (новое время) наблюдаются лишь «технически-приспособительные» процессы развития языка и как следует понимать этот термин. Если развитие языка так или иначе связано (в самом широком смысле) с развитием мышления, то почему подобные связи наблюдались лишь в древности и почему они утратили свою значимость в новое время (второй период развития языка)? Новое толкование теории «двух периодов», само по себе интересное, не давало, однако, ответа на эти последние два вопроса.

Таковы лишь некоторые метаморфозы, которым подвергалась теория «двух периодов» развития языка, от ее зарождения в 20-е гг. XIX столетия до наших дней.

Как мы видели, эта теория в том или ином виде (чаще всего в «смягченном виде») живет и в наше время, хотя уже и не именуется теорией «двух периодов» развития языка.

### 3

Разработка проблемы прогресса (совершенствования) языка сталкивается с целым рядом трудностей — действительных и мнимых. Действительных потому, что сложна сама проблема, мнимых по другой причине: некоторые исследователи выдумывают несуществующие препятствия, дабы «отмахнуться» от кропотливого изучения фактов. Обратим, однако, внимание на реальные трудности.

Даже среди ученых, казалось бы защищающих идею развития языка, широко распространена теория, которая может быть названа *теорией круговорота*. Рассуждают примерно так: да, язык развивается, но развивается он по кругу — сначала одно, затем другое, позднее, возможно, и третье, но затем, рано или поздно, вновь первое, вновь старое. Язык движется по кругу, всякий раз возвращаясь в прежнее состояние.

Приведу здесь два примера (их число легко увеличить). Один из крупнейших знатоков романских языков В. Вартбург рассуждает так: классическая латынь знала разветвленную систему уступительных союзов, вульгарная латынь эти союзы утратила («более простые формы выражения мыслей людей той эпохи перестали нуждаться в сложных союзах»), в романских языках уступительные союзы вновь постепенно формируются, и мы оказываемся

свидетелями «повторения того же самого процесса, который наблюдался и в латыни»<sup>1</sup>. Примерно так же аналогичный синтаксический процесс в романских языках освещает и венгерский филолог И. Херман в своей специальной, ценной по материалу монографии, посвященной подчинительным союзам<sup>2</sup>.

Возникает не теория развития, а теория круговорота, по существу отрицающая процесс развития языка как процесс его неуклонного, хотя и сложного и порой противоречивого совершенствования.

Между тем, если пристальнее присмотреться к фактам, то нельзя не обнаружить, что романская система подчинительных союзов отнюдь не повторяет казалось бы аналогичную систему союзов классической латыни. Прежде всего романская система оказывается в совершенно другом синтаксическом окружении, чем латинская. Семантико-синтаксические градации внутри романской системы союзов оказываются во многом иными, в частности более разветвленными и более разнообразными (следует учесть новые союзы-словосочетания, которых почти не было в латинском языке). Проблема, разумеется, не сводится к тому, что лучше: синтаксис ли латыни или синтаксис романских языков. Подобная постановка вопроса была бы софистической. Важно другое: романская система подчинительных союзов не только не возвращается к латинской системе, но и принципиально от нее отличается<sup>3</sup>. На мой взгляд, задача исследователя и заключается в том, чтобы суметь обнаружить здесь не только сходство между языками, но и различия. Как это ни странно, под таким углом зрения огромный конкретный материал остается все еще почти совсем не изученным и не понятым.

Противники прогресса языка особенно ожесточенно нападают на грамматику с таким аргументом: грамматика не может быть ни хуже, ни лучше. Даже такой интересный лингвист, как Э. Сепир, рассуждает так: он сравнивает язык с мощной динамомашиной, но тут же оговаривается, что в повседневной речи людям не нужна такая сила. В процессе коммуникации говорящие обычно поднимают небольшие «тяжести мысли»<sup>4</sup>. Что же касается «языковой мощи», то она к грамматическим формам не имеет никакого отношения. «Поскольку дело касается языковой формы,

<sup>1</sup> *Wartburg W. von. Problèmes et méthodes de la linguistique. Paris, 1963. P. 105.*

<sup>2</sup> *Herman J. La formation du système roman des conjonctions de subordination. Berlin, 1963. P. 267.*

<sup>3</sup> См. об этом в главе «Совершенствование языка в области грамматики» настоящей книги.

<sup>4</sup> *Сепир Э. Язык. М., 1934. С. 13.*

Платон шествует с македонским свинопасом, Конфуций — с охотящимся за черепами дикарем Асама»<sup>1</sup>. Разумеется, такая постановка вопроса антидиалектична: Сепир не видит никакого взаимодействия между формой и содержанием в языке. «Мощь языка» будто бы проходит мимо «форм языка», не наполняя их каким-либо содержанием. В свете такой доктрины грамматика Платона, разумеется, ничем не будет отличаться от грамматики неграмотного свинопаса. Но лишь в свете подобной несостоятельной доктрины.

Сепир идет еще дальше Вандриеса (о нем шла речь раньше) в своих сомнениях в возможности совершенствования грамматики.

Следует признать, что *теория круговорота — злейший враг теории прогресса*. Между тем теория круговорота имеет широкое хождение и в других общественных науках<sup>2</sup>. При этом нередко ссылаются на факты «механического круговорота» в природе: смена дня и ночи, смена времен года, сезонные явления в окружающем нас мире и т.д. Сторонники подобных «переносов» не учитывают, во-первых, развития самой природы в процессе таких «круговоротов» и, во-вторых, автоматически переносят законы природы на законы развития общества, общественных явлений и общественных категорий.

В свое время А.Н. Веселовский, создавая свою яркую и интересную «Историческую поэтику», вместе с тем недостаточно учитывал, что повторяемость в истории искусства и литературы — это мнимая повторяемость. «Похожее» на одном этапе развития художественного творчества и «похоже» и «непохоже» на то, что было раньше. Романтические «порывы» в стиле молодого Горького и напоминают романтические «порывы» некоторых писателей 20–30-х гг. XIX столетия (например, Жуковского), и не напоминают их, качественно отличаются от них. Круговорот здесь оказывается мнимым, чисто внешним. Внутреннее содержание подобных «сходных» явлений оказывается различным<sup>3</sup>. *Mutatis mutandis* то же следует сказать и о теории круговорота в истории развития языков мира, их грамматических, фонетических и лексических систем.

У теории лингвистического прогресса противников очень много. И все они выдвигают самые различные доводы против этой

<sup>1</sup> Там же. С. 172.

<sup>2</sup> Одним из первых, кто стремился обосновать «теорию общественных круговоротов», был итальянский философ и филолог Дж. Вико (1668–1744) (см. об этом: Максимовский В. Вико и теория общественных круговоротов // Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. Кн. 4. М.; Л., 1929. С. 7–62).

<sup>3</sup> См. также: Шкловский В. Тетива. О несходстве сходного. М., 1970. С. 211–213.



теории, частично у них совпадающие, частично же новые. Тем важнее присмотреться к самым различным «опровержениям».

В свое время видный ученый Леви-Строс писал: «История — эта наука, как и всякая другая. Однако невозможна наука о непрерывности, возможна только наука о прерывности. В этом отношении история не может быть исключением»<sup>1</sup>. Так обосновывается невозможность исторического рассмотрения не только общественных явлений и категорий, но и «всего сущего». Подобное «обоснование» бьет, однако, мимо цели. В свое время Плеханов, защищая в борьбе с народниками последовательно историческую точку зрения на общественные явления, привел аргументацию одного из противников подобной точки зрения: «Дарвин говорит: “Бросьте курицу в воду, у нее вырастет плавающая перепонка”. Я же утверждаю, что курица просто потонет»<sup>2</sup>. Разумеется, в каждый данный момент курица потонет. Иная ситуация оказывается в исторической перспективе. То же следует сказать о соотношении прерывности и непрерывности в истории различных языков.

Учитывая всю важность синхронного состояния любого общественного явления, в том числе, разумеется, и языка, исследователь обязан вместе с тем уметь его анализировать и в движении, видеть перспективу и результаты подобного движения (прерывности, по Леви-Стросу). Поэтому в диалектической логике учение о непрерывности не может противоречить учению о прерывности. Напротив, они как бы поддерживают и дополняют друг друга.

Разумеется, проблему эту не следует упрощать. В свое время Балли справедливо заметил, что любой язык может функционировать лишь в той мере, в какой он не изменяется, хотя в каждую данную эпоху он непрерывно изменяется<sup>3</sup>. Но и это противоречие легко снимается в свете приведенных соображений: говорящие между собой люди выражают мысли и чувства с помощью «непрерывного» языка, но в это же время этот же язык может находиться в «прерывном» движении за пределами протекающего на наших глазах разговора. Постоянное движение языка не препятствует ему функционировать и быть понятным всем, кто им владеет.

Противники идеи совершенствования языка иногда ставят вопрос иначе: то, что говорящему лицу кажется «лучше», то

<sup>1</sup> *Levy-Strauss C. Les limites de la notion de structure en ethnologie // Sens et usages du terme structure. La Haye, 1964. P. 44.*

<sup>2</sup> *Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. М., 1949. С. 188.*

<sup>3</sup> См.: *Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955. С. 32 и сл.; 2-е изд. М., 2001. С. 32 и сл.*

слушающему данную речь может показаться «хуже». Как понимать совершенствование языка — с позиции говорящего или с позиции слушающего? В той мере, в какой это определить трудно, авторы подобных рассуждений бросают тень на самую постановку вопроса о совершенствовании языка<sup>1</sup>.

Подобные возражения, однако, безусловно ошибочны. Развитие и совершенствование языка, хотя и происходит в самом процессе его функционирования в обществе, т.е. обуславливается рядом многообразных причин, в том числе и состоянием культуры, письменности, науки и т.д., в каждую историческую эпоху совершается вполне объективно и непосредственно от тех или иных конкретных ситуаций «говорящий — слушающий» может не находиться ни в какой зависимости. Подчеркивая значения «уровня развития языка» в определенную эпоху, исследователи неизбежно и вполне закономерно отвлекаются от конкретных ситуаций «говорения», хотя на предшествующих этапах движения языка определенные типы подобных ситуаций были в состоянии оказать воздействие на дальнейшее развитие языка.

Если здесь и обнаруживается противоречие, то это противоречие жизненное. Выражаясь языком логики, подобные отношения оказываются контрарными, но не контрадикторными.

Не следует забывать, что слушающий может не понимать говорящего, а говорящий — слушающего по целому ряду причин, не имеющих никакого отношения ни к языку, ни к уровню его развития в каждую историческую эпоху. Положение же о том, что среди языков имеются «языки, сами ориентированные на слушателя, и языки, сами ориентированные на говорящего», хотя и защищается отдельными учеными<sup>2</sup>, научно, на конкретном материале, никем еще не было доказано. На мой взгляд, подобный тезис и недоказуем: язык настолько человечен, что независимо от воли людей он не может сам «направляться» в ту или иную сторону. Его могут направлять (сознательно или бессознательно) лишь люди, говорящие на этом языке или воспринимающие его.

#### 4

Нередко приходится слышать: прогресс языка наблюдается по отношению к какому его предшествующему состоянию? Но здесь не может быть ни общего рецепта, ни общей схемы. Все зависит от конкретных условий формирования тех или иных языков. В

<sup>1</sup> См. об этом: Науч. докл. высшей школы. Филологические науки. 1966. № 3. С. 122 и сл.

<sup>2</sup> Например: *Балли Ш.* Указ. соч. С. 219.

переломные эпохи жизни отдельных языков прогресс может быть обнаружен на протяжении одного-двух десятилетий. В иных случаях его обнаружение потребует анализа материала на протяжении целого столетия. Больше того. Прогресс языка иногда чередуется с его регрессом, с его упадком. Но если язык не умирает, не вытесняется другим или другими языками, если он оказывается жизнеспособным, то его временный упадок чаще всего сменяется новым подъемом. Здесь уместно напомнить слова Н.Г. Чернышевского, о которых уже была речь раньше, о негладкости пути развития общественных явлений и общественных категорий<sup>1</sup>.

В этой связи приведу три примера. Испанский лингвист Е. Лоренсо показал, что литературный язык его страны на протяжении 1965 г. претерпел значительные изменения под влиянием научно-технической революции (в лексике, специально в терминологии, в словосочетаниях, отчасти даже в синтаксисе и стилистике). И это в течение лишь одного года<sup>2</sup>. А вот итальянский филолог Дж. Ненчони иллюстрирует совсем другое: по его убеждению, современный итальянский литературный язык стал в некотором отношении ближе к языку Данте, чем к более позднему языку XVI столетия, ибо в эпоху позднего Возрождения итальянский литературный язык подвергся сильному воздействию со стороны его же диалектов, поэтому язык дальше отошел от нормы XVI в., чем от нормы времен Данте<sup>3</sup>. Наконец, третий пример. В.В. Виноградов считал, что в начале XVIII в. в русском литературном языке еще наблюдалась «хаотическая бессистемность» в синтаксисе и стилистике, к концу же этого столетия многое глубоко изменилось<sup>4</sup>. Таким образом, оказывается, что развитие языка можно обнаружить и на протяжении одного года, и на протяжении одного столетия, и «в промежутке» нескольких столетий с подъемами и своеобразными временными «спусками» языка. Теория развития при всем ее общем значении обязана считаться с

<sup>1</sup> См.: Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. Т. 8. СПб., 1906. С. 37–38.

<sup>2</sup> Lorenzo E. El español de hoy, lengua en ebullición. Madrid, 1966. P. 17–46 (специальная глава «Испанский язык в 1965 году»).

<sup>3</sup> Nencioni G. Fra grammatica e retorica. Firenze, 1954. P. 180. Сказанное отнюдь не означает, что после Данте «язык изменился мало», о чем уже шла речь раньше.

<sup>4</sup> См.: Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка. 2-е изд. М., 1938. С. 91. Ф. Бальденспергер, знаток французского языка и французской литературы первой половины XIX столетия, утверждал, что «примерно около 1830 года французский литературный язык совершил настоящий скачок» (Baldensperger F. Le rebondissement de la langue française aux alentours de 1830. Paris, 1933. P. 2). О «переломе в истории французского литературного языка» в 30-е гг. XIX в. сообщает и другой знаток этой же эпохи — А. Моруа (см. его кн.: Олимпико, или Жизнь Виктора Гюго. М., 1971. С. 177 и 348).

конкретными фактами конкретных языков, чаще всего обусловленными историей данного народа, историей его культуры.

Как я уже подчеркивал, понятие прогресса языка связано с преодолением ряда теоретических трудностей. В значительной мере они обусловлены трудностями более общего характера: как следует понимать прогресс разных общественных явлений и категорий, прогресс культуры в широком смысле. В общих чертах известно — это необходимо подчеркнуть еще раз, — что историческая точка зрения на общественные явления впервые возникает (почти одновременно в разных странах) на рубеже XVIII–XIX вв. Сразу же эта точка зрения осложняется множеством оттенков и, по существу, оказывается не одной, а целым рядом точек зрения. Общее, что их все же объединяло и что было большим и важным открытием, — это установление исторической изменчивости человеческой культуры и самых разных объектов, образующих сложное понятие самой культуры.

По словам известного индолога А.П. Баранникова, ученые древней Индии не знали исторической точки зрения на окружающие их явления. Больше того. Обращение к прошлому они рассматривали как неуважение к настоящему, как недооценку современности<sup>1</sup>. Сходная картина наблюдалась и в древней Греции<sup>2</sup>, и гораздо позднее в средневековой Европе. У средневековых историков не было ни понятия, ни соответствующего слова для выражения преемственности исторического процесса. Слово *translatio* ‘перенесение’, ‘передвижение’ истолковывалось прежде всего как ‘порча’. Средневековый человек ощущал себя сразу в двух временных планах: в плане локальной преходящей жизни и в плане вечности — со времен «сотворения мира». Быстротечная жизнь каждого отдельного человека воспринималась как бы на фоне вечности. «Эта двойственность восприятия времени — неотъемлемое качество сознания средневекового человека»<sup>3</sup>.

В одной итальянской новелле XIV столетия автор заставляет рыцаря прожить целую жизнь за миг, в течение которого император Фридрих едва-едва успевает вымыть руки<sup>4</sup>. Прекрасный

<sup>1</sup> См.: Баранников А.П. Изобразительные средства индийской поэзии. Л., 1947. С. 7 и сл.

<sup>2</sup> См.: Тронский И.М. Вопросы языкового развития в античном обществе. Л., 1973. С. 103 и сл. Еще в 1896 г. Ф.Ф. Зелинский установил «закон хронологической несовместимости» в гомеровском эпосе, где одновременные события излагаются как события последовательные (Сборник в честь Ф.Е. Корша. М., 1896).

<sup>3</sup> Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 172; см. также главу о взглядах Данте на исторический процесс в кн.: Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. М., 1967. С. 332–350.

<sup>4</sup> Новеллы итальянского Возрождения. Т. I / Пер. П. Муратова. СПб., 1914. С. 40–41.

знаток средневековой литературы Г. Парис считал, что «представление о неизменности вещей» было тогда и позднее господствующим вплоть до начала XVIII столетия. Позднее об этом же писал и немецкий исследователь Р. Глассер<sup>1</sup>. Самое парадоксальное здесь в следующем: при полном непонимании того, что такое история и что такое историческое развитие, в эпоху средних веков и Возрождения очень интересовались всевозможными хрониками, описаниями прошлых событий, различных войн и «нашествий» и т.д. Одна только Франция выдвинула в средние века и позднее таких колоритных историков, как Виллеардуен, Фруассар, Камин и др. Разумеется, сейчас их исторические сочинения кажутся нам весьма наивными, но нельзя отрицать у их авторов интереса к прошлому. И, что особенно интересно, все это происходило в эпоху господства концепции «неизменяемости вещей», в эпоху, когда всякая трансформация рассматривалась как порча<sup>2</sup>.

Аналогичную картину нетрудно обнаружить и в России. Былины об Илье Муромце обычно начинаются с подвига богатыря, о прошлом которого слушателям сообщается только одно — он тридцать три года «сиднем сидел». В одном из исследований этого вопроса читаем: «Общего отвлеченного понятия времени у древних славянских народов не существовало». Только к началу XVI в. научились более или менее четко различать год, день, час<sup>3</sup>. Знаток XVIII столетия в России Г.А. Гуковский считал, что еще в середине этого века мышление русских писателей отличалось антиисторическим характером<sup>4</sup>.

Когда у отдельных писателей и философов более ранней поры, русских и иностранных, все же возникало представление об изменяемости языка, то сама эта изменяемость воспринималась чуть ли не как катастрофа: языку нельзя верить, он может «подвести». В 1588 г. Монтень жаловался в третьей книге своих «Опытов»: «Я пишу свою книгу для немногих людей и не на долгие годы. Если бы ее содержание предназначалось для длительного времени, то его следовало бы доверить более устойчивому языку (имелась в виду латынь. — *Р.Б.*). Судя по непрерывным изменениям нашего

<sup>1</sup> *Paris G.* La littérature française au moyen âge. Paris, 1890. P. 30; *Glasser R.* Studien zur Geschichte des französischen Zeitbegriffs. München, 1936.

<sup>2</sup> Из других работ на эту тему см.: *Badel P.* Introduction à la vie littéraire du moyen âge. Paris, 1969. P. 46–48.

<sup>3</sup> См.: *Вякина Л.В.* Из истории слов — терминов времени // Древнерусский язык. М., 1975. С. 69.

<sup>4</sup> См.: *Гуковский Г.А.* К вопросу о русском классицизме // Поэтика. Вып. 4. Л., 1928. С. 143; см. также: *Лихачев Д.С.* Время в произведениях русского фольклора // Русская литература. № 4. Л., 1962. С. 46.

языка, кто может предположить, что его настоящая форма сохранится через пятьдесят лет. Он ежедневно протекает сквозь наши пальцы (*il escoule tous les jours de nos mains*) и за время моей жизни изменился наполовину<sup>1</sup>. Монтень был убежден, что все это происходит в результате порчи языка.

И все же в отдельных странах уже в XVII столетии обнаруживаются некоторые «сдвиги» в осмыслении категории времени. В многотомном сочинении француза Ш. Перро «Параллели между древними и новыми взглядами» (1688–1697) предпочтение отдавалось «новым взглядам» на науку и искусство. Перро еще ничего не может сказать о развитии науки и искусства в «новое время», но все же это «новое» автору кажется лучше «старого» уже в силу того, что оно «новое».

Ученых и писателей XVIII в., особенно второй его половины, уже более пристально интересуется категория времени. В 1754 г. Ж.-Ж. Руссо, отвечая на конкурсную тему Дижонской академии «Способствует ли успех наук улучшению или ухудшению нравов?», приходит еще к отрицательному заключению. Но прежде чем сделать такое печальное заключение, Руссо колебался, и сами эти колебания большого писателя были вызваны огромным интересом к науке и ее успехам в эту эпоху. Веря в возможность нового издания знаменитой «Энциклопедии» в России, Д. Дидро в 1773 г. утверждал, что «Энциклопедию» не придется «существенно дополнять еще в течение века»<sup>2</sup>. Разумеется, с позиции нашего времени подобное убеждение кажется наивным, и все же заключение Дидро свидетельствовало о некотором «сдвиге» в истолковании категории времени: писатель ограничивал рамки «неизменяемости науки» границами одного столетия (как бы допуская, что позднее может быть и понадобится переработка или «доработка» его любимого детища — «Энциклопедии»). Дидро тут же подчеркивал: «Сравнение словаря в разные периоды времени дает возможность убедиться, как совершенствуется подобный словарь»<sup>3</sup>. И хотя эти мысли Дидро так и остались лишь общей декларацией, они все же очень интересны для понимания эпохи *зарождения самого понятия о развитии* общественных явлений и, в частности, о развитии языка.

Во второй половине XVIII в. аналогичные мысли стали защищать и другие выдающиеся мыслители и писатели в разных странах, в том числе в России, в Германии, в Англии.

<sup>1</sup> *Montaigne M. Oeuvres complètes. V. Paris, 1925. P. 112.*

<sup>2</sup> *Дидро Д. Собр. соч.: В 10 т. Т. X. М., 1947. С. 256 и сл. (статья «Об Энциклопедии»).*

<sup>3</sup> Там же. С. 257.

Исследователь поэтики древнерусской литературы замечает: «С каких пор мы можем наблюдать появление... сознания изменяемости литературы? Оно появляется во второй половине XVIII века. Его начинает грандиозная деятельность Новикова по собиранию и публикации древних памятников... Но сознание исторической изменяемости стиля и языка появляется только в начале XIX века»<sup>1</sup>. Сознание изменяемости общественных явлений и тем более идея их развития не сразу распространяются на все общественные явления и категории. Раньше стали понимать изменяемость самого общества, его социальных «институтов», позднее — изменяемость литературы, искусства, еще позднее — языка, еще позднее — мышления. Эти последние «категории» оказались гораздо сложнее, чем открытые общественные «установления». Вопрос этот, сам по себе очень существенный для истории теоретического мышления, остается все еще слабо изученным.

5

При всей важности идеи развития «вообще», не менее интересно и другое: как подобная идея «вообще» стала пробивать себе дорогу в разных науках, естественных и общественных, а в пределах этих последних — в тех гуманитарных науках, которые обычно объединяются термином «филология».

Идея развития прокладывает себе путь весьма различно в разных областях знания. В 1749 г. английский писатель и общественный деятель лорд Честерфилд в одном из писем к сыну замечает, что преклоняться перед древними мыслителями только потому, что они древние, неразумно: необходимы другие обоснования подобного отношения к древним<sup>2</sup>. В подобных рекомендациях еще нет полного понимания развития, но эта идея и здесь уже начинает пробивать себе дорогу: новое может прийти на смену старому, оказаться лучше старого.

Еще смелее по этому же пути идет немецкий философ И. Гердер. В своем основном философском трактате «Идеи философии истории человечества» (1784–1791) Гердер близко подходит к пониманию развития в собственном смысле этого последнего слова. Если до Гердера речь шла главным образом о том, как *меняются* те или иные вещи, категории, явления, понятия, то Гердер уже ставит вопрос о том, как *развиваются* эти же вещи,

<sup>1</sup> Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. С. 22–23.

<sup>2</sup> См.: Честерфилд. Письма к сыну. Максимум. Характеры. Л., 1971. С. 95 (письмо от 7 февраля 1749 г.).

категории, явления, понятия. Будучи пастором, Гердер выражает свои мысли крайне осторожно, нередко заключает их в мистическую оболочку. И все же, сравнивая человека с обезьянами и обнаруживая в человеке более высокий тип развития по сравнению с человекоподобными животными, Гердер близко подходит к эволюционному истолкованию окружающего нас мира<sup>1</sup>. Гердер очень интересовался происхождением языка, но «божественная концепция» ограничила исторический подход и к этому вопросу.

Ж. Дельвай, внимательный исследователь «идеи развития в XVIII столетии», был прав в своих выводах: идея развития окружающего нас мира и общественных «институтов» рождается почти одновременно в нескольких странах в самом конце XVIII и на рубеже XIX столетий. Предшествующая ей история — это лишь предыстория<sup>2</sup>. К этому следует прибавить, что и последующая история «идеи развития» в XIX и XX вв. оказалась, как мы видим, не менее сложной и противоречивой. Если раньше речь шла о самом возникновении «идеи развития», то в наше время речь идет уже о другом: о различных интерпретациях (нередко совсем несходных) этой «идеи развития». Возникло и новое разграничение в пределах анализируемой идеи: развитие как процесс тех или иных изменений и развитие как процесс совершенствования данного явления, данной категории, данного понятия. Об этом уже говорилось в предшествующих разделах.

Попытки свести понятие прогресса в обществе только к понятию прогресса в области естественных наук делались в разное время и в разных странах неоднократно. Так, например, когда в 1857 г. в Лондоне вышел первый том «Истории цивилизации в Англии» Г. Бокля, то вокруг этой книги во многих странах разгорелся спор прежде всего по вопросу о том, можно ли ограничить понятие прогресса лишь областью естественных и технических наук (как думал Г. Бокль), либо понятие прогресса распространяется и на сферу самых разнообразных «нравственных устремлений» человечества. Знаменательно, что известный русский критик и историк литературы Е.Л. Соловьев (псевдоним Андреевич) в предисловии к русскому переводу книги Г. Бокля горячо защищал точку зрения, согласно которой понятие прогресса относит-

<sup>1</sup> См.: *Гулыга А.В.* Гердер. М., 1975. С. 48; более подробно см.: *Гайм Р.* Гердер, его жизнь и сочинения. Т. I. М., 1888. С. 105–120; текст «Идеи философии истории человечества» помещен в кн.: *Гердер И.* Избранные сочинения. М.; Л., 1960. С. 227–273.

<sup>2</sup> *Delvaille J.* Essai sur l'histoire de l'idée de progrès jusqu'à la fin du XVIII siècle. Paris, 1910. P. 12.



ся не только к сфере естественных и технических наук, но и к сфере наук общественных<sup>1</sup>.

Обратим теперь внимание на время, когда впервые появились слова *развитие* и *прогресс* в русском языке. В петровскую эпоху существительное *прогресс* понималось как «прибыль», «преуспеяние», «успех»<sup>2</sup>. В значении же «поступательное движение вперед» *прогресс* получил широкое распространение гораздо позднее, лишь в 60-е гг. XIX в.

В 30-е и 40-е гг. слово *прогресс* в новом значении встречается еще редко, о чем имеются прямые свидетельства современников<sup>3</sup>. Только с середины XIX столетия получает распространение и существительное *развитие*. Гоголю оно казалось еще необычным и даже претенциозным. Когда в «Мертвых душах» (т. 2, гл. 3) Чичиков, оказавшись в библиотеке полковника Кошкарёва, читает названия книг, выведенные на их корешках, то самого автора «поэмы» поражают такие слова, как «проявление, развитие, абстракт, замкнутость и сомкнутость, и черт знает, чего там не было». Слово *развитие* (у Гоголя «развитье») не только попадает в группу слов, которые «черт знает что означают», но и подается автором как явный неологизм, сугубо книжной формы изложения. Хотя существительное *развитие* известно в русском языке с XVIII столетия, но тогда оно толковалось в чисто этимологическом плане: *развитие* — *развивание*, то что может *витья*, *развиваться*, *раскрываться*<sup>4</sup>.

Итак, если примерно до 1850 г. слова *развитие* и *прогресс* осмыслялись главным образом в своих этимологических значениях, а новые осмысления стали приобретать позднее, то в наше время вопрос стоит уже иначе. И то, и другое слово давно получили отвлеченные значения, а в научном стиле изложения они близки к терминам. Но как термины конкретных наук эти слова толкуются весьма различно и находятся в прямой зависимости от теоретической (методологической) концепции тех авторов, которые эти термины употребляют. Попытка показать подобные различия и была сделана в предшествующих разделах.

<sup>1</sup> См.: Бокль Г. История цивилизации в Англии / Пер. А. Буйницкого. СПб., 1895. С. XI.

<sup>2</sup> Смирнов Н.А. Западное влияние на русский язык в петровскую эпоху. СПб., 1910. С. 244.

<sup>3</sup> См. заметку М.П. Алексеева о слове *прогресс* (Тургеневский сборник. Вып. 3. Л., 1968. С. 181–183).

<sup>4</sup> См.: Веселитский В.В. Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII — начала XIX в. М., 1972. С. 151.

В своей широко известной книге «К критике политической экономии» К. Маркс писал: «... хотя наиболее развитые языки имеют законы и определения, общие с наименее развитыми, все же именно отличие от этого всеобщего и общего и есть то, что составляет их развитие»<sup>1</sup>. Здесь подчеркивается наличие языков более развитых и менее развитых — важнейшая проблема и сравнительно-исторической, и типологической лингвистики. Вместе с тем выделяется и другая проблема. Ее можно сформулировать так: хотя все языки подчиняются общим законам бытования и исторического движения, расхождения между ними обнаруживаются в самом процессе их же развития.

Один из крупнейших ученых второй половины XX в., математик Н. Винер, постоянно подчеркивал, что мир, в котором живут люди, это «мир процесса, а не... мертвого равновесия»<sup>2</sup>. То же можно сказать и о «мире» наших языков: языки всегда в процессе исторического развития.

Проблема совершенствования (прогресса) языка остается и в наши дни проблемой очень важной и вместе с тем очень сложной. Но даже ученые, которые понимают ее первостепенное значение, обычно все же ограничиваются лишь самыми общими замечаниями.

Аналогичная картина наблюдается и в других областях филологии. «Проблема художественного прогресса является вершинной проблемой нашей теории..., она позволяет подойти к многообразным литературным течениям XX века с одним критерием»<sup>3</sup>. «В искусствоведении и литературоведении время от времени возникает вопрос о том, существует ли прогресс в эстетической деятельности человека. Да, он существует»<sup>4</sup>. Некоторые исследователи предпочитают при этом говорить не о прогрессе, а более осторожно — о «поступательном развитии художественной литературы» и приводят соответствующие доказательства в пользу этого тезиса<sup>5</sup>.

Иное положение сложилось в советском языкознании в XX в. Если проблема прогресса языка все же иногда возникала, то обыч-

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 12. С. 711.

<sup>2</sup> Винер Н. Я — математик. М., 1964. С. 314.

<sup>3</sup> Тимофеев Л. Художественный прогресс // Новый мир. 1971. № 5. С. 239.

<sup>4</sup> Лихачев Д. С. Будущее литературы как предмет изучения // Новый мир. 1969. № 9. С. 180.

<sup>5</sup> См.: Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М., 1972. С. 330.

но сейчас же вносились оговорки: ее трудно осветить, еще труднее доказать, материалы одного языка для этого недостаточны и т.д.<sup>1</sup> Как я уже подчеркивал, лишь отдельные лингвисты не утратили интереса к такой постановке проблемы развития языка, когда «большие линии» самого развития осмысляются в связи с процессом неуклонного совершенствования языка во всех сферах его функционирования. Когда-то именно так ставил вопрос А.А. Потебня в своих проникновенных исследованиях, прежде всего — в четырехтомных «Из записок по русской грамматике». Аналогичная постановка проблемы была близка и некоторым другим нашим отечественным филологам<sup>2</sup>.

В последующих главах делается попытка вернуться к этим важнейшим вопросам на конкретном материале русского и некоторых других европейских языков<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> См., в частности, типичную в этом отношении коллективную работу: Лексика современного русского литературного языка. М., 1968. С. 40.

<sup>2</sup> Нападки на историческую концепцию языка как на концепцию будто бы «устаревшую и несовременную» см., например, в нашумевшей книге Фуко (*Foucault M. Les mots et les choses. Paris, 1966*) и споры вокруг этой работы. Убедительная критика Фуко и его сторонников дана польским философом Ярошевским (см.: *Ярошевский Т. Личность и общество. М., 1973. С. 262–266*).

<sup>3</sup> См. Приложения с. 229–256.

---

---

ГЛАВА ВТОРАЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ЯЗЫКА  
В ОБЛАСТИ ЛЕКСИКИ

Широко распространено мнение, согласно которому совершенствование лексики обнаруживается прежде всего в числе слов: в старых литературных языках было меньше слов, чем в новых языках, следовательно, лексика «прогрессирует», слов становится все больше и больше.

Между тем такая точка зрения оказывается поверхностной. Число слов само по себе мало о чем говорит. Язык может располагать огромным словарем, но если этот словарь не «обработан», если дифференциация между близкими по значению словами либо мало осознается говорящими, либо не существует вовсе, если структура многозначных слов распадается на простую «сумму значений» и не имеет смыслового центра, то лексика подобного языка, богатая в количественном отношении, оказывается бедной функционально, недостаточно точной в процессе общения людей. В языке понятие количества менее существенно, чем понятие качества.

Разумеется, с количеством слов тоже следует считаться. Можно априорно утверждать, что словарь языка Бунина количественно превышает словарь языка Пушкина, как словарь языка Голсуорси — словарь языка Шекспира, а словарь языка Пиранделло — словарь языка Данте. Это естественно. Лексика любого живого языка быстро увеличивается количественно: новые понятия и новые предметы «требуют» новых слов, тогда как старые слова обычно остаются рядом с новыми и только в незначительном количестве выходят из употребления, превращаясь в архаизмы. Здесь процесс увеличения значительно обгоняет процесс уменьшения: число слов непрерывно возрастает.

---

---

Если сравнить русский толковый академический словарь 1847 г. с русским толковым словарем под ред. Д.Н. Ушакова, опубликованным в 1934–1940 гг. (их разделяет почти столетие), то, вслед за Ю.С. Сорокиным, мы обнаруживаем во втором «Словаре» свыше десяти тысяч новых слов, которых не было в первом «Словаре»<sup>1</sup>. Если раскрыть большой «Русско-французский словарь» Н. Макарова, в целом хороший для своего времени, первое издание которого увидело свет в 1867 г., то в нем мы еще не найдем таких слов, как *мероприятие, настроение, общение, орудовать, равноправный, самосознание, сдержанность, собственник, сторонник, творчество, численность, солидарность, централизация* и очень много других, которые в наше время кажутся такими «обыкновенными»<sup>2</sup>.

Конечно, показания различных словарей в известной степени относительны. Те или иные слова могли уже пребывать в языке, но составитель «Словаря» либо не считал их общепринятыми, либо просто не знал об их существовании. Иногда возникали и другие причины, ограничивавшие объем составляемого «Словаря» вплоть до чисто технических затруднений (размеры «Словаря», его стоимость и т.д.). И все же, если более ста лет тому назад большой двуязычный словарь мог еще не содержать таких существительных, как *самосознание* или *творчество*, это свидетельствует о быстром развитии русской лексики после 60-х гг. XIX столетия.

О количестве слов в ту или иную эпоху трудно судить с точностью и по показаниям специальных словарей языка тех или иных писателей. Перед составителями подобных словарей возникает множество трудностей. Прежде всего: следует ли при тщательном изучении словаря большого писателя считаться лишь с теми значениями слов, которые встречаются только у него, либо необходимо опираться на все значения слов, бытующие в языке данной эпохи. По принципу, близкому к «словарю эпохи», у нас составлены «Словарь языка Пушкина» (1956–1961) и «Словник мови Шевченка» (1964). При всех достоинствах подобных словарей они не всегда дают читателю представление о том, что нового в «словарь эпохи» внес именно данный большой писатель, что специфично именно для его лексики, его словоупотребления, его осмысления подвижной полисемии слова<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> См.: *Сорокин Ю.С.* Развитие словарного состава русского литературного языка (30–90-е годы XIX века). М., 1965. С. 25.

<sup>2</sup> См. об этом: *Грот Я.* Филологические разыскания. Т. I. СПб., 1876. С. 228 и сл. (здесь дан обзор различных словарей, опубликованных в XIX столетии).

<sup>3</sup> Ср. об этом замечания Б.А. Ларина в сб.: *Словоупотребление и стиль М. Горького.* Л., 1962. С. 3–11.

По-видимому, этим следует объяснить несовершенство многих «словарей писателей», которые составлялись и составляются в разных странах мира.

Еще в 1859 г. Л. Блан опубликовал «Словарь языка “Божественной комедии” Данте», затем появились еще три словаря того же произведения Данте: в 1887 г. — «Словарь» Полетто, в 1905 г. — «Словарь» Скартачини и в 1954 г. — «Словарь» Зибценера-Виванти<sup>1</sup>. Казалось бы, зачем так много словарей даже для величайшего творения? Каждому последующему составителю «Словаря языка “Божественной комедии”» казалось, что он полнее и точнее передает особенности лексики «Комедии», чем его предшественники. Следовательно, простое количественное перечисление слов произведения мало что дает науке. Ведь вопрос в том, как Данте или как Шекспир, как Пушкин или как Шевченко понимали и употребляли те или иные слова, каким образом подобное понимание и употребление соотносилось с пониманием и употреблением слов другими писателями данной эпохи, с общим функционированием языка изучаемого периода<sup>2</sup>.

При историческом изучении лексики опора на словари языка писателей осложняется еще тем, что подобные «словари» часто составляются случайно, без строгого учета роли того или иного писателя в формировании лексики литературного языка. Так, например, у нас «Словарь к сочинениям и переводам Д.И. Фон-Визина» К. Петрова был опубликован в 1904 г., тогда как первый том «Словаря языка Пушкина» выходит в свет более чем через пятьдесят лет, в 1956 г. У англичан «Словарь языка Шелли» существует давно, тогда как «Словарь языка Байрона» появился в середине XX в.<sup>3</sup> У итальянцев имеется два «Словаря языка Габриеле д’Аннунцио», но нет словарей гораздо более крупных мастеров художественного слова той же эпохи<sup>4</sup>.

При всем значении числа слов конкретного языка в конкретную эпоху все же не число слов само по себе определяет процесс совершенствования лексики. Но и с количеством слов необходимо считаться, тем более, что по мере движения из прошлого к нашему времени число слов основных литературных языков наро-

<sup>1</sup> См. главу «Поэтика Данте» в кн.: *Голенищев-Кутузов И.Н.* Творчество Данте и мировая культура. М., 1971. С. 285–310; *Будагов Р.А.* О Данте-филологе // Дантовские чтения. 1968. М., 1968. С. 122–130.

<sup>2</sup> О других трудностях составления «словаря языка писателя» см.: *Гельгардт Р.Р.* Избранные статьи. Калинин, 1966. С. 221–239.

<sup>3</sup> Об английских «словарях писателей» см.: *Клименко Е.И.* Байрон. Язык и стиль. М., 1960. С. 48–52. О словарях языка Шекспира см.: *Мюллер В.К.* Драма и театр эпохи Шекспира. Л., 1925. С. 53.

<sup>4</sup> *Migliorini B.* Saggi sulla lingua del Novecento. Firenze, 1942. P. 241.

дов мира стремительно увеличивается. По данным, например, филологов Франции, французская лексика в XX столетии обновлялась каждые десять лет на двадцать пять процентов<sup>1</sup>. Если вдуматься в эту цифру, нельзя не признать полную несостоятельность концепции, согласно которой литературные языки изменялись главным образом в прошлом, а в настоящее время, достигнув «современного состояния», они будто бы почти перестают развиваться. О несостоятельности подобной концепции, к сожалению, широко распространенной, уже шла речь раньше.

Приведенные цифры подтверждаются многочисленными другими свидетельствами. Весьма существенно, что они даются не только теоретиками, но и практиками, составителями новых больших толковых словарей.

На протяжении 1957–1964 гг. во Франции публиковался большой толковый «Словарь французского языка» в шести томах, составленный П. Робером. Но уже в 1972 г. потребовался целый том (в пятьсот страниц) специальных дополнений к этому словарю. При этом П. Робер подчеркивает, что «дополнительный том» в основной своей части содержит слова, впервые появившиеся за двадцать лет (1951–1971). Автор говорит даже о «нашествии новых слов» при поддержке прессы, радио, телевидения, кино, публичной речи, научно-популярной литературы и т.д.<sup>2</sup> Эти слова П. Робера можно с полным правом отнести и к другим литературным языкам нашей эпохи, в частности к русскому, английскому, испанскому, немецкому, вообще к языкам широкого распространения<sup>3</sup>.

Перед исследователем лексики любого языка здесь возникает двойная трудность. С одной стороны, нельзя не считаться с быстрым количественным ростом лексики, в особенности со второй половины XX в., а с другой — следует понимать, что не само по себе количество слов «украшает» язык, делает его богатым, а то, как функционируют слова, как их количество взаимодействует с их качеством, с их способностью все более и более адекватно передавать мысли и чувства людей, живущих в обществе.

Разумеется, появление таких новых слов в русской лексике XIX столетия, как *личность*, *народность*, *современность*, *научный*, *интеллигенция* и других подобного же «ранга», само по себе сыграло выдающуюся роль в совершенствовании словаря русского языка.

<sup>1</sup> Le mouvement général du vocabulaire français // Le français moderne. Paris, 1960. N 2, 3.

<sup>2</sup> Robert P. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Supplément. Paris, 1972. P. 1.

<sup>3</sup> О неологизмах русского языка середины XX в. см.: Брагина А.А. Неологизмы в русском языке. М., 1973; Протченко И.Ф. Лексика и словообразование русского языка советской эпохи. М., 1975.

Не менее важным был, однако, и другой процесс: появление новых значений у слов, ранее давно бытовавших в языке.

Только после 40-х гг. XIX столетия прилагательные типа *передовой* и *отсталый* стали употребляться не только в буквальном, но и в фигуральном значении<sup>1</sup>. То, что у Пушкина еще не могли встречаться словосочетания типа *передовые идеи* или *отсталые взгляды* (но встречались *передовые холмы* и *оставшие спутники*), а у Некрасова уже могли, чрезвычайно важно не только для понимания языка обоих писателей, но и для периодизации лексики русского литературного языка той или иной эпохи. Если учесть, что аналогичные примеры исчисляются сотнями, то станет ясным не только принцип количества в лексике, но и принцип ее «качества», ее семантических возможностей.

Прилагательное *объективный* только с 30-х гг. XIX в. стало употребляться в новом для него переносном значении («верный действительности, правильно воспроизводящий ее»), и Белинскому еще приходилось отстаивать и защищать такое значение. До этого времени *объективный* осмыслялось лишь как *предметный* (соответственно объект 'предмет')<sup>2</sup>. Возникновение новых значений у слов подобного «ранга» способствовало развитию русского «метафизического языка», о котором мечтал Пушкин. Перед исследователем лексики возникает вопрос, в какой степени новые значения старых слов способствовали процессу совершенствования самой лексики и как говорящие люди выражали и передавали соответствующие понятия раньше, когда новых значений у тех или иных старых слов еще не было.

В этой связи надо обратить внимание и на такое явление: более ранняя дифференциация слов могла ощущаться лишь в пределах определенных стилей и угасать за их пределами. Позднее подобная дифференциация получала более отчетливое выражение и приобретала общезыковой характер.

Так, например, в связи с широким проникновением славянизмов в русский литературный язык XVIII в. образовались такие пары слов, как *голова* и *глава*, *город* и *град*, *здоровый* и *здравый*, *золото* и *злато* и многие десятки других. В ту эпоху славянизмы употреблялись обычно в так называемом высоком стиле, а русские слова — в обычном стиле: ср., например, «возвысить *главу*», но «опустить *голову*»<sup>3</sup>. Позднее, однако, дифференциация подобного рода за-

<sup>1</sup> См.: Сорокин Ю.С. Указ. соч. С. 527.

<sup>2</sup> См.: Веселитский В.В. Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII — начала XIX в. М., 1972. С. 20.

<sup>3</sup> См.: Замкова В.В. Славянизм как стилистическая категория в русском литературном языке XVIII века. Л., 1975 (список свыше 500 славянизмов «высокого слога» той эпохи дан в конце книги).



метно осложнилась, о чем свидетельствует употребление такого рода «пар» в современном языке. Продолжая сохранять стилистическую дифференциацию, отмеченные «пары» приобретают и более последовательную общесемантическую (общезыковую) дифференциацию: «*голова* человека, но *глава* предприятия». При этом значения, которые мешают четкости подобного противопоставления, обычно выделяются современными лексикографами в самостоятельные слова-омонимы («эта *глава* книги особенно интересна», где *глава* — омоним по отношению к *главе* — руководителю предприятия). Сходное семантическое движение внутри старых слов, как бы между ними, — результат новых потребностей общения, необходимости передавать средствами языка то, что стало актуальным в новую историческую эпоху.

На смену узкостилистической дифференциации слов приходит общезыковая и общестилистическая дифференциация этих же слов, одновременно отодвигающая узкостилистическую дифференциацию, ставшую в этом случае неактуальной, как бы на «задний план» языка.

Совершенствование лексики (подобных пар слов в русском языке и теперь много) обнаруживается и здесь не в количественном, а прежде всего в качественном отношении.

В этом же отношении весьма характерна лексическая полисемия в разных языках на разных этапах их развития. Лексическая полисемия — органическое свойство всех языков, на всех этапах их функционирования. Однако *самый характер* или *тип полисемии* обычно *бывает различным* в зависимости от общего уровня развития языка, от его общей культуры, от особенностей его письменной традиции (старой или молодой, однообразной или многообразной по жанрам) и ряда других условий. По характеру той или иной полисемии можно судить о степени развития языка, об уровне его выразительных (в самом широком смысле) возможностей. Об этом — речь еще впереди.

## 2

Не так давно А.Ф. Лосев убедительно показал, что такие прилагательные, как, например, *священный* или *божественный*, имели у Гомера практически столько значений, сколько могло быть возможных сочетаний слов с такого рода прилагательными<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> См.: Лосев А.Ф. Эстетическая терминология ранней греческой литературы // Уч. зап. МГПИ им. В.И. Ленина. 1954. Т. 83. С. 83–86; см. здесь же: «греки понимали цвета в полной их неотрывности от тех или иных тел» (с. 84); см. также хорошо известную книгу Г. Магнуса: *Magnus H. Die Entwicklung des Farbensinnes*. Jena, 1877. S. 18–25.

Подобное явление довольно резко отличается от полисемии, типичной для современных литературных языков: в языках более поздней эпохи полисемия слова, сколь бы сложной она ни была и как бы ни зависела от неоднородных контекстов, однако, как правило, полисемия опирается на основное значение слова, вокруг которого «располагаются» другие его значения. К тому же в таких современных языках, как русский или английский, арабский или испанский, число значений многозначного слова практически ограничено, хотя и может быть достаточно большим. Следовательно, *полисемия современных языков качественно отличается от полисемии древних языков*, вполне доступных для изучения. Вместе с тем нельзя не признать, что полисемия новых языков — шаг вперед по сравнению с полисемией старых языков, ибо она свидетельствует, как отражаются в лексике результаты абстрагирующих завоеваний человеческого разума и человеческого воображения.

Анализируемая проблема вызывает не только специально лингвистический интерес, но и более широкий общественно-исторический интерес.

Известно, что некоторые историки античности (Р.Ю. Виппер, И. Ферреро) превратили Цицерона в монархиста только на том основании, что в его трактате «*De re publica*» употребляются такие описательные термины, как *rei publicae rector et moderator* букв. 'правитель и руководитель общественным делом', *tutor et procurator rei publicae* 'защитник и управитель общественным делом'. Между тем Цицерон только калькировал греческий термин *politikos*, означавший «государственного деятеля». Полисемия латинского словосочетания *rei publicae* (более позднее *respublica*) во многом зависела от того или иного контекста, что не всегда учитывали историки античного мира<sup>1</sup>.

В ряде случаев сама полисемия находилась в прямой зависимости от воззрения людей, говорящих на данном языке, от их понимания окружающей природы. Если римляне эпохи Энния (III—II вв. до н.э.) затруднялись разделить понятие *ветра* и понятие *воздуха* (одно слово *ventus*), понятие *климата* и понятие *неба* (одно слово *caelum*), если они не имели слова для обозначения *полугодия*, а должны были сказать *шесть месяцев*, если события происходили, когда год «вступает» в свои права (*ineunte anno*), «уходит» (*exeunte anno*), «поворачивается» (*vertente anno*), то в подобного рода явлениях нельзя видеть только внутреннюю специ-

<sup>1</sup> См.: Тронский И.М. Очерки из истории латинского языка. М., 1953. С. 132; Корлэтяну Н.Г. Исследование народной латыни и ее отношений с романскими языками. М., 1974. С. 222 и сл.

фику одного языка в отличие от внутренней специфики другого языка. Факты подобного рода должны поставить перед исследователем новую, и, увы, все еще совершенно неразработанную проблему, которую следует сформулировать так: проблема *разных типов полисемии* в языках, находящихся на разных этапах своего исторического становления.

Разумеется, проблема не сводится к отдельным примерам. Дело не в том, хорошо или нехорошо не различать словесно понятие *климата* и понятие *неба* (можно допустить, что некогда здесь были омонимы), но дело в том, чтобы на основе обследования большого материала разных языков на разных этапах их исторического движения возникла бы важнейшая проблема — многообразие типов самой полисемии и закономерности исторического развития подобных типов.

Я далек от мысли, что в настоящих строках намеченная проблема решается. Хотелось бы только подчеркнуть исключительную важность подобной проблемы для исторического языкознания, как гуманитарной и общественной науки.

Казалось бы, в каком отношении семантика «цветовых» прилагательных в древнегреческом языке находилась в зависимости от понимания самого спектра в ту эпоху? Между тем зависимость здесь прямая. С учетом подобной зависимости сравнительно легко понять, почему прилагательное *золотой* могло относиться у Гомера не только к *украшениям*, но и к *воротам*, *корзинкам* и даже к *плети*, а прилагательное *зеленый* — не только к *зелени*, но и к *меду* и даже к *ужасу*<sup>1</sup>. В подобных случаях различные типы полисемии слова находятся в прямой зависимости от общего уровня развития культуры, в частности — науки.

Ранее уже была сделана попытка разграничить понятия количества и качества в языке вообще, в лексике — в частности и в особенности. Это разграничение весьма существенно. Но проводя его, нужно постоянно помнить, что количество и качество в языке не только различаются, но и взаимодействуют: количество на одном этапе существования языка может «обернуться» своей качественной стороной на другом его этапе, точно так же, как качественные разграничения иногда передаются с помощью количественного увеличения словаря.

По мнению скандинавистов, древнеисландский язык не только не знал разграничения между такими словами, как *роман*, *повесть*, *рассказ*, *новелла*, *драма*, но и между такими словами, как *статья*, *исследование*, *сочинение*. Больше того, в древнеисландском языке нельзя было провести лексического разграничения

<sup>1</sup> Magnus H. Op. cit. P. 210.

между первой и второй группами перечисленных слов. Для понятия «нечто написанное» или «нечто сказанное» имелось лишь одно слово *saga (saga)*, которое могло обозначать любое из перечисленных понятий. Поэтому утверждать, например, что «автор данной саги хотел написать роман, а не историческое исследование», так же «абсурдно, как приписывать автору *sagi* понимание того, что такое сценарий кинофильма или телевизионный спектакль»<sup>1</sup>. Подобного рода *тип полисемии* мог существовать лишь в ту эпоху, когда люди еще не проводили различия между понятиями правды и художественной правды, между историей и вымыслом, а в пределах вымысла — между разными видами и жанрами художественной литературы. Полисемия самого слова *saga* оказывалась таким образом прямо обусловленной уровнем развития мышления людей и культурой народа определенного периода его существования. Древние исландцы еще не знали, что такое эстетическое отношение к природе и как можно наслаждаться художественным вымыслом талантливого человека. Следовательно, можно без всяких оговорок утверждать, что распад былой полисемии такого слова, как *saga*, оказался не только прогрессивным, но и неизбежным. Можно говорить о различных типах лексической полисемии и о закономерностях ее исторического движения.

Древнеисландский язык здесь не был одинок. Сходная, хотя и не совсем аналогичная картина наблюдалась во многих средневековых европейских языках.

Как показал в специальном исследовании Г. Колл, в старофранцузском языке употреблялись как абсолютные синонимы такие слова, которые уже в XVI столетии стали отчетливо различаться, а в современном языке совсем «разошлись»: *mot* ‘слово’, *discours* ‘речь’, *conversation* ‘беседа’, *raison* ‘довод’, ‘рассудок’, *langue* ‘язык’, *latin* ‘латинский язык’ и некоторые другие<sup>2</sup>. Когда в «Песни о Роланде» (XI в.) император заканчивает речь, обращенную к воинам, то автор сообщает: *Li emperere out sa raison fenie* ‘император закончил свою речь’, где *raison* — современное ‘разум’, ‘интеллект’, ‘довод’ — употребляется как абсолютный синоним к слову *discours* ‘речь’. Дело не в том, что в старом языке существительное *raison* имело много значений. Это слово сохраняет широкую полисемию и в современном французском языке. Но дело в том, что самый *тип полисемии* в старом и новом языке принципиально различен: для старой эпохи *речь, слово,*

<sup>1</sup> Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. Л., 1971. С. 18.

<sup>2</sup> Koll H. Die französischen Wörter *langue* et *langage* im Mittelalter. Genève, 1958. S. 56.

*беседа, язык* — это абсолютные синонимы, употреблявшиеся безразлично. Для людей более поздней эпохи — это принципиально различные слова, хотя каждое из них в свою очередь может быть многозначным.

Различие очевидно: люди не сразу научились разграничивать разные виды «говорения», разные виды коммуникации. Поэтому, хотя *raison*, как и *discours*, как и *langue* многозначны и в старом, и в новом языке, подобная многозначность опирается на принципиально различные основания. Они-то и создают разные исторические типы полисемии. В этом ракурсе тип многозначности перечисленных французских слов средних веков во многом соприкасается с типом многозначности древнеисландского существительного *saga (saga)*.

Когда современные люди, говорящие, в частности, на европейских языках и владеющие их литературными нормами, употребляют слово *язык* как синоним слова *народ*, то они при этом обычно ощущают метафоричность подобной «замены» («все *языки* восстали против их угнетателей»). Как показывают многочисленные материалы, собранные тем же Коллом, в средние века говорящие люди еще не ощущали метафоричности подобных переходов. И это — еще одно доказательство процесса непрерывного совершенствования языка. На смену безразличию приходит все более тонкое ощущение многоплановости и подвижности слова.

Большое число слов, не поддержанное различными дифференцирующими движениями, может оказаться лишь потенциальным богатством языка, либо реализованным позднее, либо вовсе не реализованным в языке. Так, например, для понятия *сегодня* старофранцузский язык имел около десяти наименований (все с совершенно одинаковым значением: *hui, hui jor, d'hui, jehui, ancui, anuit, encornuit, maishui* и др.), тогда как современный язык сохранил только одно (*aujourd'hui*)<sup>1</sup>. Не имея необходимости как-то расчлнить понятие *сегодня* (при наличии *утра, полдня, вечера*), язык не сохранил того «богатства», которым он располагал этимологически, но которое оказалось позднее ненужным.

### 3

В приведенных примерах лингвист обычно оперирует большими масштабами времени, столетиями. А как обнаружить различные типы полисемии, приближаясь к нашему времени? Вначале попытаемся лишь немного сократить промежутки времени.

<sup>1</sup> Gorod Ralph de. Lexique français moderne — ancien français. University of Georgia Press, 1973. P. 37.

Если сравнить, например, полисемию английского прилагательного *free* 'свободный' на рубеже XVII столетия с полисемией этого же прилагательного в современном английском языке, то можно установить следующее: и в то время, и сейчас это прилагательное отличалось и отличается широкой полисемией, и все же имеются различия между двумя типами полисемии.

Как показал знаток Шекспира М.М. Морозов, у Шекспира, например, *free* встречается в таких значениях: 'свободный', 'независимый', 'добровольный', 'готовый что-либо сделать', 'откровенный', 'несдержанный', 'щедрый', 'здоровый', 'счастливый', 'беззаботный', 'невинный', 'безвредный', 'благородный', 'изящный' и др.<sup>1</sup> Если даже предположить, что некоторые из перечисленных осмыслений были «индивидуально шекспировскими», то и в этом случае полисемия *free* в начале XVII в. была более «разбросанной», чем сейчас. В современном английском языке, как показывают лучшие толковые словари, полисемия *free*, сама по себе тоже очень широкая, строится уже иначе: значение «свободный» воспринимается говорящими как *основное значение*, вокруг которого группируются другие значения, иногда далеко от него отстоящие, но все же, в той или иной степени, от него же и зависящие: *добровольный* (т.е. без принуждения), *незанятый* (т.е. свободный от дела), *распущенный* (т.е. свободный от сдерживающей воли), *бесплатный* (т.е. свободный от обязательства платить), *открытый* (т.е. не имеющий никаких препятствий и в этом плане свободный) и т.д.

В случае более резкого отрыва «периферийного значения» от основного современный язык образует омонимы, которые фиксируются словарями. Так дифференцируются различные типы полисемии и омонимии в процессе исторического развития языка и его лексики. Разумеется, здесь играет важную роль и степень сознательного отношения к литературному языку в различные исторические эпохи.

Сказанное, разумеется, не означает, что прогресс лексики обнаруживается в уменьшении или увеличении числа значений многозначных слов. И здесь проблема не сводится к количеству значений, как не сводится она и к количеству (числу) слов. Весь вопрос в том, *какую функцию* выполняют многозначные слова в разные исторические эпохи и каковы типы подобных многозначных слов.

Существительное *машина* латинского происхождения, в свою очередь заимствованное из греческого, в конце XVIII и в начале XIX столетия как бы рождается заново, получает новое осмысле-

<sup>1</sup> Морозов М.М. Язык и стиль Шекспира // Избранные статьи и переводы. М., 1954. С. 97.

ние в связи с промышленной революцией. Меняется и полисемия этого слова. Ведь недаром именно о XIX в. стали говорить как о «веке машин», «машинном веке». Нередко «машинный период» в истории человечества распространяют и на XX в., охватывая и современную эпоху развития техники. Разнообразные значения существительного *машина* были, однако, во многом несходными в разные периоды человеческой истории.

Немецкий этнограф Ю. Липс пишет о первых машинах, имея в виду предысторию человечества<sup>1</sup>. Он разумеет самые элементарные орудия производства. Примерно такие же орудия производства (приспособления для поднятий тяжестей) называл *машинами* (*machinae*) и римский архитектор I в. до н.э. Витрувий в своей книге «Об архитектуре». Под *машиной* здесь понималось всякое орудие, употреблявшееся человеком в процессе труда. Гораздо позднее, в XIX в., когда слово *машина* стало не только «житейским» словом, но и термином политической экономии, его семантика во многом осложнилась. Но уже гораздо раньше подобное осложнение стало ощущаться в связи со своеобразным столкновением терминологического и нетерминологического осмысления *машины*. Когда шекспировский Полоний оглашает любовное послание Гамлета к Офелии («Гамлет», II, 2), то слушатели невольно задумывались над его последними строками: *Thine evermore, most dear lady, whilst his machine is thine*. — Букв. «Твой навсегда, моя дорогая, пока эта *машина* принадлежит ему». Переносные осмысления *машины* усиливаются позднее. В XVIII в. Г. Фильдинг в своей «Истории Тома Джонса Найденьша» (кн. 6, гл. 2) сообщал, что человеческий ум способен привести в движение «все политические *машины* Европы» (*machines of Europe*). Так существительное *машина* продолжало «набирать» переносные осмысления, одновременно сохраняя техническое значение.

Примерно с середины XVIII столетия и позднее в связи с промышленной революцией в Европе *машина* получает новое техническое осмысление.

В Англии и во Франции *машина* вначале проникает в ткацкое производство, затем в угольную и металлургическую промышленность, а к концу века Просвещения создаются и *паровые машины*<sup>2</sup>. Все это не только увеличивало удельный вес самого слова *машина* в разговорной и в письменной речи. Возникают новые переносные осмысления у существительного *машина*. В самых разных языках появляются новые словосочетания, как бы реализующие

<sup>1</sup> См.: Липс Ю. Происхождение вещей. Из истории культуры человечества. М., 1954. С. 78–88.

<sup>2</sup> Mantoux P. La révolution industrielle au XVIII siècle. Paris, 1959. P. 351.

новые переносные движения в самом слове *машина*. И чем ближе к нашему времени, тем больше подобных осмыслений: *военная машина, машина времени, государственная машина, человек — не машина* и т.д. Вместе с тем расширяется и сфера технических осмыслений машины: *легковая машина, жатвенная машина, уборочная машина, швейная машина* и т.д. При этом технические значения *машины* очень близки друг к другу, тогда как переносные ее осмысления более «разбросаны», более широки по охвату возможных словосочетаний.

Итак, существительное *машина* всегда отличалось широкой полисемией, но подобная полисемия в разные эпохи была неодинаковой.

И здесь могут быть хотя бы намечены разные типы полисемии. В конечном счете они были обусловлены уровнем развития культуры и техники в разные эпохи истории человечества. Как мы уже знаем, полисемия полисемии рознь. И это очень важно для исторической семасиологии. Переходы от буквальных к фигуральным значениям *машины*, как и от фигуральных — к буквальным, теперь нам не кажутся загадочными, как это наблюдалось еще в эпоху Шекспира или в эпоху Фильдинга. Современного человека уже не смущает широкая полисемия существительного *машина*, одновременно опирающаяся и на буквальное и на фигуральное осмысление самого слова *машина*. Отсюда и *машина времени*, и *уборочная машина*, и *современная машина* (автомобиль), и многие другие значения и употребления, расширяющие сферу возможных словосочетаний со словом *машина*.

Характер и особенности словосочетаний в любом языке зависят от уровня развития культуры (в широком смысле). Подобная зависимость не подлежит сомнению. Поэтому нельзя не сожалеть, что и этот вопрос мало изучен в филологии.

Дополнительно к приведенным материалам и соображениям хочу обратить внимание на такой элементарный пример: в романе Э. Золя «Нана», первое издание которого появилось в 1879 г., его персонажи неоднократно звонят друг к другу в квартиры. И каждый раз Золя сообщает, что он или она нажимают «*электрический звонок*» (la sonnerie électrique). Электрические звонки в конце 70-х гг. XIX столетия были еще новостью, поэтому писатель не перестает напоминать своим читателям об этих *электрических звонках*. В наше время люди и в жизни, и в романах просто «звонят», и нет никакой надобности напоминать кому бы то ни было, что подобный звон производится, как правило, с помощью электричества. В подобных случаях зависимость словосочетаний от действительности, как и разграничение слова и словосочетания, видны даже невооруженному глазу.



Не только типы словосочетаний, но и типы полисемии во многом зависят от действительности.

В старофранцузском языке существительное *relais* 'смена' употреблялось прежде всего по отношению к собакам и лошадям: смена уставших собак в упряжке, смена уставших лошадей в упряжке. В различных старофранцузских словарях нетрудно найти соответствующие примеры. Гораздо позднее — точную дату установить пока трудно — «смена» стала пониматься расширительно, а в XIX в. существительное *relais* проникает в спортивную терминологию: начинают говорить о *course de relais* — состязании, во время которого одни спортсмены сменяют других. Из спортивной терминологии слово вновь возвращается в общелитературный язык, но уже в новом значении: теперь говорят и о *travail par relais* 'сменной работе', во время которой одни рабочие сменяют других. И уже в XX столетии наблюдается дальнейшее закрепление *relais* в общелитературном языке: в частности, *le relais de la paix* 'эстафета мира'.

Как видим, новая полисемия слова (*relais* продолжает сохранять и старые значения, хотя и отодвигает их на задний план) качественно отличается от старой полисемии этого же слова. Не подлежит сомнению зависимость подобных изменений от практических нужд общения, от общего развития культуры общества. Круг, который «замыкает» полисемию слова, оказывается не только подвижным. Сам характер этого круга меняется в разные исторические эпохи.

Обычно в разысканиях по истории лексики тех или иных языков исследователи описывают путь движения слова от его буквального значения к значениям переносным. В действительности, как мы видели, это лишь один из возможных путей развития семантики слова и отнюдь не всегда главный.

Соотношения здесь могут быть самыми разнообразными, нередко противоречивыми и сложными, но всегда требующими осмысления с позиций исторической лексикологии и семасиологии.

Уже доказано на основе разнообразных материалов, что прилагательное *красный* первоначально имело в древнерусском языке значения, которые могут быть названы переносными: 'красивый', 'прекрасный', 'привлекательный', 'ценный' и др. (ср. сохранившееся в народном языке «красна девица»)¹. Гораздо позднее, в XIV—XVI вв. (точная хронология потребовала бы

¹ См.: Бахилина Н.Б. История цветообозначений в русском языке. М., 1975. С. 162–169 (здесь же указания на предшествующую литературу); Брагина А.А. «Цветовые определения» в формировании новых значений слов и словосочетаний // Лексикология и лексикография. М., 1972.

сплошного анализа всех текстов под определенным углом зрения), стали встречаться случаи употребления прилагательного *красный* в цветовом значении (*красный* = красный цвет). Ранние примеры употребления слова *красный* в качестве названия цвета иногда сомнительны, но с середины XVI столетия подобные примеры становятся бесспорными. В XVIII в. *красный* широко бытует и в цветовом осмыслении, и в старом значении — ‘красивый’, ‘прекрасный’, ‘ценный’. В XIX столетии старые осмысления становятся архаичными и сохраняются лишь в народной речи. Но вот с начала этого же века под влиянием французского прилагательного *rouge* ‘красный’, которое в эпоху французской революции 1789–1793 гг. приобретает новое переносное значение ‘революционный’, такое же значение начинает формироваться и у русского прилагательного *красный*. К сожалению, точной даты появления *красный* в смысле ‘революционный’ пока установить не удалось. Но к середине XIX в. это значение уже широко бытовало в речи русских людей. Поэтому, когда в 1856 г. в романе И.С. Тургенева «Рудин» его герой погибает в 1848 г. «с красным знаменем в руках», это новое значение *красный* ‘революционный’ было всем понятно и не требовало особых комментариев<sup>1</sup>.

Что же получилось? С современной точки зрения обнаруживается движение от переносного значения (*красный* = красивый) к значению буквальному (*красный* = красный цвет), а от буквального — к новому, гораздо более емкому переносному значению (*красный* = символ революционного). Вместе с тем современный русский язык теперь располагает всеми перечисленными значениями. Лишь значение *красный* ‘красивый’ стало несколько архаичным, но вместе с тем расширился круг переносных осмыслений самого прилагательного *красный*, в особенности в устойчивых словосочетаниях (ср.: проходить *красной* нитью, *красный* уголок, *красная* строка в тексте и т.д.).

Несомненно и другое: когда до XIV в. русские люди употребляли слово *красный* главным образом в значении ‘красивый’, ‘прекрасный’, это значение не казалось им ни переносным, ни буквальным. Оно считалось общепризнанным, и только. Лишь гораздо позднее, при теоретическом осмыслении законов развития лексики возникли понятия полисемии, буквальных и фигуральных значений, значений архаичных и значений живых и т.д.

<sup>1</sup> Ср.: Рейсер С.А. Красный флаг в России // Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. М.; Л., 1966. С. 294–299; Perreux G. Les origines du drapeau rouge en France. Paris, 1930; Реизов Б.Г. Почему Стендаль назвал свой роман «Красное и черное» // Новый мир. 1956. № 8. С. 276–278; Брагина А.А. Лексика языка и культура страны (гл. V «Слова и краски»). М., 1981; 2-е изд. М., 1986.

История прилагательного *красный* в русском языке, здесь кратко очерченная, все же дает материал, подтверждающий общий тезис настоящего изложения: в самом развитии различных значений *красного* можно видеть поступательное движение человеческой мысли. Круг значений анализируемого прилагательного весьма расширился, но само это расширение помогает людям точнее и полнее передавать их же мысли и чувства.

И здесь вновь возникает вопрос о различных типах полисемии слов в различные исторические эпохи. Уже самый факт отсутствия какого бы то ни было неудобства от полисемии прилагательного *красный* в современном русском языке свидетельствует о новой ступени в развитии полисемии слова. Говоря, в частности о *красном флаге*, мы можем разуметь одновременно и красный цвет такого флага и его символическое значение. Но само это обобщение как бы опирается на все предшествующие этапы семантического развития слова.

#### 4

Проблема смысловой дифференциации между разными, но сходными по употреблению словами, как и проблема дифференциации разных значений в пределах полисемантических слов — вот две проблемы, тесно между собой связанные, и в равной мере важные для понимания процесса совершенствования любого языка.

Исследователь обязан при этом учитывать, что оба этих процесса, постоянно происходящие в любом живом языке, в одни исторические эпохи происходят обычно интенсивнее, чем в другие. Подобные различия определяются спецификой становления каждого литературного языка, тем, что в истории каждого языка имеются эпохи более значительные по своим последствиям для самого языка и эпохи менее значительные, менее яркие.

Хорошо известно, что в истории русского литературного языка одной из таких важнейших эпох была первая половина XIX столетия, когда происходил процесс, названный Пушкиным процессом развития русского «метафизического языка»<sup>1</sup>. В интересующей меня в этой главе лексике данный процесс обнаруживался прежде всего: 1) в разграничении значений между словами, ранее употреблявшимися почти безразлично; 2) в росте отвлеченных осмыслений у многих старых слов; 3) в формировании новых слов, необходимых для «метафизического языка». В теоретическом плане

<sup>1</sup> Это знаменитое пушкинское изречение подробно анализируется в настоящей работе в главе о научном стиле изложения.

особенно существенны первые два раздела, которые проиллюстрирую здесь лишь двумя—тремя примерами.

Вплоть до 30-х гг. XIX в. такие слова, как *существенность* и *действительность*, последовательно не различались. У Белинского в «Литературных мечтаниях» (1834): «Но, увы! все это поэзия, а не проза, мечты, а не *существенность*». У Пушкина *существенность* чаще всего обозначает «действительность»: «вечные противоречия существенности» («Словарь языка Пушкина», IV, 435). Но уже у позднего Пушкина встречается в этом же значении и *действительность*: однажды о себе он заметил, как о «поэте *действительности*» (там же, I, 611). Можно себе представить, какое огромное значение для развития «метафизического языка» сыграло разграничение таких слов, как *существенность* и *действительность*. Ведь многие острые философские и литературные споры 40–50-х гг. XIX столетия вращались вокруг понятия «действительность» и его истолкования. К тому же «действительность» легче противопоставлялась «фантазии», чем «существенность». В эпоху, когда великие писатели и общественные деятели выступили в защиту литературы, изображающей реальную действительность, само разграничение слов *существенность* и *действительность* приобретало не только лингвистическое, но и общественно-политическое значение<sup>1</sup>.

Трудно переоценить роль подобных процессов семантической дифференциации слов в развитии и совершенствовании лексики любого языка. В этой связи остановлюсь еще на одном примере.

В своей монографии о словарном составе русского литературного языка 30–90-х гг. XIX столетия Ю.С. Сорокин показал, что прилагательного *научный* не было в русском языке вплоть до 40-х гг. этого исторического периода<sup>2</sup>. Слова *наука*, *научение* были хорошо известны уже древнерусскому языку<sup>3</sup>, но прилагательное *научный* возникает очень поздно. Неспециалисту даже трудно представить, что в эпоху Пушкина еще не существовало такого необходимого с современной точки зрения слова, как *научный*. Говорили *ученый* (в значении прилагательного), *научообразный* и, наконец, *сциентифический* (фр. *scientifique* от *science* 'наука'). Однако чем больше развивалась сама наука — а середина XIX столетия была периодом интенсивного роста русской науки, — тем явственнее ощущался недостаток в соответствующем прилагательном. По словам одного современника, Гоголь очень удивился,

<sup>1</sup> См. примеры в кн.: *Веселитский В.В.* Указ. соч. С. 54–55.

<sup>2</sup> См.: *Сорокин Ю.С.* Указ. соч. С. 280–283. Здесь же приводятся и другие интересные примеры.

<sup>3</sup> См.: *Срезневский И.И.* Материалы. Т. 2. СПб., 1902. С. 344–345.

когда в разговоре с ним, происходившем в 1852 г., прозвучало прилагательное *научный*: «Гоголь вдруг перестал есть, смотрит во все глаза на своего соседа и повторяет несколько раз сказанное мною слово: научный, научный, а мы все говорили наукообразный: это неловко, то гораздо лучше»<sup>1</sup>.

Почему же прилагательное *научный* в значении прежде всего «основанный на принципах науки» оттеснило на задний план своих конкурентов — *наукообразный*, *ученый*, *сциентифический* (последнее вскоре перестало употребляться вовсе)?

Дело в том, что уже к 60-м гг. *наукообразный* стало получать слегка ироническую окраску, весьма характерную для этого прилагательного и в современном языке («научный лишь по виду, а не по существу»). *Сциентифический* оказалось неловким заимствованием, к тому же не сохраняющим никакого словообразовательного соприкосновения с существительным *наука* (*сциенция*, фр. *science*, в русском языке почти совсем не употреблялось). Самым сильным противником прилагательного *научный* продолжало оставаться прилагательное *ученый*, но и оно вскоре обнаружило свои уязвимые места: не имело словообразовательных связей с существительным *наука* (а удельный вес этого слова быстро возрастал в языке 60-х гг. XIX столетия) и употреблялось чаще в функции имени существительного и реже — в функции имени прилагательного. В результате к 60–70-м гг. *научный* стало функционировать повсеместно, а *ученый* начало специализироваться в определенных словосочетаниях (ср. в современном языке: *ученые труды*, *ученые советы*, *ученый спор* и др.).

Совершенствование лексики здесь обнаруживается в том, что, во-первых, язык преодолевает затруднения, возникавшие в связи с отсутствием прилагательного *научный*, а, во-вторых, в том, что вместо менее четко дифференцированного ряда *ученый* — *наукообразный* — *сциентифический* возникает гораздо более четко дифференцированный ряд: *научный* — *ученый* — *наукообразный*.

В первую половину XIX столетия прилагательное *животрепещущий* употреблялось главным образом в рыбной торговле (*животрепещущая рыба*). Отдельные случаи осмысления *животрепещущий* в переносном значении (например, *животрепещущий вопрос*) еще крайне редки<sup>2</sup>. Даже в 1847 г. в «Словаре церковнославянского и русского языка» прилагательное *животрепещущий* поясняется одним примером: *животрепещущая рыба*. Но уже в середине XIX в.

<sup>1</sup> Тарасенков А. Последние годы жизни Н.В. Гоголя. Записки его современника. 2-е изд. М., 1902. С. 11.

<sup>2</sup> См. примеры: Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. Т. 4. М., 1955. С. 127.

и особенно во второй его половине *животрепещущий* в значении «важный в настоящий момент, злободневный» становится широко употребительным (*животрепещущий вопрос*). В XX в. происходит дальнейшее изменение соотношения между буквальным и фигуральным осмыслениями прилагательного: фигуральное значение становится основным, а буквальное отодвигается на задний план.

В первом томе «Толкового словаря» под ред. Д.Н. Ушакова (1934) это изменение фиксируется: «*животрепещущий* 1) злободневный..., 2) жизненный, как бы живой, 3) зыбкий, непрочный (разговорное, шутовское): животрепещущий мостик». Нетрудно заметить, что второе и третье из этих значений уже тогда воспринимались как периферийные. Поэтому вполне закономерно, что современный «Словарь» С.И. Ожегова дает только одно значение прилагательного *животрепещущий*: «злободневный, важный в настоящий момент: *животрепещущий вопрос*».

Трудно переоценить роль подобных трансформаций лексики для понимания и процесса ее движения, и процесса ее совершенствования. Дело в том, что для обозначения состояния совсем еще свежей рыбы говорили и говорят *живая рыба*, тогда как прилагательное *животрепещущий* оказалось настолько нужным в сфере переносных обозначений (*животрепещущий вопрос, животрепещущая проблема*), что его ассоциации с *рыбой* все более и более казались неуместными. В сфере переносных обозначений *животрепещущий* тоже продолжает развивать дальнейшие переносные значения и оттенки значений (от «важный» «очень важный» до «злободневный»), но эти значения движутся уже в другой семантической сфере, чем это наблюдалось в XIX столетии. Произошла, в частности, дифференциация *живой* и *животрепещущий*. Разумеется, теоретически и сейчас еще можно услышать *животрепещущая рыба*, но это уже теоретически и весьма редко — практически (скорее тогда *трепещущая рыба*).

Анализируемый пример дает возможность вновь вернуться к теории полисемии и к ее разным историческим типам.

Как обычно объясняются подобные изменения в значении слова? От буквальных значений к фигуральным, от прямых значений к переносным. Проблема представляется мне важнее и серьезнее. Дело в том, что до тех пор, пока прилагательное *животрепещущий* ассоциировалось с живой рыбой, его полисемия была совершенно иного типа по сравнению со временем, когда, казалось бы, то же прилагательное *животрепещущий* стало развивать новые значения, но в пределах одного смыслового ряда, уже почти ничего не имеющего общего с представлением о *живой*

рыбе. *Животрепещущий* от 'важный' и к 'очень важный', к 'злободневный' — это семантическое движение иного плана сравнительно с семантическим движением, которое еще держалось на сочетании представлений и о «живой рыбе» и о «живых делах человеческих».

Как видим, подобные семантические закономерности можно установить не только тогда, когда исследователь оперирует столетиями и тысячелетиями, но и тогда, когда в его «распоряжении» оказываются небольшие промежутки времени. И это вполне понятно в свете теории, которая здесь защищается, — теории непрерывного развития лексики и семантики.

Примерно такой же путь, как прилагательное *животрепещущий*, прошло и прилагательное *мякотелый*: от *мякотелая дыня* (перезрелая) до *мякотелый человек* (безвольный, бесхарактерный человек). В наши дни, если кто-либо, увидев перезрелую дыню, воскликнет «ну и мякотелая дыня!», то это прозвучит скорее всего иронически. Полисемия прилагательного *мякотелый* стала развиваться в другом семантическом ряду сравнительно недавно.

Типы полисемии слова меняются не только на протяжении столетий, но и «на глазах» одного поколения людей.

## 5

Даже такой выдающийся лингвист, как Ф. Соссюр, все же считал, что изменения, происходящие в лексике, имеют случайный характер и поэтому не вызывают особого интереса у ученого, стремящегося понять правила и законы существования того или иного явления<sup>1</sup>. Это положение Соссюра ошибочно, хотя в той или иной форме, в том или ином виде его продолжают повторять и другие филологи нашего времени<sup>2</sup>. Для доказательства «случайности семантических переходов» Соссюр приводил французское существительное *poutre*, которое двигалось в своем развитии от значения 'кобыла' до значения 'балка'. Между тем можно без особого труда показать, что, во-первых, подобное развитие значений не было случайным, и, во-вторых, сходный семантико-метафорический процесс наблюдался и в истории смыслового развития многих других существительных, как например, *chevalet* 'мольберт', *baudel* 'козлы для пилки дров', *chevron* 'нарукавная нашивка' и около десятка других.

<sup>1</sup> Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933. С. 98.

<sup>2</sup> См. краткую историю вопроса в кн.: Ullmann S. The Principles of Semantics. 2 ed. Oxford, 1959. P. 154–158.

Казалось бы, что общего между *cheval* 'лошадь' и *chevalet* 'мольберт', *baudel* 'козлы'? Между тем простая историческая справка подобную общность обнаруживает: в средневековой Франции преступников привязывали к «деревянной лошади» в процессе наказания. «Деревянная лошадь» служила опорой, козлами. До сих пор словосочетание *chevalet de scieur de bois* у распиловщиков дров обозначает 'козлы'. И — это особенно важно — аналогичное или сходное развитие значений является не единичным. В истории романских языков оно подтверждается многими материалами<sup>1</sup>.

Разумеется, я не хочу этим сказать, что подобные материалы были Соссюру неизвестны. Соссюр, широко образованный индоевропеист, все это прекрасно знал. К сожалению, однако, предвзятая лингвистическая концепция, согласно которой лексика любого языка складывается случайно (в диахронии господствует произвол), помешала Соссюру взглянуть на известные ему факты беспристрастно.

Я глубоко убежден, что развитие лексики любого языка происходит по-своему так же закономерно, как и развитие его грамматики, его фонетики. Конечно, каждая такая область языка имеет свои особенности, но эти особенности недопустимо отождествлять со случайностями, тем более — с произволом. Вместе с тем исследователь не имеет права не считаться и с трудностями в истолковании путей развития лексики любого языка. В меру моих сил я стремлюсь здесь, хотя бы в самых общих чертах, показать, что процесс развития лексики неотделим от процесса ее исторического совершенствования, разумеется, при условии, если развивается вся культура народа, говорящего на данном языке.

Трудности изучения лексики под этим углом зрения очевидны. Тем большее значение приобретает именно такая постановка вопроса, показывающая несостоятельность концепции «колдовращения слов», концепции вечного и неизменного круговорота. Даже такие слова, которым, казалось бы, и незачем изменяться (*мужчина, женщина, земля, страна, правый, левый, ходить, творить* и сотни других), в действительности развиваются семантически и вступают в многообразные связи и отношения с другими словами в различные исторические эпохи.

Как мы уже знаем, совершенствование лексики обнаруживается прежде всего в усилении и укреплении ее дифференцирую-

<sup>1</sup> Об этом см.: Будагов Р.А. Сравнительно-семасиологические исследования. М., 1963. С. 3–35. В широком индоевропейском плане обширные материалы см. в старой, классической кн.: Pictet A. Les origines indo-européennes. I. 2 éd. Paris, 1877. P. 426–438.



щих возможностей. Но не только в этом. Не менее существенны и изменения, происходящие в типах полисемии тех или иных слов. Как правило, слова не движутся от полисемии к моносемии или от моносемии к полисемии. Но, как общее правило, слова меняют типы своей полисемии на разных этапах развития языка в зависимости от общей культуры данного языка, от его письменной и устной традиции, от уровня развития научной и художественной литературы на данном языке. На смену «разбросанной» полисемии старого языка приходит более «собранная» полисемия нового языка. Причем этот процесс происходит непрерывно, разумеется, и в наше время. Не менее существенно и терминологическое обогащение лексики любого языка в связи с научными и художественными открытиями всех времен и народов.

Конечно, процесс совершенствования лексики — это не всегда прямой и, тем более, не всегда прямолинейный процесс.

В свое время по другому поводу Л.П. Якубинский убедительно показал, что «стремясь причесать крестьянские говоры под гребенку общегородского разговорного языка, капиталистическое общество их предварительно растрепывает»<sup>1</sup>. Перефразируя эти слова, можно утверждать, что человеческое общество то «растрепывало» лексику каждого отдельного языка, то вновь ее «причесывало», но в этих «парикмахерских процессах» нельзя не видеть *поступательного процесса*: после каждой «растрепки» язык «причесывался» все более и более тщательно. Подобная тщательность не исключает живописности, от которой только выигрывают выразительные возможности каждого языка.

В исторической лексикологии весьма сложна проблема датировки новых слов. В свое время была сделана попытка показать, какое новое слово, в каком значении и когда впервые употребил тот или иной французский писатель XIX в.<sup>2</sup> Предложенные датировки, в том числе и датировки таких слов, как *вагон, электричество, локомотив, мотор, фабрика, машина, телефон, индустрия* (выбираю прежде всего интернациональные слова), оказались, однако, весьма приблизительными. Часто можно «найти» автора, у которого то или иное слово встречалось раньше. Даже у исследователей, очень тщательно изучающих конкретный материал, здесь могут быть некоторые неточности. Так, в книге Ю.С. Сорокина<sup>3</sup> отмечается, что слово *культура* в русском языке получает распространение в 60–70-х гг. XIX столетия, но что это слово еще

<sup>1</sup> Иванов А.М., Якубинский Л.П. Очерки по языку. М., 1932. С. 98.

<sup>2</sup> Grant E. French Poetry and Modern Industry. Cambridge, 1927. P. 195–202.

<sup>3</sup> См.: Сорокин Ю.С. Указ. соч. С. 94.

«не встречается у Чернышевского, Добролюбова, Писарева». Между тем в 1863 г. Д.И. Писарев опубликовал статью, которая называлась «Зарождение культуры».

Не менее сложно и с точной датировкой терминов. Как показал в специальной монографии Л. Гильбер, термин *геликоптер* (*hélicoptère*, современное *вертолет*) появился во Франции в 1861 г., а первый полет человека на этой машине был произведен лишь в 1890 г.<sup>1</sup> Как видим, термины могут не только отставать от соответствующих событий, но и обгонять их.

## 6

Чтобы понять сущность процесса совершенствования лексики, можно провести такой эксперимент: мысленно исключить из того или иного языка с богатой литературной традицией отдельные слова или группы слов, которые сейчас нам кажутся самыми «обыкновенными».

Кто не знает лексического противопоставления «количества» и «качества», которое бытует во многих языках, в частности во всех современных индоевропейских языках? Между тем это противопоставление возникло сравнительно поздно и в разных языках имеет свою историю. Установлено, что греческое существительное *ποιότης* 'качество' Платон воспринимал как новое слово и связывал его с *ποιος* 'который'. Как показал А. Мейе, новое образование еще не имело у Платона общего значения<sup>2</sup>. Позднее Цицерон калькировал греческое существительное и образовал в латинском языке *qualitas* 'качество', постоянно соотносимое с *qualis* 'который'. Подобное соотношение «качества» и «который» мешало первому из этих слов приобрести более общее значение. В европейских языках соотношение между этими двумя словами рано стало нарушаться и «качество», морфологически оторвавшись от «который», получило условия, благоприятные для развития абстрактного значения самого слова *качество*.

Такой разрыв диктовался не имманентными законами языка, а потребностями общения, развитием науки и ее специальной терминологии. В результате в современных европейских языках «качество» уже никак не связано с «который» — ни словообразовательно, ни семантически. Ср., например, англ. *quality*, фр. *qualite*, нем. *qualitat* и др.

<sup>1</sup> Guilbert L. La formation du vocabulaire de l'aviation. Paris, 1965. P. 202.

<sup>2</sup> Meillet A. Linguistique historique et linguistique générale. Paris, 1926 («A propos de *qualitas*», p. 335–341).

Что касается слова *качество* в русском языке, то в конкретном осмыслении оно возникло здесь в XI в., раньше, чем в западноевропейских языках, так как было калькировано не с латинского *qualitas*, а непосредственно с греческого *poiótes*. Срезневский в своем «Словаре» (I, 1201) приводит ряд примеров из старых русских памятников, где встречается *качество*. Здесь, однако, *качество* еще не имеет общего значения и осмысляется как «вещество, каковому есть».

Вопрос о том, как же в разных европейских языках росло отвлеченное значение существительного *качество*, относится к еще никем не написанным увлекательным главам исторической семиологии.

Здесь я только хочу подчеркнуть следующее: несмотря на различные источники самого слова *качество*, его семантическое развитие в разных европейских языках оказалось во многом общим: от разрыва этимологических и морфологических связей между «который» и «качество» и к укреплению отвлеченного значения у второго из этих слов. Проблема не сводится, однако, к простой схеме («от конкретного значения к абстрактному», как обычно считают). Проблема сложнее. Получив отвлеченное значение на протяжении XV–XIX вв. (с колебаниями во времени в разных языках), *качество* вновь стало «обрастать» множеством новых конкретных осмыслений. Но это — отнюдь не замкнутый круговорот, а новый этап в семантическом развитии слова. Новые конкретные значения теперь осмысляются на фоне отвлеченного значения «качества».

Сравните, например, в современном русском языке *качество* как философский термин («то, в силу чего предмет делается данным, а не иным предметом») и многочисленные более «предметные» его осмысления в повседневном языке, ясно проступающие в сочетаниях типа *борьба за качество, качество продукции, качества этого человека* (обычно во мн. ч.) и многие др. Схема осложняется. Развитие совершалось не только от конкретного к абстрактному. На основе общего осмысления возникали и возникают до сих пор новые значения слова, во многом отличные от былых его контекстных употреблений. К тому же *качество* теперь оказывается в другом словообразовательном ряду, нежели раньше. Его семантическое движение наблюдается и в нашу эпоху, причем не только в русском, но и во многих других языках. Так, в частности, сформировалось противопоставление «количества» и «качества», известное многим языкам мира.

Проблема, следовательно, совсем не сводится к подгонке материала под ту или иную схему, например: «от конкретного к

абстрактному». Понятие «конкретного», как и понятие «абстрактного», на одном этапе развития языка обычно глубоко отличаются от аналогичных понятий на другом этапе движения языка. Поэтому здесь нет никакого круговорота.

Словосочетание *качества этого человека* в языке наших дней чаще всего осмысляется вполне конкретно, но сама эта конкретность на фоне возможного абстрактного значения *качества* воспринимается уже совсем иначе, чем конкретность *качества* той эпохи, когда абстрактного значения у слов подобного типа еще не было вовсе. Понятие «конкретности» в разные исторические эпохи так же различно, как различно и понятие «абстрактности», бытующее в несходные исторические периоды развития языка и мышления.

В свое время, в 1913 г., А. Мейе в первом издании своей книги, посвященной истории греческого литературного языка, обратил внимание на факты, о которых до него обычно писали исследователи первобытных общественных формаций и первобытной культуры. Еще в эпоху Гомера, по убеждению Мейе, слова греческого языка более открыто сохраняли свою внутреннюю форму, чем в более поздние времена. Так возникло учение Мейе о «словах-силовых» (*mots-forces*) и о «словах-знаках» (*mots-signes*)<sup>1</sup>.

Французский ученый такими примерами иллюстрировал свой тезис: греческое *ῥῆσις* в древности означало ‘силу, вызывающую рост того или иного вещества или существа’, позднее это же существительное стало обозначать ‘природу’. В языке Гомера *ἰσχυρός* — ‘сила, вызывающая сон’ и ‘сон’ (в собственном смысле). Позднее это же слово в первом своем значении стало употребляться как «сон» («сила» была забыта). Подобные слова как бы утрачивали свою внутреннюю форму, характерную для них в более отдаленные эпохи функционирования языка, и постепенно превращались в «стертые» знаки, служащие для именованя предметов и явлений<sup>2</sup>.

Я сейчас не рассматриваю интересную гипотезу А. Мейе во всей ее целостности. Отмечу лишь, что сходную или близкую концепцию в свое время разделяли многие выдающиеся ученые, в том числе и Л. Леви-Брюль<sup>3</sup>. Гипотеза А. Мейе меня интересу-

<sup>1</sup> *Meillet A. Aperçu d'une histoire de la langue grecque. 7 éd. Paris, 1965. P. 235* (многочисленные примеры — с. 119–132).

<sup>2</sup> В другой связи и задолго до А. Мейе сходные мысли развивал у нас академик А.Н. Веселовский: «В сущности, каждое слово было когда-то метафорой, односторонне-образно выражавшей ту сторону (или свойство) объекта, которая казалась наиболее характерною, показательною для его жизненности» (*Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1940. С. 355*).

<sup>3</sup> См. об этом в предисловии этнолога В.К. Никольского к кн.: *Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930. С. XVI–XXVIII*.

ет здесь лишь в плане общей теории развития мышления и языка человека. Самый же факт различного восприятия внутренней формы многих слов в разные исторические эпохи свидетельствует не только о движении самих этих слов, но и о развитии человеческого мышления. Этот последний важнейший процесс лингвиста интересует в первую очередь в той мере, в какой подобный процесс отражается и выражается в словах, в историческом становлении их семантики.

Как это ни странно с первого взгляда, рассматриваемая проблема имеет не только чисто диахронное значение, но и синхронное.

Известный психолог Ф. Полан в свое время заметил, что у французских писателей XVII в. (эпохи классицизма) отношение к словам в большей степени определялось принципом «слова — это прежде всего знаки», тогда как у французских романтиков первой трети XIX столетия в основе оказался другой принцип — «слова — это прежде всего средство воздействия на слушателя или читателя»<sup>1</sup>. И хотя здесь мы вступаем в совсем иную сферу отношений сравнительно с той, о которой писали Мейе и Леви-Брюль, соприкосновение все же обнаруживается: отношение людей к их языку менялось не только в связи с развитием человеческого мышления в далекие от нас эпохи, но и в новое время, в связи с различными функциями языка, в связи с концепциями языка у самих теоретиков языка, у писателей, по-разному относившихся к языку и его возможностям. Правда, в первом случае различия касались общенародных языков, во втором — языков прежде всего литературных, сознательно обработанных.

Рассматриваемая проблема имеет еще один аспект, важный для развиваемой здесь темы. Казалось бы, какое отношение к совершенствованию лексики в процессе ее развития имеет проблема взаимодействия между логическим и чувственным аспектами в отдельном слове, в группе сходных по смыслу слов, в целостной системе слов? При более внимательном рассмотрении вопроса подобная связь становится очевидной.

Как известно, Дж. Локку приписывается изречение: *Nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu*. — «Нет ничего в разуме, чего первоначально не было бы в чувстве». Известно и другое: в различных философских построениях последних двух столетий это положение всегда оживленно обсуждалось. Возникает вопрос: как же взаимодействуют логическое и чувственное «начала» в словах, в их значениях и в их употреблении? На мой взгляд,

<sup>1</sup> Paulhan F. La double fonction du langage. Paris, 1929. P. 17.

верную позицию в освещении этого важного вопроса занял в 1958 г. Л.О. Резников в своей книге «Понятие и слово». «Вопрос о наличии в значении слова экспрессивного момента сводится к вопросу о включенности в значение самой эмоции (эмоционального оттенка, окраски), а не понятия о ней. Но включенность эмоционального оттенка не означает включенности непосредственного переживания... Произносящий или воспринимающий слова *любовь, нежность, злоба* и т.д., конечно, может совсем не испытывать этих чувств непосредственно, но соответствующие эмоциональные оттенки — репродукции этих чувств входят в состав значения указанных слов»<sup>1</sup>. При этом «чем более отвлеченным и общим является понятие... тем большее значение приобретает для него чувственная форма слова»<sup>2</sup>.

К этому следует прибавить, что на разных этапах развития лексики подобное соотношение логического и чувственного в слове, будучи соотношением постоянным, меняет свои формы и типы, характерные для каждой эпохи. Прогресс лексики выражается, в частности, в том, что отмеченное взаимодействие становится и для каждого отдельного слова, и для словаря языка в целом все более и более органичным, все более и более «незаметным» внешне, но все более и более характерным для внутреннего «распределения» значений полисемантических слов.

«Язык человека, — справедливо замечает по совсем другому поводу Э. Бенвенист, — настолько глубоко и органично связан с выражением личностных свойств самого человека, что если лишить язык подобной связи, он едва ли сможет функционировать вообще и называться языком»<sup>3</sup>. В той же мере, в какой развитие «личностных свойств человека» является прежде всего проблемой исторического развития цивилизации, в этой же мере развитие и непрерывное совершенствование *принципа взаимодействия логического и чувственного «начал» в слове* тоже предстает перед нами как проблема непрерывного совершенствования лексики языка «на фоне» совершенствования цивилизации.

<sup>1</sup> Резников Л.О. Понятие и слово. Л., 1958. С. 76–77.

<sup>2</sup> Там же. С. 18–19.

<sup>3</sup> Benveniste É. Problème de linguistique générale. Paris, 1966. P. 261. Любопытно, что по другому поводу аналогичные мысли выражают ученые, работающие в сфере физико-математических наук. Так, например, один из самых крупных современных физиков, лауреат Нобелевской премии Луи де Бройль замечает, что почти всякое научное открытие в области физики является результатом взаимодействия абстрактной логики и чувственной интуиции ученого. Подобное взаимодействие движет науку вперед (Избранные статьи и речи Луи де Бройля. М., 1967. С. 47).

## 7

Приведенное положение весьма существенно для теории слова, тем более, что и в прошлом, и в настоящее время сформулированный тезис часто ожесточенно оспаривается. Даже такой выдающийся филолог, как А.А. Потебня, считал: чем более отвлеченным становится значение слова, тем меньшую роль играют в процессе его функционирования его же чувственные элементы, свойственные ему на предшествующих этапах развития<sup>1</sup>. Это, на мой взгляд, ошибочное заключение неизбежно вело ученого к ряду других неприемлемых выводов: Потебня отрицал полисемию слова и считал, что каждое новое значение слова — это процесс образования нового слова. Тем самым снималась проблема исторического развития значений не только отдельных слов, но и лексики языка в целом.

К счастью, для самого Потебни, в своих непосредственных разысканиях он не следовал за этими положениями и, как бы вопреки им, сумел показать на большом фактическом материале с помощью глубокого анализа и сложную диалектику понятийных и чувственных значений внутри огромного большинства слов, и не менее сложное развитие полисемии слов в процессе становления лексики различных языков<sup>2</sup>.

Разумеется, — подчеркну это еще раз, — изучаемая проблема совсем не проста и ее недопустимо схематизировать. Полисемантично само прилагательное *чувственный*: оно может означать и 'получаемый посредством чувств', и 'материальный', и 'телесный, плотский'. В различных философских построениях, в частности у Канта, *чувственный* (*sinnlich*) нередко употреблялось и в значении 'сверхчувственный'<sup>3</sup>. В плане развиваемой здесь темы *чувственный* осмысляется одновременно и в значении 'получаемый посредством чувств', и в значении 'имеющий окраску, возникшую под воздействием чувств'. Далее: как установить границу между *чувственным* элементом, который является достоянием самого слова, образует одно из его значений, и другим *чувственным* элементом, который возникает лишь в данном контексте, а за его пределами угасает и тем самым к значению или к значениям слова не относится? Провести между ними границу не всегда просто.

<sup>1</sup> См.: Потебня А.А. Язык и мысль. 5-е изд. Харьков, 1926. С. 126.

<sup>2</sup> Этот весьма важный и сложный вопрос несколько иначе освещен в интересной статье А.П. Чудакова о поэтике А.А. Потебни (см. сб.: Академические школы в русском литературоведении. М., 1975. С. 321 и сл.).

<sup>3</sup> См.: Виндельбанд В. История новой философии. Т. 2 / Пер. под ред. А. Введенского. М., 1908. С. 55.

Сказанное поясню такими примерами. В повести Л. Толстого «Детство» (вторая редакция главы девятой) автор сообщает о своих наблюдениях: «Я никогда не видел губ кораллового цвета, но видел кирпичного; глаз — бирюзового, но видел цвета распущенной синьки и писчей бумаги»<sup>1</sup>. В этом случае «чувственные ассоциации слов» явно индивидуальны. Они не входят в общие значения подобных слов. *Цвет глаз* обычно никто не связывает с *цветом распущенной синьки*. Подобные ассоциации стремятся подчеркнуть не общеязыковые контакты между «предметом» и его обычным цветом, а ассоциации индивидуальные, преследующие чисто художественные (эстетические) цели. Подобные «чувственные ассоциации слов» оказываются чаще всего за пределами языковых «чувственных значений» этих слов. В то же время *красный* или *розовый цвет губ* оказывается элементом самого значения существительного *губы* (*губы* — две кожные складки, образующие края рта, обычно красного или розового цвета). Так устанавливается различие между *чувственным* элементом самого значения слова и *чувственной* окраской, характерной для того или иного индивидуального восприятия. Чаще всего подобное индивидуальное восприятие бытует лишь в единичном контексте.

Иногда подобное индивидуальное восприятие может еще более резко порывать с обычными значениями слова.

В одном из рассказов английского писателя С. Моэма, прозаика нашей эпохи, читаем: «В учебнике логики говорится: абсурдно заявлять, будто *желтое* имеет цилиндрическую форму, а *благодарность* тяжелее воздуха; но именно в этом сборище нелепостей, составляющих наше *я*, *желтое* может быть и лошадью, и телегой, и благодарностью в середине следующей недели»<sup>2</sup>. Ассоциации *желтого цвета с цилиндрической формой* и *благодарности с тяжестью воздуха* — подобные ассоциации возникают лишь в индивидуальном восприятии и к языку, к значениям данных слов, разумеется, не относятся. Но ассоциация *желтого цвета* с представлением о чем-то продажном, предательском, хотя тоже опирается на чувственное восприятие, уже относится к языку, к одному из значений прилагательного *желтый* (ср., например, *желтая* пресса — *продажная* пресса).

Подобное «чувственное» значение слова живет не в одном контексте, возникает не в «сборище нелепостей индивидуально-

<sup>1</sup> Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. / Под общ. ред. В.Г. Черткова. Т. I. М., 1928. С. 179.

<sup>2</sup> Моэм С. Ожерелье. Рассказы. М., 1969. С. 28.



го я», а в общенародном языке и воспроизводится в самых различных контекстах<sup>1</sup>.

Так намечается возможность разграничения двух основных типов «чувственной окраски» слова: окраски общеязыковой, имеющей важнейшее значение для понимания подвижной полисемии самого слова, и окраски индивидуальной, неязыковой, живущей лишь в одном или немногих контекстах. Разумеется, отмеченное разграничение не всегда проводится просто, не всегда выступает с такой очевидностью, как в только что приведенных примерах из текстов Л. Толстого и С. Моэма. Но сама сложность проблемы лишь подчеркивает ее важность для осмысления полисемии слова, для истолкования постоянного и непрерывного движения слова.

Для современного русского языка одинаково важны разные значения существительного *сердце*: 1) центральный орган кровообращения; 2) орган как символ переживаний, настроений человека (*у него золотое сердце*); 3) важнейшее место чего-нибудь, средоточие (*Москва — сердце нашей Родины*). Второе и третье значения существительного *сердце* (чувственного происхождения) весомы не менее его первого значения (как бы «предметного» характера). Перед исторической лексикологией и исторической семасиологией любого языка и возникает задача, имеющая и общетеоретический и практический аспекты: показать, как формируется подобное взаимодействие и как оно бытует на разных этапах развития того или иного языка, тех или иных языков.

В свое время гетевский Фауст, обращаясь к Мефистофелю, восклицал (в прекрасном переводе Н. Холодовского): «Увы, чего не мог постигнуть ты душой, Не объяснить тебе винтом и рычагами».

В процессе исторического развития языков мира в самих языках постепенно вырабатываются такие средства, которые в состоянии передавать не только логику и логические категории, но и все многообразие человеческих чувств и человеческих эмоций. Этот вопрос тоже тесно связан с проблемой совершенствования языка и, в частности, его лексики.

---

<sup>1</sup> Как известно, о словах, относящихся к понятию цвета, существует большая специальная литература: Лосев А. Ф. История античной эстетики. М., 1975 (глава «Эстетика цвета»); Шемякин Ф. Н. К вопросу об историческом развитии названий цвета // Вопр. психологии. 1959. № 4; Шаронов В. В. Свет и цвет. М., 1961; Herne G. Die slavischen Farbenbenennungen. Uppsala, 1954; Lietz J. Zur Farbensymbolik im «Madame Bovary» // Romanisches Jahrbuch. Bd 18. Hamburg, 1967. S. 89–96.

К сожалению, наука до сих пор не располагает исследованиями лексики конкретного языка, которые проводились бы под углом зрения совершенствования самой этой лексики в процессе ее исторического развития. Эта важнейшая проблема обычно сводится либо к констатации появления новых слов (часто речь идет прежде всего о заимствованных словах), либо к констатации изменений в значениях старых слов, либо, наконец, к констатации обогащения словаря таких языков, которые в свое время не получили благоприятных условий для развития, а в наше время пополняются «общепринятыми в других языках словами». Между тем проблема совершенствования лексики гораздо сложнее и гораздо важнее для теории языка, чем это кажется при беглом подходе к лексике.

Разумеется, новые слова, как и заимствованные слова, обычно обогащают лексику каждого языка и в этом плане дают материал для осмысления проблемы совершенствования языка. Но, во-первых, надо еще доказать, что всякие новые слова, как и всякие заимствованные слова, действительно способствуют совершенствованию лексики. Во-вторых, — об этом уже речь шла раньше, — совершенствование лексики отнюдь не сводится к ее количественному увеличению.

Это положение необходимо особо выделить, так как до сих пор проблема совершенствования лексики и проблема числа слов в языке обычно отождествляются. Между тем это совсем разные, хотя и взаимодействующие проблемы. Как мы уже знаем, качественные аспекты словаря существеннее, чем его чисто количественная характеристика. Исследователь обязан всегда помнить, что развитие лексики любого языка не имеет ничего общего с понятием о ее «коловращении».

Обратим внимание, как освещается вопрос о совершенствовании лексики в некоторых разысканиях конца XX в.

Перед нами двухтомная монография одного из самых видных филологов нашего времени — Э. Бенвениста «Лексика индоевропейских социальных учреждений»<sup>1</sup>. В ней рассматриваются древние индоевропейские наименования понятий, относящихся к экономике, общественному устройству, праву, религии, родственным отношениям между людьми. Книга, как подчеркивает сам автор, — результат его многолетних разысканий, и опирается она на прекрасное знание первоисточников. Разумеется, в книге

<sup>1</sup> Benveniste É. Le vocabulaire des institutions indo-européennes. Vol. I–II. Paris, 1969. В дальнейшем в тексте цифры в скобках — указания на том и страницу.

выдающегося исследователя можно обнаружить много нового и интересного из истории индоевропейской лексики. К сожалению, однако, в монографии, рассчитанной на сравнительно широкий круг читателей (об этом говорится в предисловии автора), ничего не сообщается ни об общих тенденциях развития индоевропейской лексики, ни о результатах подобного развития, ни о дальнейшем движении исследуемых слов в отдельных европейских языках нового времени.

Возникает несколько странное впечатление: весьма интересный материал, но что следует из этого тщательно описанного материала, читателю остается неясным. Остановимся немного подробнее на монографии Бенвениста, так как она весьма характерна для лексических и семантических разысканий второй половины XX в., публикуемых не только за рубежом, но и в нашей стране.

В самом же начале своей книги (I, 10) Бенвенист стремится разграничить *значение* слова (signification) и *обозначение* предмета или понятия с помощью этого же слова. Первое относится к компетенции лингвиста (signification), второе — к компетенции историка культуры (désignation). Само по себе стремление разграничить лингвистические и нелингвистические аспекты в исторической семасиологии можно было бы только приветствовать при условии ясности подобного разграничения. Но, как показывает материал, собранный в книге, такой ясности читатель не обнаруживает. Бенвенист приводит такой пример: при изучении греческого слова *hēgēomai* 'гегемония' лингвист не должен интересоваться тем, имели ли в виду современники Гомера «гегемонию одного лица» или «гегемонию государства» или «гегемонию народа» и т.д. По мысли автора, все это относится уже не к *значению* слова, а к сфере его *обозначения* (I, 10). Остается при этом неясным, где проходят границы между тем и другим. Для семантики греческого *hēgēomai* совсем не безразлично, как понимали слово сами греки и как они лексически разграничивали понятие, например, «личной власти» и понятие «власти народной». Другими словами, где проходят границы между тем, что в свое время Потебня называл ближайшим и дальнейшим значениями одного и того же слова. Ведь речь идет об исторической семасиологии, где подобный вопрос играет первостепенную роль.

Без учета этого фактора получается, будто бы древние греки понимали анализируемое слово так же, как его осмыслили европейские народы в XIX столетии. В действительности это не так. Историческая семасиология и должна внести свою лепту в истолкование этого «не так».

Разумеется, вопрос подобного характера весьма сложен и я не хотел бы его упрощать. Необходимо лишь подчеркнуть, что историческая лексикология должна считаться с исторической семасиологией, без чего она невольно превращается в «голое описательство». Вместе с тем приведенные соображения не уменьшают сложности самого вопроса о лингвистическом и нелингвистическом аспекте истории отдельных слов или целых групп (систем) слов. Хочется подчеркнуть другое: сфера значения слова не только шире, чем это кажется Бенвенисту, но и важнее для понимания направления дальнейшего развития самого этого слова.

Сказанное поясню примером самого Бенвениста. Автор приводит широко известный в индоевропеистике пример: движение латинского *\*resci* от значения 'скот' к *rescinia* в значении 'деньги'. Обычно с помощью такого рода иллюстраций стремились обосновать семантическое движение в пределах «от вещественного к отвлеченному», подчеркивая значение *скота* в процессе «купли — торговли» в античном обществе. Бенвенист стремится «коренным образом пересмотреть эту схему» (I, 59). Он приводит данные, согласно которым *\*resci* уже в древности означало 'личное движимое имущество', позднее 'скот', затем 'мелкий скот', затем 'овцу' (I, 47, 59). Автор настаивает на семантическом переходе от 'движимое имущество' к 'скоту', для чего приводит и данные европейских языков: английское *cattle* 'крупный рогатый скот', как и французское *cheptel* 'поголовье скота', восходят к позднему латинскому *capitale* 'имущество'.

Поправки Бенвениста (именно поправки, а не опровержение принятого толкования, как утверждает автор I, 59) действительно осложняют схему движения «от вещественного значения к значению отвлеченному». Уже древнее *\*resci* могло осмысляться сравнительно отвлеченно. И все же ранее установленное развитие не теряет своего смысла. Весь вопрос в том, что древнее отвлеченное значение опиралось на иную ступень отвлеченности ('личное движимое имущество'), чем более позднее значение, которое стало опираться на более высокую ступень отвлеченности ('деньги как средство обмена, уже независимо ни от скота, ни от движимого имущества'). Материал вносит поправки в семантическое развитие слов, но он не опровергает того, что установлено в истории общей культуры человечества с помощью различных исторических данных, в том числе и данных языка.

Бенвенист сам вынужден постоянно ссылаться на социальные факторы (I, 95; I, 146; II, 10) для объяснения исторической эволюции семантики слова или целой группы слов. И это вполне

закономерно, если исследователь хочет не только отметить изменение значения слова, но, по возможности, и объяснить, как и почему произошло подобное изменение. Я, разумеется, говорю об этом лишь для возвращения к важнейшему тезису о социальной природе языка вообще, его лексики — в особенности.

У Бенвениста невольно получается так: язык, разумеется, общественное и историческое явление, но исторические факты, установленные разными путями, в том числе и с помощью языка, собственно говоря, ничего в языках как таковых не объясняют. Кто же пытается связать подобные явления, факты, тот упускает сложный характер исторической семасиологии.

Я считаю такую постановку вопроса неверной. Нельзя под флагом специфики исторической семасиологии изолировать язык от людей, на нем говорящих, и от общества, определяющего уровень его развития. В этом случае тезис о социальной природе языка оказывается простой декларацией, не имеющей практического значения. Я убежден в противном: только тогда, когда социальная обусловленность языка будет показана «в действии», в историческом движении языка, в том числе и в его лексике, только в этом случае тезис о социальной природе языка перестанет быть простой декларацией.

Разграничение *значения* и *обозначения* в исторической лексикологии желательно (ср. «ближайшее и дальнейшее значения» у Потебни), но, на мой взгляд, оно не должно проводиться «за счет» пренебрежения к семантическому аспекту проблемы. Действительность, окружающую человека, невозможно не учитывать при изучении лексики.

Бенвенист сам отмечает, например, что в античном обществе состояние войны между народами долго считалось как бы «нормальным состоянием» человечества, тогда как состояние мира — исключением, перерывом между неизбежными войнами (по тогдашним представлениям, I, 368). Сам по себе этот тезис имеет огромное значение для исторического изучения целой группы слов, относящихся к понятиям «войны» и «мира». Исследователю часто приходится идти от понятий к словам, а от слов вновь возвращаться к понятиям. Зная, что в эпоху Гомера *сердце* представлялось «вместилищем» мысли, храбрости, гнева, возбуждения и т.д. (I, 178), гораздо легче понять широкую и своеобразную полисемию самого слова *сердце* в греческом языке эпохи Гомера. И таких примеров можно привести множество<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> См. также первую главу («Слова, вещи, понятия, отношения») кн.: Будатов Р.А. История слов в истории общества. М., 1971. С. 7–66.

Схема «от конкретного к абстрактному» весьма осложняется на историческом фоне. Греческий глагол *alphāno* ‘стоять’ в эпоху Гомера означал ‘покупать людей’, по отношению к чему позднее ‘покупать товары’ осмыслялось не как «более конкретное или более абстрактное», а просто как иное в других исторических условиях. Историческое движение семантики слова определяется, как общее правило, условиями жизни, быта, культуры людей определенной исторической эпохи. Это положение, известное в самых общих чертах, к сожалению, мало применяется при осмыслении тенденций развития лексики. Речь идет не о том, чтобы «подвести» конкретный языковой материал под ту или иную схему, а о путях развития лексики и вместе с тем о путях ее совершенствования. Языку *так же нужны конкретные слова, как и абстрактные*. Вопрос в том, что это за конкретные слова, что это за абстрактные слова в одну эпоху в отличие от других эпох.

Теоретическую уязвимость ценного по материалу и наблюдениям исследования Бенвениста я обнаруживаю в том, что автор иллюстрирует изменения в «словаре индоевропейских социальных институтов», но не показывает, в каком направлении или в каких направлениях происходили подобные лексические и семантические трансформации и к каким результатам они приводили в определенный исторический период. При этом проблема совершенствования лексики старых индоевропейских языков совершенно не интересует автора. У читателя невольно возникает представление о «коловоращении форм», и только. Тенденции развития остаются неясными.

Но вот перед нами иная серия исследований, посвященных взаимному воздействию двух непосредственно соприкасающихся друг с другом языков: английского на французский и французского — на английский, итальянского на французский и французского — на итальянский и т.д. Имеются и многочисленные монографии, посвященные одностороннему влиянию одного языка на другой<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> См., например: *Hope T.E. Lexical Borrowing in the Romance Languages. Vol. 1–2. Oxford, 1971* (в монографии речь идет о словах итальянского происхождения во французском языке и о словах французского происхождения в итальянском языке). Ср. аналогичную двухтомную работу, анализирующую слова английского происхождения во французском языке и слова французского происхождения в английском языке: *Mackenzie F. Les relations de l'Angleterre et de la France d'après le vocabulaire. Paris, 1939*. Материал в обоих исследованиях собран очень тщательно, но теоретические проблемы «лексических влияний» авторов не интересовали.

Все они построены по одному типу: большой фактический материал, перечень слов, проникших из одного языка в другой, распределение этих слов «по векам», иллюстрации, подтверждающие наличие перечисленных слов, проникших из одного языка в другой. Но ни в одной из известных мне монографий такого типа не ставится вопрос о том, что дают заимствования языку, в каком направлении они стимулируют дальнейшее развитие лексики, как дифференцируются слова в результате подобных заимствований, насколько последние способствуют (или не способствуют) совершенствованию ресурсов языка. Между тем приводимый исследователями обширный материал служит основанием для постановки всех перечисленных и сходных с ними вопросов.

Приведу здесь только один пример. По данным лучших лексиконов французское словосочетание *chemin de fer* ‘железная дорога’ датируется 1823 г. Совершенно естественно, что частота употребления этого словосочетания быстро увеличивалась к концу XIX столетия: *железные дороги* стали обычным способом передвижения. Естественно и другое: передавая понятие не с помощью слова, а с помощью словосочетания (ср. англ. *railway* букв. ‘рельс-дорога’, ‘железная дорога’), язык испытывал известные трудности при образовании соответствующего прилагательного — *железнодорожный*. Приходилось довольно долго прибегать к еще более сложным словосочетаниям: *de chemin de fer* ‘железнодорожный’ (с двумя предлогами *de*). Язык, «подталкиваемый» нуждами говорящих людей, стал искать выхода. Аналогичных затруднений итальянский язык не знал. Во второй половине XIX столетия он располагал уже не только *ferrovia* ‘железная дорога’, но и *ferroviario* ‘железнодорожный’. Хотя французское *chemin de fer* возникло раньше итальянского *ferrovia*, тем не менее при формировании французского прилагательного именно итальянский язык помог французскому, где к самому началу XX столетия появляется прилагательное *ferroviaire* ‘железнодорожный’. На одном этапе один язык «протягивает руку» другому, на следующем этапе другой язык помогает первому.

В результате оба языка в наше время не испытывают трудностей при функционировании данной конкретной словообразовательной модели. Между тем исследователь подобных моделей не ставит никаких общих вопросов. Он лишь регистрирует факт заимствования, проникновение итальянской словообразовательной модели во французский язык на рубеже XX столетия<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Hope T.E. Op.cit. Vol. 2. P. 445.

Разумеется, проблема не сводится только к отдельным словам и отдельным моделям. Но при постановке самого вопроса о лексическом влиянии одного языка на другой филолог не имеет права не видеть *общих тенденций языка*: что способствует совершенствованию лексики и что мешает подобному совершенствованию, как язык (точнее, люди, говорящие на этом языке) выходит из подобных затруднений. Хорошо известно, что не всякие заимствования обогащают и усиливают язык. Вот и возникает интереснейшая проблема: что в процессе влияния одного языка на другой или в процессе их взаимного воздействия друг на друга способствует усилению и укреплению ресурсов каждого языка и что мешает этому.

Проблема совершенствования лексики в процессе развития языка и здесь должна быть в центре внимания исследователя, как и при изучении «исконных» ресурсов языка.

Лексикой разных языков у нас занимались много и успешно. Но интересующая меня важнейшая проблема никем из исследователей по существу говоря не ставилась. Лишь попутно и как бы мимоходом иногда отмечалось «обогащение словаря», но как следует понимать подобное обогащение, в каких отношениях количественное расширение лексики находится с ее же качественным преобразованием, как следует понимать самый процесс совершенствования лексики — эти, как и сходные с ними, вопросы никем не ставились.

Даже в самой фундаментальной из всех известных мне монографий, в книге Ю.С. Сорокина<sup>1</sup>, весьма ценной по материалу и по наблюдениям, тщательно документированной и не менее тщательно написанной, проблема совершенствования лексики по существу говоря даже не ставится. Лишь в заключительном абзаце книги читаем: «Так поток развернувшейся в стране широкой демократической борьбы за переустройство русского общества коснулся и русского литературного языка, сделав его мощным орудием мысли и обогатив его новыми семантико-стилистическими средствами»<sup>2</sup>. Судя по такому резюме, можно было бы подумать, что автор на протяжении всего своего исследования стремился показать процесс совершенствования словарного состава языка — ведь речь идет о 30–90-х гг. XIX в.! В действительности, однако, Ю.С. Сорокин этого не делает, по-видимому, опасаясь возможных упреков в установлении прямой связи между разви-

<sup>1</sup> См.: Сорокин Ю.С. Развитие словарного состава русского литературного языка. 30–90-е годы XIX века. М.; Л., 1965.

<sup>2</sup> Там же. С. 546.



тием русской общественной мысли и русского литературного языка второй половины XIX столетия.

По моему же глубокому убеждению, такая прямая связь существовала, и она была вполне закономерной. Подобная связь обнаруживается всегда («язык — общественное явление» не только в формуле, но и в действительности). Лексиколог должен не только помнить о ней, но и уметь ее демонстрировать. Тогда и проблема совершенствования лексики будет звучать не в самом общем плане, а как положение, пронизывающее весь материал, собранный каждым автором.

## 10

Попытаюсь теперь дать несколько иллюстраций из истории лексики отдельных языков. Я умышленно обращаюсь к истории таких слов и групп слов, которые уже специально изучались. Здесь, однако, будет сделана попытка рассмотреть развитие этих слов и групп слов не в плане «коловращения лексики», а в плане ее неуклонного и постоянного совершенствования.

Этимология французских слов *travail* ‘работа’ и *travailler* ‘работать’ считается твердо установленной со времени появления в 1888 г. в журнале «Romania» статьи П. Мейера, посвященной этому вопросу. *Travail* восходит к вульгарнолатинскому *tripalium* — особый станок, который сдерживал животных, в частности горячих лошадей, в то время, когда их подковывали. Затем *tripalium* стало означать ‘машину для пыток’, букв. ‘приспособление на трех сваях’. Соответственно *travailler* первоначально ‘мучить с помощью *tripalium*’ затем ‘мучить’ вообще. Лишь значительно позднее возникает значение ‘работать’, ставшее основным в современном французском языке.

Проблема семантического развития ‘мучение’ > ‘работа’, ‘мучить’ > ‘работать’ представляет тем больший интерес, что сходные переходы известны не только другим романским, но и другим индоевропейским языкам. Первоначально семантическую историю испанского *trabajar* ‘работать’ объясняли простым влиянием французского *travailler*. Но в 1957 г. Короминас<sup>1</sup> показал, что это не так: сходный семантический процесс в испанском (‘мучить’ > ‘работать’) проходил независимо от французского. Аналогична была и судьба славянских по своему происхождению слов румынского языка — *muncă* и *munci*: от мучения (ст.-слав. *мжка*,

<sup>1</sup> Corominas J. Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana. Vol. IV. Bern, 1957. P. 520.

рус. *му́ка*) к *работе, труду* и от *мучить* — к *работать, трудиться*. Подобные же переходы засвидетельствованы и во многих других индоевропейских языках<sup>1</sup>.

Разумеется, до возникновения нового значения *travailler* ‘работать’ это понятие выражалось другими словами (труд, собственно, сделал человека человеком), однако в самом переходе значений ‘мучить’ > ‘работать’, вызвавшем резонанс в разнообразных языках, нельзя не обнаружить процесса переосмысления понятия ‘работать’ в истории общества и в истории сознания. Исследователи делали неоднократные попытки объяснить отмеченный семантический переход изменением «отношения к труду в истории общества»<sup>2</sup>. Во французском языке *travailler* ‘мучить’ бытует вплоть до XVIII в.<sup>3</sup>, а в румынском *munci* ‘мучить’ встречалось еще и в XIX столетии. В испанском *trabajar* ‘мучить’ еще вполне возможно, хотя ‘работать’ уже выступает как главное значение глагола. Все это говорит о том, что семантический переход ‘мучить’ > ‘работать’ простой ссылкой на возникновение «нового отношения к труду» объяснить трудно. Между тем исследователи именно на этом ставят точку, считая, что они исчерпывают проблему<sup>4</sup>.

Возникновение «нового отношения к труду» может служить лишь самой общей предпосылкой для развития значения слова от ‘мучить’ к ‘работать’. Лингвист обязан уточнить эту общую предпосылку, перевести ее из плана гипотезы в план языковой действительности. Здесь необходимо обнаружить дополнительные факторы, без которых гипотеза остается только гипотезой. В каждом конкретном языке подобные факторы могут частично совпадать, а частично и не совпадать.

Во французском, например, переходу *travailler* ‘мучить’ в *travailler* ‘работать’ способствовало вытеснение глагола *ouvrer* в значении ‘работать’. Хронологически эти процессы совпадают: в XVII в. *ouvrer* ‘работать’ делается архаичным, тогда как *travailler* ‘работать’ становится на его место. Конечно, можно пойти даль-

<sup>1</sup> См.: *Ленцман Я.А.* О древнегреческих терминах, обозначающих рабов // *Вестник древней истории.* 1952. № 24; *Белецкий А.А.* Задачи дальнейшего сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков // *Вопр. языкознания.* 1955. № 2. С. 19.

<sup>2</sup> *Boissonade P.* Le travail dans l'Europe chétienne au moyen âge. Paris, 1921. P. 276.

<sup>3</sup> В наши дни *travailler* ‘мучить’ возможно лишь в определенных словосочетаниях типа *la fièvre le travaille* ‘лихорадка его мучит (подтачивает)’.

<sup>4</sup> См., например: *Белецкий А.А.* Указ. соч.; *Baldinger K.* Vom Affektwort zum Normwort. *Etymologica.* W. von Wartburg zum 70 Geburtstag. Tübingen, 1958. Интересные материалы в брошюре: *Ostra R.* Structure onomastique du *travail* en français. Brno, 1974.

ше и спросить, почему не сохранился глагол *ouvrir* в значении ‘работать’ (обычно ссылаются на фонетическую близость *ouvrir* ‘работать’ и *ouvrir* ‘открывать’), но это уже другой вопрос. Во всяком случае связь двух процессов — вытеснение *ouvrir* и развитие нового значения у *travailler* — несомненна. Эта предпосылка движения *travailler* от ‘мучить’ к ‘работать’ оказывается уже более специальной, более непосредственной, хронологически более точной, чем самая общая предпосылка о «достоинстве труда» в эпоху раннего Возрождения.

Если предпосылка общая (осознание «достоинства труда») может быть выдвинута в качестве исходной позиции для осмысления семантического перехода ‘мучить’ > ‘работать’ в самых разнообразных языках, то в каждом отдельном языке необходимо обнаружить непосредственные импульсы, обусловившие интересующее нас развитие. Следует таким образом «спуститься» по ряду ступеней для приближения к самим истокам семантического развития в том или ином языке.

В современном французском языке глагол *travailler* — это и ‘работать’, ‘трудиться’ (физически, умственно), и ‘действовать’, ‘функционировать’, и ‘подвергаться действию’ (*le vin travaille* ‘вино бродит’) и ‘обрабатывать’ (*travailler le marbre* ‘обтесывать мрамор’), и мн. др. Но даже в тех случаях, когда *travailler* встречается, казалось бы, в необычном употреблении, это последнее подчиняется центральному значению — ‘работать’. Так, в выражении *la maladie le travaille* ‘болезнь его подтачивает’, *travailler* ‘подтачивать’ через посредство ‘действовать’ оказывается связанным с ‘работать’: болезнь на него действует, т.е. подтачивает его организм. И это понятно: в современных развитых литературных языках различные значения полисемантического слова обычно прямо или косвенно связаны между собой.

В противном случае, при полной утрате былой связи, различные значения слова либо образуют омонимы, либо оказываются на грани их формирования (и здесь скрытое движение языка дает о себе знать).

Не так было в тех старых языках, которые еще не располагали столь тонкими средствами дифференциации и группировки значений, как языки более новые. Здесь сыграла положительную роль и последующая литературная традиция, последующая «обработка» языка. В средневековых романских языках, в частности, различные значения полисемантических слов нередко выступали как более «разорванные», менее связанные между собой, чем в языках более позднего времени. И если им и «угрожала» омонимия, то эта угроза не была «страшной»: официальной

нормализации языка в ту эпоху не существовало. Спорные вопросы решались только в контексте. См., например, в миракле XIV в. о Берте: *Or suis cy seule, travaillée Esgaree et morat de faim*. — ‘Я одинока, измучена, оставлена всеми и умираю от голода’.

Если грубо очертить семантическую историю глагола *travailler*, претерпевшего переход ‘мучить’ > ‘работать’, то ее можно представить в виде трех этапов: первый — ‘мучить’, второй — ‘мучить’ и ‘работать’, третий — ‘работать’ (с более или менее глухими отголосками ‘мучить’). В известной степени второй этап был обусловлен своеобразием восприятия процесса труда в определенную эпоху. Но реализовать эту общую предпосылку помогла внутренняя система языка (утрата глагола *ouvrer* ‘работать’). На основе же третьего этапа (*travailler* ‘работать’) развивается новая полисемия, отдельные звенья которой уже более органически (с позиции сознания современного человека) связаны между собой (‘работать’, ‘обрабатывать’, ‘трудиться’, ‘действовать’ и т.д.), чем в языке старом.

Теперь вернемся к вопросу о том, почему семантическая трансформация глагола от ‘мучить’ к ‘работать’, наблюдаемая в самых разнообразных языках<sup>1</sup>, свидетельствует не только об изменениях в семантике слова, но и в развитии лексики. Больше того — о прогрессе в лексике, а следовательно, и в языке.

Теперь ответ может быть кратким. В лингвистическом плане слово претерпело развитие от полисемии менее прочной (ассоциация процесса труда с мучением была порождена определенными социальными условиями) к полисемии более прочной, менее зависящей от преходящих условий, логически более «выверенной». Полисемия современного глагола *travailler*, сама по себе многообразная, однако, опирается на основное и наиболее употребительное его значение — ‘работать’. Так в движении от одного типа полисемии (контекстная пестрота) к другому типу полисемии (контекстная «собранность») следует видеть не простое «коловращение языка», как обычно считают, а его развитие, его неуклонное, хотя и своеобразное совершенствование. И если не все слова поддаются аналогичному толкованию, то это объясняется, во-первых, слабой изученностью общей проблемы развития и совершенствования языка и, во-вторых, сложностью самого материала, к которому приходится обращаться исследователю.

<sup>1</sup> Аналогичное развитие группы слов, относящихся к понятию ‘работать’ (‘трудиться’), наблюдается и во многих славянских языках (см. материалы по истории чешской лексики в сб.: Очерки по словообразованию и словоупотреблению. Л., 1965. С. 122–132).

Наконец, еще одно замечание. Могут сказать: все это отдельные слова, а как быть с системой в языке? Быть может, развиваются только отдельные слова, а система остается неизменной? Попытаемся ответить на эти вопросы.

## 11

В свое время швейцарский лингвист К. Яберг<sup>1</sup> показал, что изобретение пороха в XIV в. имело важные последствия не только для экономической жизни человечества, но, косвенно, и для многих языков, в частности для французского. До XVI в. *poudre* означало 'пыль', с периода же изобретения пороха *poudre* стало употребляться не только для наименования пыли, но и для наименования пороха. Возникла полисемия *poudre*. По мысли Яберга, подобная полисемия оказалась неудобной. Чтобы «избавиться» от нее, язык использовал совсем другое слово — *poussière*, ранее бытовавшее лишь в диалектах, а затем вошедшее в литературный обиход. Возникла дифференциация значений между двумя разными существительными: *poudre* 'порох', *poussière* 'пыль'. Сходным образом, с помощью разных слов, разграничены 'пыль' и 'порох' и в испанском и португальском языках — исп. *polvo* 'пыль', *pólvora* 'порох'; порт. *poeira* 'пыль', *pólvora* 'порох'.

Гипотеза Яберга осложняется, однако, тем, что другие романские языки не знают подобной дифференциации. В итальянском *polvere* до сих пор означает 'пыль' и 'порох'. В румынском казалось бы складывались благоприятные условия для дифференциации 'пыль' — 'порох' между разными словами: здесь наряду с образованием латинского происхождения (*pulbere*) издавна бытовало существительное славянского источника (*praf*, ср. рус. *прах*). Однако практически, несмотря на благоприятные предпосылки, этого не произошло. Все толковые словари румынского языка<sup>2</sup> считают, что каждое из двух названных существительных может иметь и значение 'пыль', и значение 'порох'. Различие заключается лишь в том, что *praf* более употребительное слово, чем *pulbere*.

Значения, передаваемые с помощью разных слов во французском, испанском и португальском, в итальянском и румынском выражаются одним полисемантическим словом. Изобретение 'пороха' для разных языков имело, таким образом, разные последствия.

<sup>1</sup> *Jaberg K. Mittelfranzösische Studien // Sache, Art und Wort, Jakob Jud zum Geburtstag. Zürich, 1943. S. 281–291.*

<sup>2</sup> См., например: *Dicționarul limbii române literare contemporane. Vol. 3. București, 1957.*

Нельзя считать, что возникновение нового понятия всегда приводит к возникновению нового слова. В ряде случаев процесс протекает совсем иначе: старые слова обогащаются новыми значениями, слова становятся более полисемантическими, более емкими, более многоплановыми.

Прогресс мышления и языка — это не только усиление их дифференциальных возможностей. Он выражается также и в углублении обобщающей (интегральной) силы мышления и языка. На эту их особенность опирается и полисемия. Из нее она и вырастает. Румынский язык, в частности, располагая всеми условиями для разграничения ‘пыль’ — ‘порох’ между разными словами (*praf, pulbere*), этой возможностью не воспользовался. Интересно, что и в тех языках, в которые проникло французское существительное, оно не только сохраняет свою полисемию, но нередко и дальше ее развивает. Так, английское *powder* — это и ‘пыль’, и ‘порох’, и ‘порошок’, и ‘пудра’. Напротив того, немецкое *pulver* вслед за французским *poudre* стало специализироваться после XIV в. именно для наименования пороха<sup>1</sup>. Нельзя не отметить, однако, что и французское *poudre* ‘порох’, исторически отделившись от *poussière* ‘пыль’, вместе с тем сохраняет полисемию в другом плане. В современном французском языке *poudre* не только ‘порох’, но и ‘порошок’, ‘пудра’<sup>2</sup>.

Возникает вопрос, как следует понимать прогресс языка в этом случае? Простое разграничение разных значений между разными словами наблюдается в одних языках и не наблюдается в других. Между тем чаще всего замечают первое и проходят мимо второго. Ученый не имеет, однако, права фиксировать одни факты и не замечать другие, которые подчас противоречат первым.

В случае со словом *poudre* и его производными в романских языках картина оказывается сложной. Прогресс мышления и языка выражается в анализируемом примере в том, что язык передает новое понятие с помощью своей лексики. В этом смысле изобретение пороха не проходит и мимо языка, как не проходит оно, разумеется, и мимо экономической и культурной жизни человечества. Но вопрос о том, как выражается это новое понятие в лексике того или иного языка, уже целиком определяется лингвистическими особенностями данного конкретного языка. В по-

<sup>1</sup> Paul H. Deutsches Wörterbuch. 5 Aufl. Halle, 1956. Н. 2. S. 462.

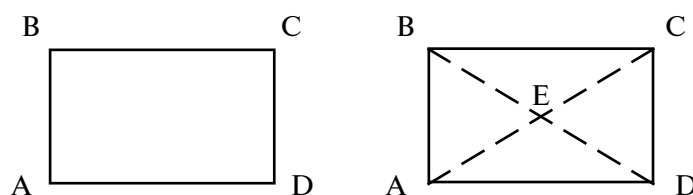
<sup>2</sup> Необходимо заметить, что крайние структуралисты стараются не замечать полисемии слова, так как она «неудобна» для чисто количественного понимания языка: одно слово — одно значение. В действительности, как известно, полисемия пронизывает лексику всех современных живых языков (поэтому прямо отрицать ее все же не удается). «Гони природу в дверь, она влетит в окно».

добных случаях в языке обычно таятся *три потенциальные возможности*: либо передать новое понятие новым словом (простейший исход), либо провести разграничение значений между двумя уже имеющимися в языке словами, либо, наконец, обогатить старое слово новым значением, расширив полисемию первого. Вопрос о том, какой из этих трех путей выбирает тот или иной язык, чаще всего определяется внутренними ресурсами данного языка. Задача его исследователя заключается в том, чтобы уяснить и объяснить выбор подобного пути.

Здесь-то мы и подходим к поставленному ранее вопросу о соотношении отдельных изменений слов с общей системой лексики.

Заметим прежде всего, что нельзя противопоставлять отдельное общему как антагонистические начала. Общее, как известно, не может существовать вне отдельного. В свою очередь, отдельное было бы невысказано, если оно не выступало как «представитель» общего. Слово всегда является частью целого — словарного состава языка, поэтому в развитии слова нельзя не видеть и развития более общего, целостного, чем отдельное слово. Изменение отдельного слова обычно прямо или косвенно отражается на изменении других слов, связанных с ним по той или иной линии (словообразовательной, семантической, этимологической и пр.). Амплитуда значений французского *poudre* заметно изменилась, когда рядом с ним появилось *poussière*. С тех пор, когда глагол *travailler* почти утратил значение ‘мучить’, целый ряд других глаголов должны были «перетянуть» на себя его старую семантику. Тем самым, казалось бы, отдельные изменения слов как бы рикошетом «ударяют» по другим словам, с которыми они так или иначе взаимодействуют.

Крайние структуралисты считают, что элемент и структура антагонистичны. В действительности же они глубоко и всесторонне коррелятивны. Изобразим эту корреляцию такими схемами:



Первая схема (левая) изображает систему до появления нового элемента Е. Стало только появиться Е, как частично изменилась и система. Возникли новые связи и новые отношения (линии, идущие от Е). Практически не всякий новый элемент так

заметно изменяет старую систему. Но в принципе он может ее изменить, причем нередко и очень существенно. К сожалению, применительно к лексике проблема эта мало изучена, но она представляет огромный интерес для правильного понимания взаимоотношений между системой и словами.

Не менее важно и другое. История отдельных слов при всем своем своеобразии чаще всего выступает как представительница сходной истории других слов. Повторяемость же семантических процессов свидетельствует об их регулярности, о связи истории одного слова с историей целого ряда (иногда весьма обширного) других слов.

Диахронную семантику французского существительного *demeure* обычно сводят к формуле: от значения более общего — ‘опоздание’, ‘задержка’ — к значению более конкретному и вещественному — ‘дом, в котором живут, жилище’<sup>1</sup>. При изолированном рассмотрении подобного явления остается невыясненным, почему слово прошло такой путь изменений, а не иной. Между тем, если попытаться соотнести историю *demeure* с историей других существительных, связанных между собой определенным типом словообразования (в данном случае — отглагольным формированием), то тенденция общего семантического развития становится очевидной.

Существительное *demeure* точно так же образовано от глагола *demeurer* ‘проживать’, как и существительное *marché* ‘рынок’ от глагола *marcher* ‘ходить’, как *chasse* ‘охота’ — от *chasser* ‘охотиться’, как *baisse* ‘снижение’ — от *baisser* ‘опускать’ и т.д. Для многих подобных существительных, сформированных по одному типу, характерен такой же исторический переход значений, такое же семантическое развитие, какое только что было обнаружено и у слова *demeure* — от более общего к более специализированному. *Marché* — первоначально ‘коммерческая сделка’, ‘покупка и продажа’, а затем уже место, где происходит покупка и продажа, — ‘рынок’. *Chasse* сначала — ‘то, что служит охоте’, а затем уже и сама ‘охота’. *Baisse* в старом языке обозначало ‘всякое снижение’, ‘убыль’ и лишь значительно позднее ‘снижение цен’, ‘снижение денежного курса’. Так в семантической истории отдельного слова как бы повторяется семантическая история других слов, связанных с первым определенным словообразовательным типом. Поэтому изучение отдельных слов проливает свет и на другие слова, помогает выявить *типы семантических преобразований*.

<sup>1</sup> См., например: *Huguet E. L'évolution du sens des mots depuis le XVI siècle. Paris, 1934. P. 240.*



Лексика, как известно, не имеет таких строгих коррелятивных категорий, как фонетика или грамматика. Поэтому роль «отдельных элементов» в лексике неизмеримо существеннее, чем в фонетике или грамматике. Вместе с тем «отдельные элементы» в лексике, т.е. слова, не остаются отдельными в широком смысле и влекут за собой другие слова, взаимодействующие с ними в том или ином плане. Поэтому *направление* развития отдельных слов, как принадлежащих к одной, так и к разным частям речи в определенном языке и в определенной эпоху, не могут не свидетельствовать и о *направлении* развития словарного состава языка в целом. Отдельное и общее в лексике и семасиологии выступает в самом тесном взаимодействии.

Проблема совершенствования лексики имеет разнообразные аспекты. Но эта проблема может быть правильно истолкована лишь тогда, когда язык рассматривается как такая система, внутренние противоречия которой служат источником ее же дальнейшего развития и совершенствования. Как уже отмечалось, крайние структуралисты утверждают прямо противоположное («непротиворечивая структура языка»).

Чем же определяется развитие и совершенствование лексики в целом? Уже отмеченным ранее *противоречием между ее возможностями в каждую историческую эпоху и растущим стремлением людей выразить свои мысли и чувства адекватнее, стилистически разнообразнее и логически точнее*. Подобное противоречие выражает внутреннюю сущность процесса развития языка и органически связано с мышлением. Как я уже подчеркивал, совершенствование лексики отнюдь не сводится к ее количественному увеличению. Не менее важно качественное преобразование лексики. Весьма существен и тот фон, на котором она развивается. В эпоху создания единого национального языка процесс совершенствования лексики обычно проходит быстрее, чем в донациональную эпоху. Все это подтверждает глубокое взаимодействие внутренних и внешних условий развития языка в разные эпохи.

Необходимо подчеркнуть и другое: дифференциальные возможности лексики в процессе совершенствования языка надо понимать очень широко. Они могут касаться не только семантики слов, но и словообразования, способов сочетания слов, их стилистической экспрессии и т.д.

Л.В. Щерба был безусловно прав, когда в предисловии к «Русско-французскому словарю», вышедшему при его участии и под его редакцией, писал: «Всякое слово так многозначно, так диалектично и так способно в контексте выражать все новые и новые

смысловые оттенки», что с этими свойствами обязан считаться каждый добросовестный филолог<sup>1</sup>. Слово многогранно не только в его современном функционировании, но и в процессе его же исторического развития. Следует всегда помнить диалектику понятийных и чувственных значений в огромном большинстве слов, причем чем более отвлеченным является понятие, передаваемое с помощью слова, тем большее значение приобретает «чувственная форма» этого слова.

Не следует забывать и о глубокой диалектике количественных и качественных преобразований в процессе исторического совершенствования словарного состава любого языка.

Когда-то А. Франс афористически заметил: «Словарь — это целый мир в алфавитном порядке»<sup>2</sup>. К этому яркому суждению можно добавить, что «словарный мир» всегда в движении и, как я пытался хоть в какой-то мере показать, в движении по пути все большего и большего совершенствования. Язык всегда связан прежде всего с человеком, с его чаяниями и устремлениями.

---

<sup>1</sup> Русско-французский словарь / Под ред. акад. Л.В. Щербы. 9-е изд. М., 1969. С. 6.

<sup>2</sup> Франс А. Полн. собр. соч. Т. XX. М.; Л., 1931. С. 362.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ЯЗЫКА  
В ОБЛАСТИ  
ГРАММАТИКИ

Вначале обратимся к материалу, а затем попытаемся осмыслить его в более широком теоретическом плане.

Известно, что древние индоевропейские языки еще с трудом передавали синтаксическую перспективу внутри предложения. В архаической и отчасти даже в классической латыни нередко встречались построения типа *Sacratus laetus venenum hausit* букв. 'Сократ радостный выпил яд' (а не *радостно* или *с радостью*); *adulescens didici* букв. 'я научился *юноша*', т.е. будучи юношей или в юности; *orator suavis est voce* 'оратор приятен *голосом*', т.е. голос оратора приятен, и т.д.<sup>1</sup> Мейе считал, что «примыкание» как способ выражения грамматических связей между частями предложения вообще характерно для древних индоевропейских языков<sup>2</sup>. Со временем, однако, в языках вырабатываются более разнообразные средства связи между элементами предложения. И в этом нельзя не видеть процесса совершенствования грамматики.

Во французском языке средних веков были вполне обычными предложения такого характера (Raoul de Cambrai, строки 2889–2890): *Fuit s'eu Ernaus brochant a asperon Raous l'enchaue qui cuer a de felon* букв. 'Эрно обращается в бегство во все шпоры. Рауль его преследует, *который* имеет сердце гневным'. С позиции современного языка относительное местоимение *который* здесь явно двусмысленно. К кому из персонажей эпоса оно относится — к Эрно или Раулю? *Который* следует за *его*, поэтому можно подумать, что «гневное

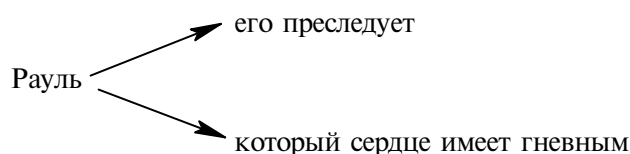
<sup>1</sup> См.: Тронский И.М. Очерки из истории латинского языка. М., 1953. С. 134.

<sup>2</sup> См.: Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М., 1938. С. 363.

сердце» выступает как характеристика Эрно, а не Рауля. В действительности *qui* относится к Раулю, а не к Эрно. И это вытекает не столько из конструкции данного предложения, сколько из более широкого контекста, из ряда предложений, выступающих в функции детерминанта анализируемого построения.

Подобные грамматические конструкции, весьма типичные не только для старофранцузского, но и для других романских и германских языков, давно обращали на себя внимание лингвистов<sup>1</sup>. При этом некоторые ученые иногда ставили вопрос так, будто бы в ту эпоху двусмысленные грамматические построения были не исключением, а широко распространенным явлением. С этим согласиться невозможно. Язык как средство общения и выражения наших мыслей и чувств всегда стремится к выполнению своих коммуникативных целей. Поэтому «двусмысленные» грамматические построения должны быть объяснены либо как результат неопытности тех писателей, в сочинениях которых они встречаются, либо как следствие низкого уровня развития грамматики этой эпохи. Первое предположение с ссылкой на недостаточную образованность писателей средних веков отпадает, так как конструкции, подобные приведенной, встречаются не только у неопытных писцов и переписчиков того времени, но и у крупнейших писателей, в знаменитых и замечательных памятниках. Второе предположение об уровне развития грамматики требует истолкования.

Дело в том, что предложение с *который* (его образец был только что проанализирован) представляется двусмысленным лишь тогда, когда подходишь к нему с грамматической позиции современных языков. В ту же эпоху подобное предложение казалось вполне ясным. Оно строилось по законам грамматики того времени. Его схему можно изобразить так:



Если учесть паратаксис частей целого в системе средневекового предложения, то оно перестанет казаться странным. Относительное предложение строилось так, что собственно релятивная его часть (*который* с прилегающими к нему словами) и другая

<sup>1</sup> Из старых работ, сохраняющих свое значение, нужно отметить кн.: Корш Ф. Способы относительного подчинения. Глава из сравнительного синтаксиса. М., 1877.

часть («его преследует»), отделяющая релятивную конструкцию от ее антецедента (Рауль), находятся как бы в одной синтаксической плоскости к подлежащему (Рауль), независимо от степени позиционной отдаленности местоимения *который* от его антецедента. В современном языке подобное предложение оформляется иначе: *который* сближается с соотносимым словом (Рауль), но отрывается от местоимения *его*. В результате: «Рауль, который то-то и то-то, его преследует». Паратаксис частей целого распадается. Грамматическая зависимость между частями делается иной.

Значит ли все сказанное, что средневековое предложение разобранного типа было двусмысленным? Нет, не значит. Оно только строилось на фоне более широкого контекста, чем современное предложение. Чтобы разобраться в конструкции *Рауль... его... который* (теперь *Рауль, который его*), нужно соотнести *его* и *который* с теми антецедентами, о которых речь шла в предшествующем и даже в предшествующих предложениях. При наличии «в уме» пишущего или говорящего подобной соотнесенности такое предложение никакой двусмысленности в себе не заключает.

Следовательно, грамматическая конструкция средневекового предложения как бы предполагала *фон предшествующих предложений* в гораздо большей степени, чем этого требуют грамматические нормы современных языков. Говоря иначе: грамматика средневекового предложения была в большей степени грамматикой широкого контекста, чем это наблюдается в новых европейских языках.

Зависимость грамматики предложения от грамматики более сложного целого известна и новым языкам. Простейший пример: *Павел любит отца. К тому же он его и ценит*. Местоимение *он* во втором предложении было бы невозможным без имени существительного (*Павел*) в первом предложении. И все же в целом предложение в новых европейских языках с чисто грамматической точки зрения относительно менее зависимо от более широкого контекста, чем в языках средневековых.

В каком же смысле здесь можно говорить о развитии и совершенствовании грамматических средств? В процессе развития языка совершенствуются и уточняются и его грамматические ресурсы. Относительное местоимение *qui* ‘который’ теперь уже не нуждается в своеобразных «костылях», как в старом языке. Без «костылей» — опоры на широкий контекст — оно в старом языке было непрочным, зыбким. Смысл высказывания в конце концов передавался и в старом языке. Но передавался с большей затратой средств, чем в новом языке. Вот в этом смысле и можно говорить о совершенствовании грамматических ресурсов языка в процессе его исторического движения.

Но, быть может, подобные явления проще объяснить «экономией усилий»? На этот вопрос следует ответить отрицательно.

Дело в том, что теория экономии усилий чаще всего опирается на понятия легкого и трудного: от более трудного к менее трудному, т.е. к более легкому. Если эти понятия в какой-то степени и применимы к фонетическим изменениям, как об этом писал, в частности, Мартине, то отмеченные принципы оказываются малопригодными в сфере грамматики и лексики. Грамматика современного развитого языка отнюдь не легче грамматики старого, менее развитого языка. Первая вырабатывает такие обобщенные категории, которые могут быть значительно труднее «ситуативных» категорий второй. Да и число категорий в грамматике, как правило, не уменьшается, а увеличивается. Новые языки могут располагать и новыми категориями. Совершенствование грамматического строя определяется прогрессом языка и мышления, в котором «экономия усилий» если и играет известную роль, то роль зависимую и подчиненную<sup>1</sup>.

Здесь была рассмотрена структура старого предложения сравнительно со структурой нового. В действительности в историческом движении языка имеется немало промежуточных периодов. Прежде чем достигнуть современного уровня развития языка, имеющие длительную историю и богатую письменность, проходят обычно целый ряд — нередко очень сложных — этапов.

Чтобы обратить на это внимание, вернемся к служебным словам *que* и *qui* в истории французской грамматики. Первоначально, в самых старых текстах, они встречались сравнительно редко и выполняли широкие синтаксические функции. Однако в стремлении уменьшить зависимость каждого написанного предложения от широкого контекста самые различные авторы стали употреблять эти служебные слова все чаще и чаще. В результате возникли новые синтаксические трудности. У писателей не только XVI, но и XVII столетий нередко можно встретить такие построения, как, например, мольеровское: *Avez vous jamais vu un diamant plus vif que celui que vous voyez que mon père a au doigt?* («Скупой», III, 7), в букв. переводе ‘Видели ли вы когда-нибудь более сверкающий драгоценный камень, чем *который* тот, *который* вы видите, *который* на пальце моего отца?’ Если же учесть, что подобные предложения часто встречались не только в прямой, но и в косвенной речи, не только у «просто говорящих», но у большинства

<sup>1</sup> Этому важнейшему методологическому вопросу посвящена специальная статья, а впоследствии глава «Определяет ли принцип экономии развитие и функционирование языка?» (*Будагов Р.А.* Человек и его язык. 2-е изд. М., 1976; также см. Приложение с. 257–279).

писателей XVII столетия, то станет ясен характер подобных скопленных служебных слов<sup>1</sup>.

Речь идет о том, что в грамматике постепенно вырабатываются новые средства, новые модели для передачи человеческих мыслей и чувств. Вместе с тем грамматика литературного языка «шагает» не по гладкой дороге. Она сталкивается с большими трудностями и как бы говорит людям: вы, в первую очередь большие писатели и ученые, должны шлифовать меня, должны обогащать мои ресурсы, оттачивать мои категории. В определенные эпохи жизни того или иного языка грамматика «говорит» об этом громче, чем в другие эпохи. Все определяется конкретно-историческими условиями, в которых развивается язык.

Необходимо подчеркнуть и другое. XVII в., который традиционно считается «веком установления современного французского языка», не остановил движения самой грамматики. Поэтому правила употребления *que* — *qui* в современном французском языке во многом отличаются от аналогичных правил языка эпохи классицизма<sup>2</sup>. Так еще раз подтверждается ранее высказанная мысль о развитии и совершенствовании грамматики не только в отдаленные эпохи, но и в новое время.

В свое время А.А. Потебня, глубоко анализируя одно построение из «Ригведы» — *раздавлены ногами слонами* (в букв. переводе на русский), писал: «Построение это не бессмысленно, действительно *слонами*, т.е. их ногами. Только здесь отношения между двумя вещами никак не выражены, и они изображены так сказать на одной плоскости, без перспективы. И насколько отсутствие перспективы в живописи древнее ее присутствия, настолько эти паратаксические обороты по типу древнее таких, тоже восходящих в глубокую древность, но более согласных с нашей привычкой к объединению мыслей, как *ногами слонов*»<sup>3</sup>. Тонкий анализ Потебни интересен здесь и в более общем плане. Разумеется, синтаксис — это не живопись. Перспектива в обоих случаях имеет различное содержание. И все же приведенная аналогия знаменательна. Дело в том, что перспективу в живописи одним из первых обосновал великий итальянский скульптор и живописец Ф. Брунеллески<sup>4</sup>. Научиться передавать подобную перспективу в живописи и скульптуре оказалось гораздо сложнее.

<sup>1</sup> См. коллекцию тщательно собранных документированных примеров в кн.: Naase A. *Syntaxe française du XVII siècle*. Paris, 1898. P. 387–393.

<sup>2</sup> См. примеры в статье А. Боннара (*Le français moderne*. Paris, 1961. N 3. P. 168–182).

<sup>3</sup> Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. 3. Харьков, 1899. С. 209.

<sup>4</sup> См.: Ольшики Л. История научной литературы на новых языках. Т. I. М.; Л., 1933. С. 29, 227.

Поэтому и неудивительно, что уже в начале XX столетия у О. Родена были все основания заметить: «Вы, скульпторы, развивайте в себе понимание глубины. Ведь наш разум лишь с трудом воспринимает ее. Он представляет себе явственно только поверхность. Вообразить себе формы в их объемности он не в состоянии. Но именно в этом и заключается ваша задача»<sup>1</sup>.

На мой взгляд, аналогия между перспективой в живописи и в скульптуре, с одной стороны, и перспективой в синтаксисе — с другой, сохраняет смысл только в том отношении, что в обоих случаях перспектива вырабатывается на протяжении столетий, и там и здесь она свидетельствует о развитии объекта, подлежащего изучению. Речь идет не только о самой перспективе, но и об умении передать ее соответственно средствами живописи или средствами синтаксиса.

Не следует думать, что совершенствование грамматики наблюдалось лишь в прошлом. Как мы уже знаем, эта ошибочная точка зрения широко распространена среди многих филологов. При этом такие исследователи не учитывают внутренних движений в грамматике, обычно более важных, но менее заметных, чем преобразования чисто внешнего характера.

## 2

Проанализируем одно из явлений в истории румынской грамматики XIX—XX вв. Будучи, казалось бы, частным, оно вместе с тем характерно для строя румынского языка и по принципу «цепной реакции» отражается во многих его звеньях.

В современном румынском языке имена существительные могут иметь следующие окончания во множественном числе (в зависимости от рода и типа склонения):

мужской род *i*;  
женский род *e, le, i, uri*;  
обоюдный род *e* (вариант *ă*), *uri, i*.

Нельзя не заметить, что только окончание *i* повторяется во всех типах имен существительных множественного числа. В то время как остальные окончания множественного числа имеют ограниченную сферу распространения (только у существитель-

<sup>1</sup> Завещание Огюста Родена // Вейс Д. Огюст Роден. М., 1969. С. 557. Я здесь не касаюсь вопроса о том, что само слово *перспектива* в русском языке сравнительно поздно получило современное значение. В XVIII в. *перспектива* означало прежде всего *проспект* (*перспективы* Санкт-Петербурга) (об этом см.: Гальди Л. Слова романского происхождения в русском языке. М., 1958. С. 23).



ных женского рода, или только у существительных обоюдного рода, или, наконец, у тех и других, но не у первых), окончание на *-i* свойственно в той или иной степени всем именам существительным всех трех родов: в одном случае оно оказывается единственно возможным (мужской род), в других сосуществует с иными окончаниями (женский и обоюдный род). Примеры: *lucrător* 'рабочий', *lucrători* 'рабочие' (мужской род), *inimă* 'душа', *inimi* 'души' (женский род), *omăgiu* 'признательность', *omăgii* 'признательности' (обоюдный род).

Исследователи румынской грамматики неоднократно отмечали, что окончание на *-i* все более и более оттесняет другие окончания множественного числа. Процесс этот начался давно, но продолжается вплоть до наших дней. Еще во второй половине XIX столетия от существительного типа *barbă* 'борода' (женский род) множественное число оформлялось с помощью *e*: *barbe* 'бороды', от *talpă* 'пятка' — *talpe* 'пятки' и т.д. В языке же наших дней формы на *-i* вытесняют старые окончания на *-e*: *bărbi* 'бороды', *tălpi* 'пятки'. Еще в середине XX в. встречались *lacrimă* 'слеза' — *lacrime* 'слезы'. Теперь вторая форма оттесняется формой на *-i* — *lacrimi* 'слезы'. Процесс расширения множественного числа на *-i* продолжается и в наше время<sup>1</sup>.

Чем объяснить подобное движение грамматики? С чисто количественной точки зрения в подобном процессе можно было бы усмотреть обеднение языка: вместо многообразных окончаний множественного числа имен существительных вырабатывается какая-то единая форма. От большего количества к меньшему количеству, от многообразия к относительному формальному единообразию. Но это лишь самая внешняя сторона процесса. Он имеет и внутреннее содержание, гораздо более существенное с чисто грамматической позиции.

Дело в том, что окончание на *-i* во множественном числе в силу ряда особенностей румынской фонетики заметно влияет на основу имени существительного и тем самым обуславливает более отчетливо выраженную дифференциацию единственного и множественного чисел, чем при других окончаниях. Ср., например, *barbă* 'борода' — при старом окончании множественного числа (*barbe*) основа существительного оставалась той же, а при новом окончании она изменилась (*bărbi*, где первый гласный звук уже не *a*, а *э*). Различие особенно заметно в тех случаях, когда от одного существительного сохраняются две формы множественного

<sup>1</sup> *Iordan I. Limba română contemporană. București, 1956. P. 280; Coteanu I., Dănăila I. Introducere în lingvistică și filologia românească. București, 1970. P. 66.*

числа (обычно с семантической дифференциацией). *Bucatã* ‘кусок’, *bucãți* ‘куски’ (основа меняется), тогда как при старом множественном числе основа сохранялась — *bucate*. В современном языке эта последняя форма откалывается от исходной (*bucatã*) и выступает как самостоятельное имя существительное: *bucate* ‘кушанье’, ‘блюдо’. Таким образом, если число окончаний обнаруживает тенденцию к уменьшению, то число фонетически противопоставленных форм слова заметно возрастает. И здесь, следовательно, проблема не сводится к чисто механической и очень поверхностной теории экономии усилий, так как число одних категорий уменьшается, а число других увеличивается.

Для чего же понадобилось более отчетливо дифференцировать единственное и множественное число? Чтобы ответить на этот вопрос, надо иметь в виду общую тенденцию всех романских языков к ослаблению, а затем и распаду категории падежа и к своеобразному укреплению категории числа. Известно, что в западнороманских языках от падежей имен существительных остались только реликты (имена существительные и прилагательные, некогда склонявшиеся, затем утратили формы склонения, а вместе с ними и падежи). Между тем категория числа не только не распадалась, но стала укрепляться. Наметилась даже своеобразная компенсация: чем больше распалась категория падежа, тем «сильнее» становилась категория числа. В румынском, в котором в отличие от западнороманских языков два падежа в именах существительных и прилагательных все же сохранились (именительно-винительный и родительно-дательный), отмеченная зависимость обнаруживается особенно рельефно. Отсюда, в частности, и предпочтение формы множественного числа на *-i* как формы, определившей более рельефную дифференциацию между двумя числами.

Аналогичная тенденция известна и другим романским языкам. В испанском и португальском, где падежи существительных и прилагательных вовсе не удержались, флексии числа продолжают оставаться живыми (исп. *muro* ‘стена’, *muros* ‘стены’). Во французском, где аналогичные флексии теперь уже стали лишь графическим привеском, дифференциация единственного и множественного числа отчетливо передается с помощью артикля: *le mur* ‘стена’, *les murs* ‘стены’. Во всех романских языках наблюдается либо ослабление, либо вытеснение категории падежа при одновременном укреплении категории числа. Меняются лишь формы выражения подобной зависимости<sup>1</sup>. Румынский язык не остался в стороне от этого общего развития. Но он по-своему на него откликнулся.

<sup>1</sup> Разные точки зрения по этому вопросу см. в ст.: *Politzer R. Final -s in the Romania // Reading in Romance Linguistics. The Hague; Paris, 1972. P. 414–422.*

По-своему его и выразил. Отсюда расширение множественного числа на *-i* за счет других окончаний этого же числа<sup>1</sup>.

Еще один вопрос нуждается в освещении. Почему категория падежа оказалась в романских языках менее устойчивой, чем категория числа? На этот вопрос можно дать ответ, учитывая два фактора — чисто логический и собственно языковой. С логической точки зрения категория числа более «прозрачна», чем категория падежа (первый фактор). Падежные отношения одних языков сравнительно легко могут «заменяться» предложными отношениями других языков. Категория же числа более универсальна. Во всяком случае в пределах индоевропейских языков она повсеместно «пробивает» себе дорогу (второй фактор). Логическая прозрачность категории числа обуславливает ее маркированность и в грамматике. А так как из всех возможных окончаний множественного числа *-i* отчетливее всего выражает в румынском различие между числами (обычно вызывает изменение в основе), то для этой цели оно и используется в первую очередь. Разумеется, зависимость здесь сложная и опосредованная. На пути дифференциации двух основных чисел (единственного и множественного) оказывается немало препятствий. Стоит только вспомнить простейшие из них: *pluralia et singularia tantum*. И все же категория числа в индоевропейской и, в частности, в романской грамматике оказывается логически прочной и грамматически отчетливо выраженной<sup>2</sup>.

Расширение флексии *-i* во множественном числе румынских имен существительных за счет некоторого оттеснения других окончаний обусловлено более общими грамматическими тенденциями. Дело в том, что одни грамматические категории оказываются

<sup>1</sup> Случаи, когда язык не в состоянии выразить дифференциацию чисел и проводит ее только в орфографии, обычно рассматриваются как недостаток самой грамматической системы. Нередко подобные построения наблюдаются, например, во французском: *je m'adresse au(x) people(s)* 'я обращаюсь к народу (народам)'. Не ясно или не вполне ясно, что хочет сказать говорящий. О таких конструкциях как об «изъянах грамматики» см.: *Sauvageot A. Français écrit, français parlé*. Paris, 1962. P. 72–80 и главу «Сохраним наше множественное число» в кн.: *Duizat A. Le guide du bon usage*. Paris, 1955. P. 79–82. О категории числа в разных языках мира были опубликованы интересные статьи в сб.: Уч. зап. ЛГУ. Сер. филол. наук. 1946. Вып. 10. С. 15–135. О роли разграничительных тенденций в языке см., в частности: *Ebeling C. Linguistic Units*. 2 ed. The Hague, 1962. P. 7–15.

<sup>2</sup> Противоречия между логикой и грамматикой в сфере категории числа дали повод некоторым ученым для «автоматизации» грамматической категории числа. Но если опасно смешивать логику и грамматику, то не менее опасно не видеть между ними своеобразного и глубокого взаимодействия. Об этом, в частности, см.: *Sandman M. Subject and Predicate. A Contribution to the Theory of Syntax*. Edinburgh, 1954; *Schmidt F. Logik der Syntax*. 2 Aufl. Berlin, 1962; *Панфилов В.З. Грамматика и логика*. М., 1963.

выраженными отчетливее, чем другие. Обычно это те, функция которых значительно их менее рельефно обозначенных «конкурентов». В той же мере, в какой в процессе расширения сферы употребления окончания *-i* противопоставление единственного и множественного числа становилось контрастнее, можно говорить не только о движении, но и о *совершенствовании грамматики*.

Проведем такое условное сравнение. Подобно тому, как в истории разработки различных алфавитов для различных языков самыми удачными алфавитами оказывались те, которые пользовались контрастным очертанием наиболее часто встречающихся букв, так и в истории грамматики успех оказывался на стороне средств, обеспечивающих ясно выраженную дифференциацию особенно важных в функциональном отношении категорий. В первом случае, однако, подобные искания совершались всегда сознательно, во втором — обычно бессознательно.

Независимо от того, рассматривать ли в приведенном примере фонетическую перегласовку имен существительных во множественном числе как преимущество или недостаток грамматики (сама по себе перегласовка не может дать ни того, ни другого), несомненно лишь одно: что *функциональное использование* подобной перегласовки для дифференциации единственного и множественного числа наблюдается в румынском языке и усиливается в процессе его развития. В одной из важных сфер грамматики ее дифференциальные показатели укрепляются. Тем самым совершенствуются и ее общие ресурсы. Так, казалось бы частное и изолированное явление — расширение сферы окончания *-i* во множественном числе румынских имен существительных — оказывается связанным с другими категориями и тенденциями грамматики (принцип цепной реакции).

Таким образом, развитие и совершенствование грамматики какого-либо конкретного языка проявляется не только на протяжении веков, но и в границах сравнительно небольшого исторического периода, на «глазах» у наших современников. Это подчеркнуть тем более верно, что обычно «сдвиги» в грамматике видят лишь в ее далеком прошлом и не замечают ее же внутреннего движения в наше время, иногда менее заметного внешне, но не менее существенного и важного для всего строя каждого конкретного языка.

### 3

Трудность самой проблемы совершенствования языка заключается, как мы уже знаем, в том, что она никогда не решается с помощью простой и однозначной формулы. Например, от меньшего количества языковых форм — к большему количеству язы-

ковых форм (или наоборот), от неэкономного употребления языковых форм — к их экономному употреблению (или наоборот), от конкретного многообразия форм — к их абстрактному осмыслению, от бедности — к богатству. Подобные формулы, сами по себе как будто бы удобные и простые, создают лишь видимость решения проблемы совершенствования языка, но в действительности, по существу, ничего не решают.

Факты развития языков мира резко противоречат этим «заманчивым» формулам. Разумеется, можно привести немало примеров, когда грамматические категории тех или иных языков развиваются от конкретных к абстрактным осмыслениям, но можно привести и противоположные примеры движения грамматических категорий от их более абстрактных значений к их же более конкретному смыслу. Поэтому Потебня был глубоко прав, когда в свое время очень тонко заметил: «Нельзя охарактеризовать развитие языка его стремлением к отвлеченности, не прибавив, что вместе с тем развивается и его способность изображать конкретные явления»<sup>1</sup>.

А как быть с ранее приведенными примерами? — спросит читатель. Как быть с обобщением окончаний множественного числа имен, в частности, в румынском языке? Отвечая на эти вопросы, надо иметь в виду, что проблема совершенствования языка не решается какой-либо одной формулой. Все дело в том, что и как изменяется в языке. В одних случаях рост абстрактных возможностей в грамматике свидетельствует о росте ее силы, ее выразительных возможностей, в других — рост самого умения передавать конкретные разграничения, умения, которое раньше языку было недоступно или малодоступно, тоже может с немалым успехом свидетельствовать о совершенствовании грамматики. Задача исследователя заключается не в том, чтобы подгонять материал под заранее изобретенную формулу (какой бы ни была эта формула), а в том, чтобы действительно исследовать конкретный материал разных языков и «выводить» лишь такие формулы, предлагать лишь такие обобщения, которые не только не противоречили бы языковому материалу, но помогали бы глубже его осмыслить.

При такой постановке вопроса формул может оказаться много. И дело даже не в том, окажется ли много или мало формул, а в том, чтобы подобные обобщения действительно помогали понять процесс развития и совершенствования языка вообще, его грамматики — в частности и в особенности. Поэтому нет ничего

---

<sup>1</sup> Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. С. 355.

удивительного в том, что в одних случаях движение от конкретного к абстрактному, а в других — от абстрактного к конкретному могут в одинаковой степени свидетельствовать о процессе совершенствования грамматики. На мой взгляд, задача исследователя заключается в том, чтобы всякий раз точно устанавливать, что это за конкретное и что это за абстрактное.

То же следует сказать и о таких понятиях, как простое и сложное, однозначное и многозначное, однообразное и разнообразное и т.д. Необходимо всякий раз устанавливать функцию того или иного понятия, а затем уже судить о его роли в истории языка. В зависимости от функции всякое подобное или аналогичное ему понятие может играть разную роль в процессе сложения всей системы языка в каждую историческую эпоху.

В своей яркой книге по истории древнерусского языка Л.П. Якубинский по другому поводу уже верно заметил: иногда язык, в определенную эпоху его бытования, может характеризоваться «изобилием от бедности»<sup>1</sup>. Так, например, в древнерусском языке, как и во многих других индоевропейских языках средних веков, существовало множество самых разнообразных указательных местоимений, которые как бы «обволакивали» имена существительные своими конкретными указаниями: «вот этот предмет, близкий или менее близкий ко мне», «вот это понятие, только что или несколько раньше или еще чуть-чуть раньше упомянутое», и т.д. Любопытно, что аналогичные средства грамматической указательности бытовали не только в славянских, но и в других индоевропейских языках средних веков. Во французской «Песни о Роланде» (XI в.) живые существа и предметы, о которых идет речь, обычно сопровождаются чрезвычайно дробной системой указательных местоимений<sup>2</sup>.

Если обратиться к истории указательных местоимений в разных индоевропейских языках, то можно вслед за другими исследователями установить такую общую закономерность: более древняя система трехчленной указательности (ср. латинские *hic* 'этот' в связи с первым лицом, *iste* 'этот' в связи со вторым лицом, *ille* 'тот' в связи

<sup>1</sup> Якубинский Л.П. История древнерусского языка. М., 1953. С. 190.

<sup>2</sup> См. материалы и примеры: Lommatzsch E. Kleinere Schriften zur romanischen Philologie. Berlin, 1954. S. 2–40. За пределами индоевропейских языков: Меновицков Г.А. Указательные местоимения в эскимосском языке // Вопр. языкознания. 1955. № 1. Общие вопросы «указательности» обсуждаются в кн.: Шведова Н.Ю. К спорам о детерминативах // Науч. докл. высшей школы. Филологические науки. 1973. № 5. С. 66–77; Wespi H. Die Geste als Ausdrucksformen und ihre Beziehungen zur Rede. Bern, 1949. S. 35–55; Aebischer P. Préhistoire et protohistoire du Roland. Bern, 1972.

с третьим лицом и уже вне непосредственной связи с говорящим человеком) постепенно вытесняется двухчленным противопоставлением (как, например, в современном русском — *этот, тот*). В отдельных языках, в частности в сербском, сохраняется более старая система трехчленности: *obaj, taj, onaj* (как в латинском).

Можно ли утверждать, что победа двухчленной системы над трехчленной системой в большинстве индоевропейских языков все же свидетельствует о крепнущей силе грамматических возможностей языка? На мой взгляд, можно: во-первых, трехчленная система указательности сама в себе заключала слабости (вторая ступень была слабой, *iste* как бы колебалось между 'этот' и 'тот', примыкая то к первому, то ко второму элементу) и, во-вторых, двухчленная система четче стала противопоставлять 'этот' и 'тот', что во многих случаях требовала сама мысль человека в процессе коммуникации.

А как быть с теми индоевропейскими языками, которые, как, например, уже упомянутый сербский, до сих пор сохраняют трехчастную систему указательных местоимений? Опровергают ли такие языки намеченное движение от трехчастного к двухчастному противопоставлению? Нет, не опровергают. Исключения — трехчастная система сохранилась в сравнительно немногих индоевропейских языках нашего времени — показывают другое: они свидетельствуют, что в развитии языков, даже родственных, имеются не только схождения, но и расхождения, что отдельные языки могут «задерживаться» на предшествующем этапе развития, тогда как его «родичи» «уходят вперед». Однако отдельных явлений «задержки» недостаточно для констатации большей или меньшей архаичности конкретного языка. Для этого нужна целая сумма явлений, затрагивающая весь грамматический строй языка. И все же историку того или иного языка всегда интересно объяснить, почему «его» язык занимает в данном вопросе особую позицию.

Выводы и обобщения всегда должны опираться на большой конкретный языковой материал. В противном случае их ценность оказывается иллюзорной.

Только что мы видели, в одних случаях уменьшение количества грамматических градаций (двухчленность указательности «вместо» ее трехчленности) свидетельствует о совершенствовании грамматического строя языка (противопоставление грамматических значений становится более четким), в других же случаях как бы наоборот, возникновение новых градаций, увеличение их числа тоже может свидетельствовать о совершенствовании грамматического строя языка. И здесь нет никакого противоречия. Следует всегда помнить тезис, глубоко обоснованный в свое время еще

В. Гумбольдтом: в языке могут не сохраняться те или иные отдельные формы, но язык вне формы невозможен (разграничение: *форма — формы*)<sup>1</sup>.

Известно, что в грамматике индоевропейских языков средних веков были очень слабо представлены дифференцирующие признаки, разделяющие имена существительные и имена прилагательные. Как общее правило, имя, стоящее перед следующим за ним именем, выполняло роль будущего прилагательного. Известно, что в русском фольклоре до сих пор бытуют образования типа *жар-птица, царь-девица, душа-человек* и многие другие. Разумеется, в эпоху, когда разделение имен на имена существительные и имена прилагательные уже завершилось, словосочетания типа *душа-человек* стали играть чисто стилистическую роль. Но некогда было иначе: очень многие индоевропейские языки средних веков еще не знали имени прилагательного как самостоятельной части речи, поэтому сочетания типа *душа-человек* в самых различных языках выполняли не стилистическую, а чисто грамматическую функцию — одно имя выступало в функции определителя другого имени. Сравнительная грамматика уже давно установила описанное различие между индоевропейскими языками средних веков и языками нового времени, но до сих пор не связывала подобное различие с совершенствованием самой грамматики этих же языков<sup>2</sup>.

Разграничение грамматики и стилистики здесь очень существенно. К сожалению, оно обычно не проводится. Между тем, если образования типа *душа-человек* встречаются у Шекспира или Рабле, то их функция оказывается, как правило, уже иной, чем в более ранних английских или французских текстах XII—XIII вв. Сочетания типа *душа-человек* прежде чем приобрести стилистическую функцию выполняли функцию чисто грамматическую (определение плюс определяемое)<sup>3</sup>.

Возникает вопрос: какое отношение имеют подобные, казалось бы, весьма специальные изменения к совершенствованию грамматики? Ответ должен быть таким — имеют прямое отношение. Вместо одной недифференцированной категории имени возникают две дифференцированные категории — существительное

<sup>1</sup> См.: Гумбольдт В. фон. О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода / Пер. с нем. П. Билярского. СПб., 1859. С. 270.

<sup>2</sup> См. примеры и материалы: Стеблин-Каменский М.И. История скандинавских языков. М.; Л., 1953. С. 203–208; Roberts K. An Anthology of Old Portuguese. Lisboa, 1960. P. 303 (примечания к истолкованию старых текстов).

<sup>3</sup> См.: Шубин Э.П. Атрибутивные имена в языке Шекспира и их генезис // Уч. зап. Пятигорского пед. ин-та. 1957. Т. 14. С. 57.



и прилагательное. И дело здесь, разумеется, не в простом увеличении числа категорий, а в усилении и укреплении выразительных (в широком смысле) возможностей языка. На основе синтаксической категории определения (*душа-человек*, где *душа* — определение к *человек*) возникает морфологическая категория прилагательного (*душевный*). Язык не только обогащается, приобретая новую часть речи, но и получает возможность осмыслить старые словосочетания (типа *душа-человек*) уже в новом, стилистическом плане. Усиливаются и выразительные возможности стилистики.

Весьма существенно при этом следующее: многие индоевропейские языки, в первую очередь романские и некоторые германские, в своем грамматическом развитии от средних веков к современности двигались, как известно, от флективного строя к строю в большей или меньшей степени аналитическому. В этом свете новая часть речи (прилагательное) подобным языкам, казалось бы, не нужна была вовсе: аналитические языки способны передавать определение с помощью того же имени существительного (речь уже шла о словосочетаниях типа *душа-человек*). Но потребности мысли оказываются более властными сравнительно с теми тенденциями грамматики, которые выступают в своем формальном облике. Под воздействием растущих потребностей мысли грамматика «приносит в жертву» те свои формальные признаки, которые сами по себе никаких преимуществ для выражения мыслей и чувств человеку не дают. В романских языках развивается прилагательное как самостоятельная часть речи с разнообразными флективными окончаниями. В системе *аналитических языков формируется антианалитическое явление под воздействием новых потребностей мысли*: в словосочетаниях типа *душевный человек* определение *душевный* выражено четче и яснее, чем в словосочетаниях типа *душа-человек*, где чисто определительное значение существительного *душа* живет лишь в словосочетании и сейчас же лишается подобной семантики вне словосочетаний данного типа.

Так происходило в истории большинства романских языков разделение имени, ранее слабо дифференцированного, на более четко дифференцированные имена существительные и имена прилагательные.

Потребности человеческой мысли вносят коррективы во внутренние грамматические тенденции. Вместе с тем совершенствуются и грамматические ресурсы языка.

В общем плане вопрос может быть поставлен так: если в более старом языке те или иные грамматические категории были еще

не дифференцированы или слабо дифференцированы, а в более новом языке они стали *функционально различаться* и при этом давать возможность говорящему или пишущему более точно передавать содержание высказывания, то подобный грамматический процесс дифференциации оказывается прямо связанным с совершенствованием самой грамматики. Это, в частности, подтверждает история имени прилагательного во многих индоевропейских языках. Об этом же говорят и разнообразные другие материалы, на один из которых попытаюсь обратить внимание.

## 4

В средневековых романских текстах причастие настоящего времени часто выступало в недифференцированной функции: оно могло выполнять и функцию прилагательного, и функцию глагола. Из контекста одного предложения бывало трудно заключить, о чем идет речь. Только опора на очень широкий контекст могла помочь слушателю понять говорящего. Вот, например, строки из французского текста начала XIII столетия («La Queste del Saint Graal», 183, 3–4): *Li oisiaus vint devant toi en dormant Et aussi fist il en veillant*. — ‘Птица пролетала перед тобой в то время, как ты спал и в то время, как ты бодрствовал’. Сами по себе причастные формы *en dormant*, *en veillant* можно понять и как относящиеся к птице и как относящиеся к человеку. Современный язык подобной двойственности уже не допускает. Он как бы предлагает говорящему или пишущему выбрать: отнести причастия настоящего времени (*en dormant*, *en veillant*) либо к человеку, либо к птице. В старом языке нет уточнения «в то время, как ты спал», «в то время, как ты бодрствовал». Лишь из очень широкого контекста можно было заключить, что причастия *сня*, *бодрствуя* относятся к человеку, а не к птице. Желая же сделать предложение точным уже в пределах одного предложения, современный язык вносит необходимые уточнения, отсутствующие в старом тексте.

Дифференциация грамматических категорий подобного рода безусловно свидетельствовала о совершенствовании ресурсов грамматики в процессе развития языка.

*Многозначность многозначности рознь*. Сама по себе многозначность грамматических категорий может быть и признаком высокого развития их абстрагирующей силы, и признаком слабости, недостаточной самостоятельности, известной аморфности. В этом — немалая трудность изучения процессов совершенствования грамматических ресурсов языка. Казалось бы, одна и та же характеристика (многозначность) может выступать и со знаком

плюс и со знаком минус. Проблема должна изучаться не в умозрительном плане, а конкретно-исторически: о какой многозначности идет речь и какую функцию она выполняет в ту или иную историческую эпоху, в том или ином языке.

В свое время Л.П. Якубинский убедительно показал: древнерусское *что* могло иметь десятки различных грамматических значений, в том числе причинное (*что* в смысле более позднего *потому что*), целевое (*что* в смысле более позднего *чтобы*), следственное (*что* в смысле более позднего *так что*), сравнительное (*что* в смысле более позднего *как*) и многие другие<sup>1</sup>. Заметим, Л.П. Якубинский рассматривал подобную полисемию как явление лексическое. Здесь — типичная грамматическая полисемия. Последующая, более поздняя дифференциация *что* и *потому что*, *что* и *чтобы* и т.д. безусловно свидетельствовала о прогрессе грамматики, о крепнущей силе ее выразительных (в широком смысле) ресурсов. Плоха не сама по себе полисемия *что* (и в современном русском языке *что* сохраняет многозначность). Проблема решается иначе: противопоставленные *что* и *чтобы*, *что* и *потому что*, *что* и *так что* оказываются сильнее одного *что*, лишённого подобных противопоставлений. Вопрос и здесь сводится к грамматическим ресурсам языка — различным в различные исторические эпохи.

Примерно то же можно сказать и о грамматическом форманте *que* в романских языках. В своей интересной «Истории испанского языка» Лапеса показал, как постепенно складывалась дифференциация *que* и словосочетаний с *que* в их причинном, целевом, следственном и многих других значениях<sup>2</sup>. К сожалению, и этот автор не связывал отмеченный процесс с процессом совершенствования грамматических ресурсов испанского языка. Между тем оба процесса (дифференциация и совершенствование) были прямо взаимообусловлены. Попытаюсь показать аналогичную зависимость на примере из истории французского синтаксиса.

В памятнике XIII столетия, в «Окассен и Николетт», воспроизводится диалог между знатым и богатым Окассеном и бедным безымянным крестьянином, который жалуется, что он потерял быка. Крестьянин понимает: его ожидает суровая кара. Он боится вернуться в город: *que on me metroit en prison, que je ne l'ai*

<sup>1</sup> См.: Якубинский Л.П. Указ. соч. С. 267.

<sup>2</sup> Lapeza R. Historia de la lengua española. Madrid, 1959. P. 153; см. также интересный этюд: Spitzer L. Über spanische que // Spitzer L. Aufsätze zur romanischen Syntax und Stilistik. Halle, 1918. S. 71–120; соответствующие главы в монографиях: Menéndez Pidal R. El idioma español en sus primeros tiempos. Madrid, 1957. P. 137–140; Alonso M. Evolución sintáctica del español. Madrid, 1964. P. 121–143.

de quoi saure, de tot l'avoir du monde n'ai je plus vaillant *que* vos véés sor le cors de mi (XXIV, 50) букв. '(если я вернусь) по *этой причине (que)* меня заключат в тюрьму, *так как (que)* я не смогу оплатить [стоимость быка], из всех благ мира я имею только *то, что (que)* вы видите на мне [на моем теле]'. Здесь три *que* и все они выступают в разной грамматической функции. При переводе подобного предложения на современный французский язык переводчик невольно должен прибегнуть к разным служебным словам, чтобы правильно передать смысл старого текста: *вследствие* того-то и того-то (*puisque*), *по причине* (*car*), *только то, что* (*que se que*). Дифференциация функции старого служебного слова *que* не только точнее обрисовывает контуры самого этого служебного слова, но дает возможность точнее передать мысль говорящего и помогает слушателю точнее понять эту мысль. Вместе с тем в современном языке смысл отдельного предложения или ряда предложений в меньшей степени начинает зависеть от смысла очень широкого контекста<sup>1</sup>.

Это последнее различие имеет важное методологическое значение. Разумеется, и в любом языке наших дней значение отдельного предложения тоже может находиться в зависимости от более широкого контекста, но подобная зависимость в наше время во многом *иного характера*, чем зависимость в средневековую эпоху. Тогда отмеченная зависимость имела прежде всего грамматический характер, в наше время — прежде всего стилистический характер. Спрашивая «куда он ушел?», я могу иметь в виду Иванова или Петрова (фон широкого контекста), но подобное уточнение уже не обусловлено грамматическими трудностями и решается самой ситуацией разговора. Разумеется, у современных больших мастеров прозы стилистические оттенки зависимости одного или ряда предложений от фона широкого контекста могут быть гораздо более сложными, многоступенчатыми. Но это, уже во многом, — другой вопрос.

Здесь необходимо ввести еще одно теоретическое уточнение. Как я уже подчеркивал, в некоторых направлениях лингвистики наших дней стало модно говорить о «двусмысленности языка». Согласно этой концепции, все языки сами по себе будто бы являются двусмысленными<sup>2</sup>. Это, разумеется, совершенно неверно, о чем мне уже приходилось писать<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Ср. неудобство смыслового неразграничения *как* и *так как* в новом русском языке: «И как уголок их был почти непроезжий, то...» (*Гончаров И.А.* Обломов. Цит. по: Словарь современного русского литературного языка. Т. 5. М.; Л., 1956. С. 687; здесь *как* выступает в значении *так как*).

<sup>2</sup> См., например: *Kooij J.* Ambiguity in Natural Language. Amsterdam, 1971.

<sup>3</sup> См., в частности: *Вопр. языкознания.* 1975. № 4. С. 119–121.

Язык не мог бы быть великим средством коммуникации между людьми, если его природе была бы свойственна двусмысленность. Речь идет и не о том, что старые языки оказывались более двусмысленными, чем новые. Речь идет о другом: о *совершенствовании ресурсов языка*, в том числе и ресурсов грамматических. Именно в этом и обнаруживается прогресс языка, сущность его грамматического развития. Большая же зависимость отдельного предложения от широкого контекста в старых средневековых языках сравнительно с аналогичной зависимостью в новых языках свидетельствует о своеобразии грамматического строя в разные исторические эпохи, о том, что грамматика постепенно становится более самостоятельной и «законченной», а процесс дифференциации грамматических и стилистических ресурсов языка (при их постоянном взаимодействии) оформляется более четко и одновременно многопланово.

Все сказанное отнюдь не означает, однако, что увеличение числа грамматических категорий или грамматических формантов всегда свидетельствует о совершенствовании ресурсов грамматики. Как мы уже знаем, дело не в числе тех или иных категорий или формантов, а в их функциях, в их роли в процессе коммуникации. Как было показано, старая трехчленная система указательности в большинстве индоевропейских языков была вытеснена системой двухчленной, но подобное уменьшение числа грамматических звеньев лишь усилило дифференцирующие и обобщающие возможности грамматики. Если при этом и обнаруживается противоречие, то его смело можно назвать диалектическим противоречием самого процесса развития.

Таким образом, становление грамматической системы языка может обнаруживаться не только в *увеличении* звеньев самой этой системы, но и в *уменьшении* числа подобных звеньев. *Все определяется функционально*: «нагрузкой» подобных звеньев в процессе коммуникации. В ходе исторического развития языка каждое звено обычно получает более строгое назначение. При этом важную роль играет грамматическая семантика: «оправдывает» ли она или не «оправдывает» назначение того или иного грамматического звена в целостной системе. Этим определяется бóльшая или меньшая устойчивость самого этого звена.

Широко распространено мнение, согласно которому все определяется экономией человеческих усилий. Чем больше развивается язык, тем более экономным и простым он становится. При этом говорят и о процессе стандартизации языка как высшем выражении принципа экономии. В области грамматики стремятся «замкнуть язык» небольшим числом стандартных конструкций. В

другом месте я уже ссылался на свою же подробную критику этой несостоятельной, но широко распространенной доктрины. Поэтому сейчас только замечу, что сторонники «стандартизации и экономии языка» не видят главного: язык неотделим от человека. С позиции машинно-технических критериев сам человек может показаться «сплошным излишеством». Но сила человека в его многосторонности. В этом же сила и его языка. В процессе же развития и человека и языка *многосторонность становится все более и более типичным свойством и человека, и его языка.*

Далее приведу лишь один пример, лишней раз доказывающий, как процесс казался бы простой стандартизации определенной грамматической модели оборачивается контрпроцессом — обогащением грамматических ресурсов языка, его выразительных возможностей.

В современной русской разговорной речи получают довольно широкое распространение аналитические конструкции типа *рейс восемнадцать* (вместо *рейс восемнадцатый*), *нагрузка в часах* (вместо *учитывать, планировать и т.д. нагрузку в часах*), *библиотека на общественных началах* (вместо *организовывать библиотеку на общественных началах*) и многие другие. Исследовательница этих конструкций справедливо замечает: «Сами по себе подобные сочетания проще, чем равнозначные модели, строящиеся с формами словоизменения. Но если брать эти новые сочетания не изолированно, а как члены ряда, и рассматривать их как единицу синхронного среза..., то мы увидим, что развитие так называемых упрощенных конструкций ведет не к сокращению, а к усложнению ряда; это усложнение есть одновременно и обогащение, так как новый структурный тип, расширяя границы ряда, закрепляет за собой определенный круг функций и этим содействует дальнейшей стилистической дифференциации других членов ряда»<sup>1</sup>. Уже тот факт, что конструкция типа *рейс восемнадцать* в отличие от конструкции *рейс восемнадцатый* приобретает явно разговорную тональность, говорит об усложнении всего ряда.

К тому же следует всегда помнить, что аналитические конструкции (без внешних форм грамматического согласования) имеют ограниченное распространение в славянских языках как языках преимущественно флективных. Тем большее значение приобретают дифференцирующие тенденции, функционально разграничивающие флективные и аналитические построения.

<sup>1</sup> Шведова Н.Ю. О понятии синтаксического ряда // Историко-филологические исследования. К 75-летию академика Н.И. Конрада. М., 1967. С. 213; Брагина А.А. Синонимы в литературном языке. М., 1986 (в частности гл. «Роль словообразования в синонимическом ряду»).

Трудно переоценить значение разграничительных тенденций в исторической грамматике. Их роль огромна. Она обнаруживается в различных областях грамматики. В старофранцузскую и среднефранцузскую эпохи язык обычно не проводил разграничения между многими предлогами и многими наречиями. Начиная с XVII столетия подобное разграничение стало явным<sup>1</sup>. С этого времени предлоги *sur* 'на', *sous* 'под', *avant* 'вперед', *dans* 'в', *devant* 'впереди' стали отчетливо отделяться от родственных им наречий: *dessus* 'над', *dessous* 'под', *dedans* 'внутри', *auparavant* 'раньше' и т.д. В тех же случаях, когда в диалектной речи образования типа *sous* 'под' и *dessous* 'под' или *dans* 'в' и *dedans* 'в' не противопоставляются как предлоги и наречия (в русском переводе подобное противопоставление не сохраняется), сглаживание подобных оттенков воспринимается со знаком минус в литературной норме. Чем чувствительнее грамматика к передаче *тонких грамматических значений*, тем выше степень ее исторического развития, степень ее исторической «шлифовки».

## 5

Большой интерес вызывают такие явления, когда на одном этапе развития языка те или иные категории выполняют грамматическую функцию, а на другом этапе развития — стилистическую. Так, например, всевозможные повторы в старых языках могли служить средством оформления синтаксического целого, в новых же языках — стилистическим средством, уже обычно не имеющим грамматического характера.

В позднем латинском тексте, написанном на «вульгарном» языке и обычно относимом к VI в. н.э., в «Паломничестве аббатисы Этерии», часто встречаем «прием» соединения предложений с помощью повторения элементов предшествующего предложения: *Parvenimus ad quendam locum, ubi se tamen montes illi aperiebant. Hic autem locus, ubi se montes aperiebant...* («Peregrinatio», I. 1). — 'Мы достигаем того места, где открывались горы. Это же место, где открывались горы...' Повторение здесь служит не стилистическим, а чисто грамматическим средством. Оно соединяет последующее предложение с предшествующим. Никаких следов специальной стилистической обработки текста «Паломничества» исследователям обнаружить не удалось. Текст был составлен человеком, едва научившимся писать<sup>2</sup>. *Tamen ipse labor non sentiebatur. Ex ea parte*

<sup>1</sup> Foulet L. Petite syntaxe de l'ancien français. Paris, 1958. P. 305.

<sup>2</sup> Löfstedt E. Philologischer Kommentar zur Peregrinatio. Aetheriae. Uppsala; Leipzig, 1911. S. 3; Müller H. L'époque mérovingienne. Essai de synthèse de philology et d'histoire. N. Y., 1945. P. 276.

*autem non sentiebatur labor, qui desiderium quod habebam...* (там же, III, 2). — ‘Однако *труд не чувствовался*. И потому *не чувствовался труд*, что желание, которое я имела...’ Такого рода постоянные повторения буквально пронизывают весь текст «Паломничества». Хотя повторения подобного характера сами по себе к грамматике, казалось бы, не относятся, они все же выполняли в аналогичных случаях грамматическую, в частности синтаксическую функцию: с помощью повторений ряды предложений образовывали нечто целое. Такого рода явления были возможны лишь в эпоху, которая еще не знала сознательного отношения пишущего или говорящего к тексту своего высказывания. Как известно, в наше время повторения аналогичного характера еще возможны в фольклоре.

Иной характер повторения приобретают в те века, когда сознательное отношение говорящего и особенно пишущего к тексту своего высказывания становится в литературном языке нормой, почти обязательным условием (исключения — лишь малограмотное письмо или малограмотная речь). В более позднюю эпоху повторения различных типов целиком перемещаются из сферы грамматики (синтаксиса) в сферу стилистики.

Известно знаменитое начало толстовского романа «Воскресенье», где словосочетание «как ни старались люди» повторяется много раз. Еще чаще аналогичные повторы бытуют в поэзии. В фетовском стихотворении «*Это* утро, радость *эта*, / *Эта* мощь и дня и света, / *Этот* синий свод» указательное местоимение *это* (*эта*, *этот*) встречается 15 раз. Более сложную художественную функцию, чем у Фета, выполняют многочисленные повторы в поэме А. Блока «Двенадцать»:

Кругом *огни*, *огни*, *огни*...  
 Оплечь — ружейные ремни...  
 .....  
*Стоит* буржуй, как пес голодный,  
*Стоит* безмолвный, как вопрос...

Но подобные повторы — сами по себе весьма разнообразные — играют принципиально иную роль, чем повторы в памятниках типа «Паломничества». Во-первых, теперь это, как правило, уже сознательные повторы и, во-вторых, их роль сводится не к грамматической, а к стилистической организации текста. В движении от грамматики к стилистике слышится поступь грамматики по пути ее совершенствования. Передавая определенные функции, ранее ей принадлежавшие, стилистике, *грамматика точнее обрисовывается в своих контурах, в своих категориях*.



В новых языках повторы широко бытуют и за пределами художественной литературы, в повседневной речи. Но и в этом случае повторы преследуют определенные цели, чаще всего экспрессивные, эмоциональные. Так, например, я могу сказать «сегодня прекрасная, прекрасная погода» или «вчера был ужасный день; этот ужасный день мы никогда не забудем». В этих случаях повторы, хотя и не преследуют, разумеется, никаких художественных целей, сохраняют, однако, свои экспрессивные и тем самым в известной степени и коммуникативные цели. Вместе с тем такие повторы уже далеки от повторов, обнаруженных в старых памятниках «необработанной речи».

Здесь тоже обнаруживаются два аспекта проблемы — исторический и синхронный. Синхронно повторы могут бытовать в разных сферах и жанрах речи, но исторически ранее намеченный в подобных случаях путь движения представляется мне несомненным — от грамматических функций к функциям стилистическим.

Взаимодействие грамматики и стилистики особенно заметно и особенно интересно в сравнительном плане.

В румынском языке, например, где имена существительные могут легко употребляться в функции наречий (грамматическая особенность языка), вполне возможны такие словосочетания и такие предложения, которые в других языках, не обладающих отмеченной особенностью, «требуют» стилистических построений с соответствующим сравнительным союзом *как*. Например, румынское *a plecat glonț* букв. 'он удрал пулей', т.е. *как* пуля, во фр. *il est parti comme la balle* 'он удрал (ушел) *как* пуля'. Элемент сравнения (*как, comme*), обязательный для одних языков, не обязателен для других языков. В староитальянском тоже были известны конструкции, аналогичные современным румынским: *nio madre* букв. 'голый мать', т.е. 'голый, каким родила меня мать'. Самим соположением слов передается то, что в других языках «требует» сравнения или истолкования. Исследователи уже обращали внимание на сходные построения, характерные для фольклора и народной речи в разных языках, в частности в немецком (*feuerrot* 'красный *как* огонь') и в английском (*bleeding drunk* 'обессиленный пьяный', т.е. 'обессиленный *вследствие того, что* был пьяный') и т.д.<sup>1</sup>

В тех или иных языках подобные конструкции грамматически и стилистически неоднородны. В плане развиваемой здесь темы важно подчеркнуть: 1) во всех языках существует постоянное

<sup>1</sup> Spitzer L. Stilstudien. Bd 1. Sprachstile. München, 1928. S. 12–15, ср. также: Ярцева В.Н. Исторический синтаксис английского языка. М., 1961. С. 134 и сл.

взаимодействие грамматики и стилистики; 2) в одних языках сфера грамматики сохраняется еще там, где в других языках уже действуют законы стилистики; 3) соотношение грамматики и стилистики исторически весьма подвижно и лишней раз свидетельствует о развитии подобного соотношения не только в древние, но и в новые эпохи бытования языков.

В своем движении и развитии грамматика взаимодействует не только со стилистикой. Внутри самой грамматики складывались сложные отношения между ее частями. Морфология всегда могла обогащать синтаксис, а синтаксис — морфологию.

В истории русской грамматики полные и краткие прилагательные первоначально противопоставлялись по принципу определенности и неопределенности: полные прилагательные детерминировали имена существительные, а сочетание существительного с кратким прилагательным должно было свидетельствовать о недостаточной детерминации самого имени существительного. Аналогичную функцию в романских и германских языках обычно выполняли определенный артикль и неопределенный артикль (иногда во втором случае — нулевой артикль). Позднее, однако, как это показали А.А. Потебня и Л.П. Якубинский, грамматически стала оформляться лишь определенность (полные прилагательные), а краткие прилагательные чаще всего употреблялись нейтрально<sup>1</sup>. Но «пустой» грамматическая функция обычно не бывает. И вот неполные — краткие — прилагательные начинают осмысляться в предикатном значении: *человек добр* (*добр* выступает в функции сказуемого — «человек есть добрый»), тогда как *добрый человек* (*добрый* определяет существительное). На синтаксической основе развивается морфологическое противопоставление полных и кратких прилагательных.

Так может происходить *внутреннее обогащение морфологии за счет синтаксических ресурсов языка*, подобно тому как эти последние в состоянии постоянно обогащать возможности стилистики и ее ресурсы, а стилистика — возможности и ресурсы синтаксиса.

Разумеется, проблема не сводится к тому, что «лучше» — неопределенность кратких прилагательных или их предикативность. На этом основании недопустимо, однако, снимать проблему совершенствования грамматики. Здесь важно обратить внимание на самый факт обогащения морфологических ресурсов языка, на возможность их пополнения за счет ресурсов синтаксиса. Все это тем более важно, что *синтаксические ресурсы всегда остаются*

<sup>1</sup> См.: Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. 3. Харьков, 1899. С. 43 и сл.; Якубинский Л.П. Указ. соч. С. 215; ср. также: Зеньковский В.В. К вопросу о функциях сказуемого. Киев, 1908.

*открытыми*, они всегда пополняются. Но если они могут обогащать, как мы только что видели, и ресурсы морфологические, сами по себе более «закрытые», то пути обогащения и совершенствования грамматики в целом действительно оказываются весьма многообразными.

Интересны типы и виды обогащения синтаксиса «за счет» морфологии. Как показал в свое время хорошо известный африканист Д. Вестерман, во многих африканских языках сравнительно бедна морфология, но зато весьма развит синтаксис<sup>1</sup>. С его помощью говорящие передают те категории, которые в индоевропейских языках нередко воспроизводятся с помощью морфологии.

## 6

Попытаюсь показать теперь процесс совершенствования грамматики на материалах, заимствованных прежде всего из истории романских языков. Хотя, как я уже отмечал, сам процесс развития грамматики не следует понимать как сумму отдельных примеров («вот это, а вот еще и это»), тем не менее целостное «здание грамматики» как бы вырастает из отдельных элементов, на которые оно опирается.

Диалектика самого процесса развития грамматики обнаруживается в постоянном взаимодействии частей и целого, частей системы и самой системы. Система автоматически не распадается на сумму категорий, но без этих категорий она существовать не может. В этом — одна из главных трудностей изучения исторической грамматики, и не только одной грамматики. Вместе с тем исследователи, подчеркивающие свое умение анализировать грамматику «в ее целостности», минуя звенья, образующие подобную целостность, либо вводят своих читателей в заблуждение, либо ограничиваются лишь общими рассуждениями о системе.

В сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков давно установлено, что во многих средневековых европейских языках категория модальности глагола была развита гораздо больше, чем категория времени. С помощью модальности люди передавали свое отношение к другим людям и к окружающей их действительности. Что же касается категории времени, то она гораздо позднее «перетянула на себя» часть функций, которые раньше принадлежали модальности. Произошло не только «перераспределение функций» между категориями модальности и времени, но и дальнейшее развитие времени, более чувствительная

<sup>1</sup> Westermann D. Grammatik der Ewe-Sprache. Berlin, 1907. S. 57; см. также: Африканское языкознание. М., 1963.

реакция категории времени на все события внешнего мира и внутреннего состояния говорящих и слушающих людей.

В общих чертах это явление сравнительно легко объясняется. В другой связи я уже отмечал, что средние века и эпоха раннего Возрождения еще не знали, что такое категория времени как абстрактная категория. Несмотря на появление всевозможных хроник, описаний войн, воспоминаний о прошлом, самого понимания событий во времени в ту эпоху не существовало. Развитие понималось как возвращение к старому. Отсюда и популярность таких понятий, в именовании которых уже заключался префикс, передающий идею повторения: *reformatio*, *regeneratio*, *restauratio*, *revocatio* и т.д. Данте считал, что время «стоит» и все происходит в современности. Значительно позднее Боттичелли, иллюстрируя «Божественную комедию» Данте и стремясь как-то передать движение, выстраивал на одном рисунке фигурки «действующих лиц» по много раз. Художнику казалось, что этим он передает движение, весьма сложное понятие для той эпохи. Неумение передать время было связано с неумением передать движение, передать развитие. *Понятие времени и понятие развития сравнительно поздно научились соотносить друг с другом*<sup>1</sup>.

Позднее шекспировский Гамлет произнесет свои знаменитые слова: «Время вывихнулось. О, проклятье, я был рожден для того, чтобы его вправить». Все это не было, разумеется, случайным. Не только средние века и раннее Возрождение, но и их «предшественница» античность по-своему представляла себе категорию времени. Еще в 1896 г. наш знаменитый классик Ф.Ф. Зелинский установил «закон хронологической несовместимости» применительно к гомеровскому эпосу: одновременные события здесь излагались как события последовательные<sup>2</sup>. Если понимание самой последовательности требовало немалых усилий, то еще сложнее было представить себе разные события, происходящие в одно и то же время. Категорию времени надо было научиться раздвигать не только в «длину» (последовательность), но и в «ширину» (одновременность во времени).

В свете сказанного легче понять теоретические основы соотношения модальности и времени в старых и новых языках.

Современное французское предложение *je crois qu'il est parti* 'я думаю, что он уехал' во французском языке средних веков оформлялось иначе — *je crois qu'il soit parti*, где второй глагол

<sup>1</sup> *Badel P.* Introduction à la vie littéraire du moyen âge. Paris, 1969. P. 46–50; *Glaser R.* Studien zur Geschichte des französischen Zeitbegriffs. München, 1936. S. 36–39; *Гуревич А.Я.* Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 9 и сл.

<sup>2</sup> Сборник в честь Ф.Е. Корша. М., 1896; *Лосев А.Ф.* История античной эстетики (Аристотель и поздняя классика). М., 1975. С. 235–245.

выступал не в форме индикатива (утверждения), а в форме конъюнктива (предположения)<sup>1</sup>. Соотношение разных действий тогда обычно опиралось не на времена в их собственном (временном) значении, а прежде всего на модальность конъюнктива: «я думаю, что он ушел бы» (по-видимому, он ушел бы). Говорящий, как и слушающий, еще не всегда умели отвлекать действие от себя, затруднялись мыслить действие обобщенно.

Во французском фавле XIII в. «Estula» читаем: *Va veoir el cortil que n'i ait rien se bien non*, что на современный французский язык Гастон Парис, один из лучших знатоков средневековой романской литературы, переводит: *Va voir à la cour si tout est en ordre*. — «Пойди посмотри во двор, все ли там в порядке»<sup>2</sup>. Если попытаться перевести буквально старое предложение, то на современном русском языке оно должно звучать примерно так: «Пойди посмотри во двор, не имеется ли там чего-нибудь другого, кроме хорошего» (т.е. все ли там хорошо, все ли там в порядке). Позднее глагол в гипотетической модальности (*ait* 'имеется ли?') не сохраняется, предложение получает утвердительную модальность (*est*), а вопрос передается лексически, союзом *si* 'если', 'все ли'. Аналогичные конструкции были широко распространены и в других романских языках вплоть до XVII столетия.

Даже в тех случаях, когда в старых языках оказывались здесь уже времена индикатива, а не конъюнктива, синтаксический «шаг в сторону», который сейчас кажется лишним, был характерен для подобных конструкций. Вот два—три примера. В «Декамероне» Боккаччо (день 1, новелла 1): *per ciò che io ebbi già un mio vicino che non faceva altro che battere la moglie* букв. 'и уж был у меня сосед, он ничего другого не делал, как только бил свою жену' («только и бил свою жену»). В провансальском тексте о «Боецции» (строка 90): *ni noit ni dia no faz que mal pensar* букв. 'ни ночью, ни днем я ничего другого не делаю, как только плохо думаю'. В свое время Эбелинг<sup>3</sup> приводил примеры из старых итальянских народных текстов: *là murano di qui in giù, dal collo in giù, tutta murano, altro che la testa fori* 'злодеи замуровали женщину, так замуровали от шеи до самого низа, что оставили лишь голову свободной'. Выступает уже знакомое нам *altro que* 'еще как', 'до такой степени' ('только что голова оставалась свободной').

Разумеется, здесь возникает немало теоретических вопросов, и прежде всего: где в подобных, довольно разнообразных, пост-

<sup>1</sup> Nyrop K. Grammaire historique de la langue française. Vol. VI. Paris, 1930. P. 276.

<sup>2</sup> Paris G., Langlois E. Chrestomathie du moyen âge. Paris, 1912. P. 155.

<sup>3</sup> Ebeling G. Probleme der romanischen Syntax. Halle, 1905. S. 7. О провансальских текстах этой же эпохи см.: Camproux Ch. Histoire de la littérature occitane. Paris, 1971. P. 40–64.

роениях кончается грамматика и начинается стилистика. Учитывая, однако, народный характер аналогичных построений в старых языках (частично сходные конструкции до сих пор бытуют во многих романских диалектах), следует признать, что *синтаксический «шаг в сторону» («не что иное, как») был характерен для старых языков* и лишь пережиточно сохранился в новых языках. То, что некогда относилось к сфере грамматики, теперь — нам это уже знакомо — перешло в сферу стилистики. У Боккаччо, у Вийона, у Сервантеса сходные конструкции оказывались как бы на грани между грамматикой и стилистикой. Этот вопрос — важный и для теории грамматики, и для теории стилистики — нуждается в дальнейших разысканиях. Я здесь только хочу обратить внимание на то, как исторически менялись границы между грамматикой и стилистикой и *как уточнялись контуры грамматики* в процессе ее исторического совершенствования.

Известно, что в старых романских языках препозиция прилагательного в сочетаниях «прилагательное + существительное» и «существительное + прилагательное» встречалась гораздо чаще, чем его же постпозиция.

Обычно подчеркивается, что в препозиции прилагательное имеет более «эмоциональное», более переносное значение, чем в постпозиции, для которой характерно сохранение «логического или прямого» осмысления прилагательного. *Un homme grand* ‘человек высокого роста’, тогда как *un grand homme* ‘большой человек’, где *большой* приобретает переносное осмысление — ‘выдающийся’, ‘незаурядный’, иногда даже ‘великий’. Об этом порядке слов было написано немало интересного<sup>1</sup>, но обычно никто не связывал подобные факты с процессом совершенствования грамматики. Постепенно, однако, подобное разграничение, очень слабое и непоследовательное в старых романских языках, становится строже и строже, так что в современных языках (несмотря на отдельные исключения и осложнения) постпозиция прилагательного, как общее правило, начинает ассоциироваться с первоначальным «логическим» (непереносным) значением данного прилагательного. В этом нельзя не видеть влияния науки, влияния стиля научного изложения на литературный язык.

В самом деле, чем больше двигалась вперед наука и научные исследования, чем более значительным становился их удельный

<sup>1</sup> См., например, специальный раздел о подобных словосочетаниях в двухтомном исследовании: *Blinkenberg A. L'ordre des mots en français moderne*. I. Copenhagen, 1928; II. 1933; для итальянского языка см.: *Алисова Т.Б.* Очерки синтаксиса современного итальянского языка. М., 1971. С. 237–247; для испанского языка см.: *Васильева-Шведе О.К., Степанов Г.В.* Теоретическая грамматика испанского языка. М., 1972. С. 93–98.

вес в общем развитии культуры того или иного народа, тем более развитие литературного языка, в том числе и его грамматики, в известной мере оказывалось в зависимости от науки и научных исследований определенной эпохи.

Достаточно просмотреть современные большие толковые словари, чтобы убедиться в этом. Например, прилагательное *атомный*, получившее широкое распространение в нашу эпоху, теперь, как общее правило, почти всегда употребляется в постпозиции. Ср. французское словосочетание образца *énergie atomique* 'атомная энергия' (во французском — постпозиция, в русском — препозиция), итальянское *energia atomica*, испанское *energía atómica*, румынское *energie atomica*, португальское *energia atômica*, чтобы убедиться в закономерности отмеченного характера. Сам процесс более строгой смысловой дифференциации препозиции и постпозиции прилагательного (грамматическое явление) оказывается в зависимости от общекультурных факторов. Совершенствование грамматики (движение от менее строгой к более строгой семантической дифференциации) здесь обусловлено широкими общественными факторами.

При всем своеобразии грамматики и грамматических процессов в том или ином или в тех или иных языках подобные процессы в конечном счете (я подчеркиваю последнее положение — в конечном счете) связаны с общим развитием человеческой культуры. Сказанное нисколько не противоречит тому, что дифференциация препозиции и постпозиции прилагательного остается все еще очень сложной проблемой во многих современных языках. И это понятно: развитие грамматики приводит не к ее упрощению (несостоятельная концепция), а к ее совершенствованию, к выработке все более разнообразных и многообразных способов и «приемов» передачи человеческих мыслей и чувств. Поэтому можно понять Стендаля, когда он в письме к Бальзаку, заметил: «Нередко я размышляю минут пятнадцать, прежде чем поставить прилагательное перед или после существительного»<sup>1</sup>.

## 7

А как быть с грамматикой нового времени? Как я уже отмечал, почти все лингвисты считают, что грамматика развивалась лишь в прошлом, в наше же время язык изменяется лишь лексически и, отчасти, фразеологически, сохраняя грамматику в

<sup>1</sup> Письмо Стендаля к Бальзаку перепечатано в кн.: Литературные манифесты французских реалистов. Л., 1935. С. 45; см. также интересные материалы в кн.: Migliorini B. Saggi sulla lingua del novecento. Firenze, 1963. P. 95–110.

«установившемся виде». Ранее уже подчеркивалась несостоятельность подобной концепции. Она опровергается фактами. Необходимо только более пристально изучать эти факты.

Возникает странное положение. С одной стороны, до сих пор приходится слышать о неизменности грамматики «в новое время», а с другой — лингвисты-русисты, например, опубликовали в 60-х гг. XX столетия целый ряд специальных исследований, посвященных грамматическим изменениям в русском литературном языке XIX в. Так, вышли в свет, в частности, сборники, уже названия которых опровергают положение о «стабильности грамматики в новое время»: «Изменения в системе простого и осложненного предложения в русском литературном языке XIX века», «Изменения в системе сложноподчиненного предложения в русском литературном языке XIX века», «Изменения в системе словосочетаний в русском литературном языке XIX века» и некоторые другие. К сожалению, однако, авторы перечисленных сборников не ставили перед собой важнейшей проблемы: как следует понимать изменения в грамматическом строе языка «нового времени» *в связи с процессом непрерывного совершенствования самого этого строя?* Без постановки такой проблемы грамматические изменения предстают лишь как «коловращение форм», и только.

Разумеется, темпы развития грамматики в разные эпохи различны. Несомненно и другое: в период становления нормы всякого национального языка грамматика изменяется заметнее и интенсивнее сравнительно с другими периодами бытования языка. И все же движение грамматики никогда не прекращается. Следует только всегда помнить, что подобное движение может иметь как бы «скрытый характер» и обнаруживаться не столько во внешних формах, сколько во внутренних соотношениях между уже существующими формами и категориями. Это не менее важно.

В своих «Очерках по истории русского литературного языка» В.В. Виноградов, в частности, перечислил 14 грамматических нововведений в системе русского литературного языка второй половины XIX столетия<sup>1</sup>. Многие из этих нововведений были вызваны потребностями развивающегося научного стиля изложения, многообразием жанров художественной литературы. Становятся, в частности, более многообразными формы передачи глагольного вида, изменяется соотношение предлогов и приставок, возникают новые наречия из причастий настоящего времени, усиливаются качественные значения многих прилагательных и т.д. И хотя новые категории в собственном смысле в системе

<sup>1</sup> См.: Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков. 2-е изд. М., 1938. С. 433–438.



грамматики в эту эпоху почти не возникают, внутреннее движение грамматики продолжает быть весьма интенсивным.

В предшествующих главах (глава первая) я уже приводил некоторые материалы, относящиеся к развитию грамматики в XIX–XX столетиях, поэтому сейчас ограничусь лишь одной небольшой иллюстрацией.

В свое время А.М. Пешковский и особенно А.А. Шахматов отмечали рост номинативных предложений типа *Гроза*, *Весна* в русском литературном языке XIX столетия. Подобные слова-предложения, известные русскому языку и раньше, получили более широкое распространение во второй половине XIX в. и в начале XX столетия<sup>1</sup>. Примерно через 20 лет после А.А. Шахматова об этом же писал Г.О. Винокур, анализируя язык В. Маяковского. Подобные номинативные слова-предложения получают очень широкое распространение в поэтическом языке Маяковского, что само по себе было бы совершенно невозможно, если бы язык на определенном этапе своего развития не предоставил поэту более широких возможностей в этом плане. Например: «Ночь. Надевайте лучшее платье». Или: «Бульвар. Машина». Или: «Ужин. Курица». Или: «Бабушка с дедушкой. Папа да мама». Любопытно, что не только в поэзии, но и в прозе Маяковского, в частности в автобиографии: «Беллетристики не признавал совершенно. Философия. Гегель. Естествознание. Но главным образом марксизм»<sup>2</sup>. Сами по себе подобные предложения отнюдь не проще предложений развернутых. Наоборот. Предложения, идущие друг за другом, типа «Философия. Гегель» предполагают и «подразумевают» более многоплановый контекст, чем конструкция типа «Я занимаюсь философией и изучаю Гегеля». Возникает более сложный вопрос о новом типе взаимодействия между отдельными предложениями и широким контекстом.

Это уже принципиально иной тип взаимодействия по сравнению с тем, который мы только что обнаружили в старых европейских языках. Новые номинативные предложения теперь опираются на разветвленную систему паратаксиса и гипотаксиса, которая только оформлялась и была еще непрочной в старых европейских языках.

Я сейчас не касаюсь сложного вопроса о генезисе подобного рода конструкций. Хочу лишь подчеркнуть, что их более широкое распространение в литературном языке XX в. сравнительно с XIX столетием лишний раз свидетельствует о том, что *грамматика*

<sup>1</sup> См.: Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. 2-е изд. Л., 1941. С. 50–56.

<sup>2</sup> Винокур Г. Маяковский — новатор языка. М., 1943. С. 77–79; Тимофеева В.В. Язык поэта и время. М., 1962. С. 266–269.

*живого языка никогда не останавливается в своем развитии.* Вместе с тем номинативные конструкции языка XX в. качественно отличаются от, казалось бы, аналогичных конструкций в текстах средних веков и более позднего времени. Поэтому здесь нет «движения по кругу», как очень часто утверждают. Здесь происходит развитие грамматики.

Иногда возражают иначе, подчеркивая, что конструкции типа «Философия. Гегель» — это индивидуальная манера писателя, за которую язык «не отвечает». Никакой поэт, в том числе и столь индивидуальный, как Маяковский, ничего не смог бы сделать с номинативными «словами-предложениями» без опоры на тенденции развития литературного языка его времени. Другой вопрос, что в языке Маяковского, как и в языке других больших писателей нашей эпохи, подобные синтаксические построения обычно получают дополнительную, чисто художественную функцию.

В свое время Л. Шпитцер убедительно показал, какими путями «синтаксические достижения» французских символистов XX столетия оказали воздействие на французский литературный язык их же эпохи<sup>1</sup>. К сожалению, исследователи подобных вопросов обычно никогда не обращают внимания на другую сторону по существу той же проблемы: как грамматика (особенно в сфере синтаксиса) и стилистика подготавливают условия для такого рода «достижений». В разных языках нашего столетия *изменилось соотношение* между простыми и сложными предложениями, между типами порядка слов, появилось много нового в структуре абзаца и ритмике его построения, возникли новые оттенки в интонации и т.д.

Или — ближе к нашему времени — много нового можно обнаружить в соотношении прямой, косвенной и несобственно-прямой речи. У таких больших американских писателей, как Э. Хемингуэй или У. Фолкнер, трудно обнаружить грамматические «швы» переходов от одного из перечисленных видов речи к другому или к другим. Возникает и такой теоретический вопрос: как грамматика английского языка «позволяла» писателям, в том числе и Хемингуэю, и Фолкнеру, не обнаруживать грамматических «швов» при переходе от прямой речи к косвенной, к несобственно прямой речи, как и при противоположных переходах. Проблема не сводится только к мастерству больших писателей. Она имеет и чисто лингвистический аспект: состояние грамматики и стилистики английского языка в нашу эпоху в отличие от их же состояния в предшествующие периоды развития английского языка.

<sup>1</sup> *Spitzer L. Aufsätze zur romanischen Syntax und Stilistik.* Halle, 1918 (глава «Die syntaktischen Errungenschaften der Symbolischen». S. 281–339).

В этом отношении взаимоотношения между любым развитым литературным языком нашей эпохи и языком выдающихся писателей представляет большой интерес для понимания пути развития литературного языка, в том числе, разумеется, и его грамматики.

Отмечу еще одну трудность, которая возникает на пути исследования процесса совершенствования грамматики литературного языка XIX–XX столетий.

Обычно на материале русского языка вопрос ставят так: до начала 20-х гг. XIX в., до эпохи Пушкина, общенародный русский язык и его литературная норма развивались во взаимодействии друг с другом, после же эпохи Пушкина, когда литературный язык, обработанный мастерами художественного слова, приобрел уже у Пушкина явно выраженную дополнительную эстетическую функцию, бывшее взаимодействие стало сводиться на нет, в результате чего «история русского языка в течение XIX и XX веков — это в значительной мере отдельная история общерусского национального языка и языка русской художественной литературы»<sup>1</sup>. Аналогичную концепцию развивает и большинство исследователей западноевропейских языков, лишь по-разному датируя начало отдельной истории «общего языка» и языка художественной литературы.

Подобная постановка вопроса представляется мне не только неверной, но и бесперспективной. Если принять такую концепцию, то становится неясным, как же следует изучать язык писателей XIX–XX вв. без учета постоянного взаимодействия общего (литературный язык) и индивидуального (язык больших мастеров слова)?

Разумеется, язык художественной литературы приобретает, особенно в нашу эпоху, целый ряд специфических черт, отличающих его от общелитературного языка. Но сами эти черты могут быть осмыслены на фоне общелитературного языка данной эпохи. Сама по себе проблема сложна и неувидительны различные ее осмысления. Писатели Бунин и Хлебников — современники, но их отношение к литературному языку было принципиально различным. Пушкин и Тургенев не были современниками, но их отношение к литературному языку оказывалось во многом сходным. «Хаджи Мурат» Л. Толстого и «Симфонии» А. Белого создавались почти одновременно, однако литературный язык этой

<sup>1</sup> Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959. С. 100. Такая же точка зрения защищается и в большинстве более поздних исследований, в частности в кн.: Ковтунова И.И. Порядок слов в русском литературном языке XVIII — первой трети XIX века. М., 1969. С. 227. Взаимодействие синтаксиса литературного языка и синтаксиса языка художественной литературы освещено в ст.: Арутюнова Н.Д. О синтаксических типах художественной прозы // Общее и романское языкознание. М., 1972. С. 189–199.

эпохи представлен в обоих произведениях весьма различно. И все же, несмотря на подобные осложнения, *взаимодействие* общелитературного языка и языка художественной литературы наблюдается и будет наблюдаться во всех случаях.

Представим себе на минуту, что отмеченное взаимодействие в XIX–XX столетиях действительно перестает существовать и что язык писателей начинает функционировать «сам по себе», независимо от литературного языка и его нормы. Тогда надо будет согласиться с мнением Е.Ф. Будде, который совершенно серьезно утверждал, будто язык прозы Л. Толстого «гораздо ниже» языка прозы Тургенева, а язык прозы Гоголя представлялся автору «совершенно не художественным»<sup>1</sup>.

Дело здесь не в наивных «вкусовых ошибках» филолога. Можно было бы вспомнить пословицу — о вкусах не спорят. Все дело, однако, в том, что Е.Ф. Будде судил о языке того или иного писателя неисторично, не учитывая взаимодействия языка данного писателя с общелитературным языком его эпохи. Было бы нелепо отрицать яркую лингвистическую индивидуальность творческой «манеры» Гоголя. И все же даже такая «манера» находилась в зависимости от интенсивного движения литературного языка гоголевской эпохи. Гоголь сам это прекрасно понимал. Имея в виду не только язык, но и все творчество каждого большого художника, Гоголь подчеркивал: подлинный писатель-творец, «постигнувши современность, ставши в уровень с веком», должен уметь «... обратно воздать ему за наученье себя наученьем его»<sup>2</sup>. Это взаимное «наученье» относится, разумеется, и к языку.

Может возникнуть вопрос: какое все это имеет отношение к проблеме совершенствования грамматики в XIX–XX столетиях? Ответу: самое прямое. Если грамматическое совершенствование общелитературного языка за последние полтора—два столетия становится внешне не очень заметным, то привлечение языка больших писателей соответствующей эпохи дает возможность показать, как в процессе взаимодействия индивидуального языка мастеров слова с общелитературным языком происходило обогащение и совершенствование этого последнего не только в области лексики, но и в сфере грамматики и стилистики.

Исследованиям в этой области принадлежит большое будущее. Процесс совершенствования живого языка, тем более языка большой исторической культуры, никогда не прекращается.

<sup>1</sup> Будде Е.Ф. Опыт грамматики языка А.С. Пушкина. СПб., 1904. С. II.

<sup>2</sup> Гоголь Н.В. Авторская исповедь // Соч. Н.В. Гоголя, редакция Н.С. Тихонова. Т. 8. СПб., 1901. С. 42.

---

---

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ИСТОРИЧЕСКОЕ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
НАУЧНОГО  
СТИЛЯ ИЗЛОЖЕНИЯ

Прежде всего и здесь следует различать общее и индивидуальное. На развитом литературном языке малограмотный человек во всех случаях будет писать и говорить плохо, какие бы богатейшие возможности ему ни предоставлял язык. Справедливо и другое: филологически одаренный человек, широко образованный и в общем плане, будет писать и говорить выше «среднего уровня», даже в тех случаях, когда литературный язык, на определенном уровне своего развития, еще не предоставляет человеку таких больших возможностей, какими располагают языки более развитые, уже имеющие длительную литературную традицию. Это бесспорно. Поэтому в дальнейшем меня будет интересовать в первую очередь другое: как в процессе общего становления и движения литературных языков крепили и совершенствовались их выразительные возможности (в самом широком смысле) и как все это способствовало развитию и совершенствованию научного стиля изложения. Язык отдельных больших писателей и ученых учитывается прежде всего в связи с взаимодействием «общего и индивидуального» в истории разных литературных языков<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Как мне уже и раньше приходилось отмечать, термины «научный язык», «художественный язык», как и более дифференцированные — «химический язык», «биологический язык» и т.д., неправомерны: они создают впечатление, что в каждом отдельном языке существует много языков (*contradictio in adjecto*). Поэтому в этих случаях следует говорить не о языках, а о «стилях изложения» или о «вариантах языка». Впрочем, «язык Пушкина», «язык Шекспира» и другие аналогичные словосочетания я сохраняю, учитывая их всеобщее распространение в филологической традиции. Подобные словосочетания обозначают особенности индивидуального стиля писателя на фоне общего языка его эпохи.

---

---

В середине 20-х гг. Л.П. Якубинский писал: «Приступая к исследованию языка нехудожественной прозы..., чувствуешь себя довольно беспомощно. Действительно, мы ведь не имеем никакой научной традиции в этой области»<sup>1</sup>. С тех пор многое изменилось. И у нас, и за рубежом вышло немало книг и статей о «языке науки». Издаются даже специальные журналы, посвященные «языку в эпоху научно-технической революции». И все же слова Л.П. Якубинского о состоянии изучения «языка нехудожественной прозы» в известной мере сохраняют свою силу и в наши дни.

Дело в том, что подавляющее большинство исследований, посвященных «языку науки», выполнено не в филологическом, а в чисто техническом плане. На разных языках опубликованы сотни словарей химических, биологических, физических, геологических, астрономических, кибернетических и многих других терминов, терминологических словосочетаний, терминологических оборотов и т.д. Вся эта работа, сама по себе весьма нужная и полезная для каждой отдельной науки, однако ведется, как общее правило, в отрыве от филологических проблем, которые при этом возникают.

Например: составителей специальных терминологических словарей обычно не интересует вопрос о том, в каких взаимоотношениях с ресурсами общелитературного языка находятся старые и новые термины данной науки, какие термины распространены за ее пределами (в других науках, в общелитературном языке) и какие — являются лишь ее достоянием и т.д. Между тем все эти, как и подобные им вопросы, имеют первостепенное значение и для теории литературного языка, и для каждой отдельной науки.

К сожалению, до сих пор господствует убеждение, на мой взгляд совершенно ошибочное, согласно которому «при изучении научного произведения вопросы стиля, если он удовлетворяет простейшим условиям ясности, не имеют никакого существенного значения»<sup>2</sup>. На разный лад это суждение часто повторяется и в наши дни: «Чтобы написать в наше время научную статью, *не нужно вообще уметь писать*: достаточно иметь в своем распоряжении лишь некоторый, сравнительно ограниченный, набор языковых средств»<sup>3</sup>. Наконец, еще более категорично: «Все научные языки — это искусственные языки»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Леф. М., 1924. № 1. С. 71.

<sup>2</sup> Томашевский Б.В. Стилистика и стихосложение. Л., 1959. С. 8.

<sup>3</sup> Развитие функциональных стилей современного русского языка. М., 1968. С. 131.

<sup>4</sup> Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. М., 1972. С. 21.

При такой постановке вопроса (число аналогичных рассуждений было бы легко увеличить) проблема научного стиля изложения оказывается за пределами филологии. Если согласиться с тем, будто бы «научный язык» является искусственным построением, что для него не существует ни проблемы стиля, ни проблемы мастерства, что он сводится лишь к «набору» самых ограниченных средств выражения, тогда, разумеется, проблема научного стиля изложения оказывается за пределами филологии. К счастью, для самой проблемы научного изложения в действительности все обстоит иначе. Я говорю «к счастью», так как в противном случае, если бы авторы приведенных суждений были правы, тогда не существовало бы и проблемы научного стиля изложения. Усвой минимальный набор искусственных языковых средств, и ты будешь прекрасно писать научные статьи и книги. К этому все бы и сводилось.

Разумеется, в каждом научном стиле изложения есть известный элемент «искусственности». Но что это за «искусственность»? Я умышленно употребляю подобное существительное в кавычках. *Сознательное отношение к языку недопустимо отождествлять с искусственностью.* Тогда и любой стиль художественной литературы нашей эпохи пришлось бы признать искусственным, так как всякий большой писатель глубоко сознательно относится не только к тому, что он изображает, но и к тому, как он изображает (какими средствами языка и как, с какой целью он эти средства использует). Можно утверждать, что любой письменный текст (в том числе и текст, написанный малограмотным человеком, который в процессе письма обычно мучительно «подыскивает» подходящие слова и выражения) в этом плане принципиально отличается от нашей спонтанной разговорной речи — речи, обычно протекающей без предварительного обдумывания ее формы, ее словесного воплощения.

Если сторонники отождествления сознательности и искусственности были бы правы, тогда следовало бы приравнять понятие языка к понятию диалектов и разговорной речи широких слоев населения. «Все остальное» неизбежно оказывается за пределами языка, так как в нашу эпоху все остальные стили языка в той или иной степени всегда предстают сознательными. Не подлежит никакому сомнению, что отождествление сознательности и искусственности резко обедняет само понятие языка во всем многообразии его стилей, его вариантов, его возможностей.

Несостоятельность доктрины, согласно которой научный стиль изложения — это искусственный стиль, легко обнаруживается и исторически.

Начнем с вопросов: почему же потребовались многие столетия в истории европейских языков, прежде чем в их системе выработались известные принципы построения научного изложения? Если проблема сводилась бы к овладению минимальным количеством словесных клише, то для чего же тогда понадобились многие столетия исканий? Совершенно очевидно, что проблема гораздо сложнее и она не допускает отождествления сознательного и искусственного «начал» в самом научном стиле изложения. Как показывает материал европейских литературных языков (аналогичную картину можно обнаружить и в истории языков других континентов), история сложения «языков науки» тесно связана с длительной общей историей формирования и развития литературных языков и была бы немыслима без этой последней.

Нельзя не удивляться, что многие современные ученые, называющие себя филологами, либо не хотят все это понимать, либо не хотят с этим считаться. Между тем крупнейшие ученые-филологи разных времен и разных народов всегда учитывали глубокие внутренние контакты между общелитературным языком их эпохи и научным стилем изложения.

Один из крупнейших математиков XVII столетия Б. Паскаль подчеркивал: «Когда открываешь ученую книгу, язык и стиль которой отличается простотой и естественностью, то невольно изумляешься: ожидаешь встречи с чопорным автором и вдруг перед тобой оказывается простой человек»<sup>1</sup>. При этом уже тогда Паскаль понимал, как важно писать на научную тему прежде всего обычным литературным языком и как трудно это достается каждому ученому. Современные исследователи могут возразить великому мыслителю XVII в., ссылаясь на то, что наука наших дней далеко ушла вперед после Паскаля, поэтому теперь она требует «искусственного кода», почти ничего общего не имеющего с общелитературным языком. В ответ на подобное довольно распространённое возражение прислушаемся к голосу некоторых больших ученых XIX и XX столетий.

По свидетельству близких друзей Ч. Дарвина, великий натуралист стремился писать свои ученые сочинения простым литературным языком, осложненным лишь необходимыми терминами. Основой же научного стиля изложения Дарвин всегда считал общелитературный язык<sup>2</sup>. Перенесемся в середину XX столетия и прислушаемся к более категорическому суждению физика

<sup>1</sup> *Pascal B. Pensées. Paris, 1936. P. 260.*

<sup>2</sup> См.: *Джед Дж. Возникновение и развитие идеи эволюции. М., 1924. С. 77–80.*



А. Эйнштейна: «Большинство фундаментальных научных идей в сущности просты и могут быть выражены понятным каждому литературным языком... В основе любой физической теории лежат не формулы, а идеи и мысли»<sup>1</sup>. Это положение поддерживает и другой крупный ученый: «Для физика возможность описания на обычном языке является критерием того, какая степень понимания достигнута в соответствующей области»<sup>2</sup>. Еще более ярко аналогичные мысли неоднократно развивал и современный французский физик, лауреат Нобелевской премии Луи де Бройль: «С помощью математического языка обычно передают то, что уже достигнуто наукой, но развивать дальше науку можно только на общелитературном языке во всем его богатстве, во всех его безграничных возможностях»<sup>3</sup>.

Эти же мысли всегда были близки и великим русским ученым — математикам и физикам, географам и историкам, специалистам в самых разнообразных областях знания.

Из возможных примеров я приведу здесь только два — старый и новый.

Уже в 1757 г. в предисловии к своей «Российской грамматике» М. Ломоносов, подчеркивая трудности, возникающие в ходе самого изложения мыслей, заметил: «... и ежели чего точно изобразить не можем не языку нашему, но недовольному своему в нем искусству приписывать долженствуем»<sup>4</sup>. Смысл этого положения очевиден: если не умеешь выражать свои мысли, учишь, причем учишь основательно. Свое неумение не перекладывай с большой головы на здоровую (т.е. на язык). В твоём неумении виноват не язык, а ты сам, твое недостаточное владение литературным языком («недовольное в нем искусство»). Здесь уже намечалась целая программа овладения всем языком, а не отдельными его клише, отдельными терминами. Хочешь писать ученые сочинения на родном языке — изволь овладеть всеми его «тайнами», всем его богатством. Такова программа Ломоносова.

А вот уже в наше время академик-филолог А.С. Орлов восхищался, каким прекрасным литературным языком писал свои научные сочинения академик-кораблестроитель А.Н. Крылов. Казалось бы, в области кораблестроения легко ограничиться набором

<sup>1</sup> Цит. по кн.: Мур Р. Нильс Бор — человек и ученый. М., 1969. С. 26; см. также: Эйнштейн А. Физика и реальность. М., 1965. С. 167.

<sup>2</sup> Гейзенберг В. Физика и философия. М., 1963. С. 141.

<sup>3</sup> Broglie L. de. Sur les sentiers de la science. Paris, 1960. P. 392; о языке самого Луи де Бройля см.: La pensée. Paris, 1974. N 178. P. 89–90.

<sup>4</sup> Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 7. Труды по филологии. М.; Л., 1952. С. 392.

стандартных словесных клише. Между тем А.С. Орлов показал, что так поступают обычно лишь средние исследователи. Большой же ученый даже в специальной области знания пользуется всеми ресурсами литературного языка. Ими прекрасно владел, в частности, и А.Н. Крылов. Таким же блестящим литературным языком писали у нас физиолог И.П. Павлов, физик С.И. Вавилов, историк Е.В. Тарле и многие другие выдающиеся ученые нашей эпохи<sup>1</sup>.

Нередко приходится слышать возражения такого рода: но это большая наука, а «средние ученые» пишут не литературным языком во всем его богатстве и разнообразии, а с помощью небольшого набора клише и формул.

В каждой стране, в том числе и у нас, имеются писатели, сочинения которых слагаются на стандартном литературном языке, но это, разумеется, не основание для того, чтобы подлинно художественную литературу связывать со стандартным литературным языком. То же в целом можно сказать и о стиле научного изложения, хотя, как всем понятно, не все ученые бывают Павловыми и Вавиловыми, как не все писатели бывают Тургеневыми и Шолоховыми.

Сказанное отнюдь не означает, что стиль научного изложения нашей эпохи не имеет своей специфики. Разумеется, он ее имеет и о ней речь еще впереди. Я только хочу сказать, что история сложения стиля научного изложения самым тесным образом связана с историей сложения и развития общелитературных языков в различных странах.

Остановлюсь еще на одной попытке резко противопоставить «язык науки» и общелитературный язык. «Допустим, — пишет Б. Рассел, — что я иду с приятелем темной ночью и что мы потеряли друг друга. Мой приятель кричит: “Где вы?” — Я отвечаю: “Я здесь”. Наука не признает такого языка. Она скажет: В 11.32 пополудни, 30 января 1948 года Бертран Рассел находился в пункте 4°3'29" западной долготы и 53°16'14" северной широты»<sup>2</sup>. Ученному казалось, что этим примером он показал полную противоположность «языка науки» и общелитературного языка.

Но это, разумеется, не так. Во-первых, такие слова, как *пополудни, январь, находится, пункт, западный, долгота, северный, широта*, являются достоянием не только «языка науки», но и

<sup>1</sup> См.: Орлов А.С. Язык русских писателей. М.; Л., 1948. С. 177–187 (здесь дан стилистический анализ статьи А.Н. Крылова «Значение математики для кораблестроения»); см. также: Митрофанова О.Д. Язык научно-технической литературы. М., 1973. С. 16–26.

<sup>2</sup> Рассел Б. Человеческое познание. М., 1957. С. 120.

общелитературного языка. Во-вторых, — и это еще существеннее — данная синтаксическая конструкция предложения «языка науки» стала возможной лишь с определенной эпохи (и в английском подлиннике и в русском переводе), когда общелитературный язык достиг известного уровня развития. Я уже не говорю о том, что кроме цифровых уточнений при словах *долгота* и *широта* все предложение «языка науки» строится по такому же принципу, как и предложение общелитературного языка. К тому же и в «обыкновенной жизни» на вопрос «где вы?» каждый может ответить не только «я здесь», но и иначе, с более точным указанием места своего пребывания.

Все это говорит о том, что научный стиль изложения и общелитературный язык не только различаются, как считает Б. Рассел, но и глубоко между собой взаимодействуют.

Именно поэтому история научного стиля изложения тесно связана с историей литературного языка.

## 2

Приступая к специальному анализу прогресса языка в области научного стиля изложения, исследователь и в этом случае не может пройти мимо некоторых общих вопросов, возникающих при изучении самого понятия прогресса.

Человек античного мира иначе относился к окружающей его природе, чем человек средних веков и, тем более, сравнительно с человеком так называемого «нового времени». Подобные различия не могли не коснуться и языка, причем не только его лексики, но и самих способов выражения мыслей и чувств, следовательно, и «конструкций» в широком смысле этого последнего слова. В далеком прошлом люди еще не знали, что такое наука, тем более — теоретическая наука, как не знали они и того, что такое эстетическое восприятие природы. И это все, как и многое другое, накладывало определенный отпечаток на языки той эпохи. Переходя к современности, подчеркнем, что и научно-техническая революция XX столетия тоже, разумеется, не прошла мимо языков человечества. Поэтому само историческое формирование научного стиля изложения, непосредственно связанное с формированием человеческой культуры, во многом было обусловлено отношением людей к окружающему их миру.

И все же показать отмеченную глубокую зависимость не так просто. Разумеется, сравнительно нетрудно привести отдельные эффектные примеры из области лексики. Гораздо сложнее показать зависимость научного стиля изложения в целом от состояния

культуры в определенную эпоху. В дальнейшем будет сделана попытка обратить внимание лишь на некоторые проблемы этой очень большой темы.

В литературных памятниках самых разных жанров и у самых различных народов встречаются постоянные жалобы авторов на затруднения, возникающие при выражении той или иной мысли, того или иного чувства. У древних римлян *nescio quid* 'не знаю как (сказать)', у русских *как бы это сказать* или *так сказать*, у немцев *ich weiss nicht*, у французов *je ne sais quoi*, у англичан *so to say*, у итальянцев *non so che*, у испанцев *no sé qué* и т.д. К сожалению, до сих пор исследователи интересовались лишь стилистическим аспектом подобных «не знаю, как сказать» или «так сказать» и почти совсем не интересовались их собственно языковой и — еще глубже — понятийной природой<sup>1</sup>.

Известно, что история европейских и других литератур знала и знает отдельных писателей, «темная манера изложения» которых была умышленной, нарочитой. В Европе, в частности, такие писатели разных эпох были в Германии и Испании, во Франции и Италии, в Англии и России и в некоторых других странах. Ф. Лопе де Вега, современник лирического поэта Испании Л. Гонгоры (1562–1635), постоянно жаловался, что он не понимает смысла целого цикла стихотворений Гонгоры «Уединения». Жалобы относились прежде всего к языку поэта, к его манере передавать свои мысли и чувства. Лопе де Вега считал, что Гонгора «румянит не только щеки своей поэзии, но и ее нос, ее подбородок»<sup>2</sup>. Значительно раньше у некоторых провансальских лириков культивировалась особая манера письма, позднее получившая название «темная манера» (букв. *trobar clus* 'закрытое изложение'). Такие произведения, прежде всего стихотворения, предназначались для немногих, так называемых избранных читателей, хотя и они не столько понимали, сколько догадывались (сплошь и рядом ошибаясь) о намерениях автора<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Ср., впрочем, одну из немногочисленных статей на эту тему с интересным названием: Köhler E. Je ne sais quoi. Ein Kapitel aus Begriffsgeschichte des Unbegreiflichen // Romanistisches Jahrbuch. Hamburg, 1954. Bd VI. S. 21–58. Итальянский писатель Э. де Амичис в своей известной книге о родном языке (*L'idioma gentile*. 1-е изд. 1905) создает даже особую главу «Il signor Coso» букв. 'Как бишь его...?'

<sup>2</sup> Келли Д. Испанская литература. М., 1923. С. 202–206; интересный материал см. в кн.: Bahner W. Beitrag zur Sprachbewusstseins in der spanischen Literatur des XVI und XVII Jahrhunderts. Berlin, 1971. S. 103–110.

<sup>3</sup> В провансальской хрестоматии Ж. Англада (*Anglade J. Anthologie des troubadours*. Paris, 1953) сделана попытка перевести некоторые из этих «темных стихотворений» на современный французский язык; см. также: *Camproux Ch. Histoire de la littérature occitane*. Paris, 1971. P. 58.

У Менендеса Пидалья, крупнейшего знатока истории испанской культуры и романского средневековья, были все основания считать, что «темная поэзия» нигде и никогда не была народной и всегда отличалась искусственностью<sup>1</sup>. И все же нельзя не считаться с тем, что она имела своих, хотя и немногочисленных, сторонников, и — что особенно интересно — возрождалась в разные эпохи, в том числе и в XIX—XX столетия. Достаточно здесь назвать, например, имена английского поэта Р. Браунинга (1812—1889), французского поэта С. Малларме (1849—1898) и ирландца Д. Джойса (1882—1941). В последнем случае «темная манера» уже распространялась на произведения, написанные прозой.

Здесь может возникнуть вопрос: какое отношение все это имеет к истории научного стиля изложения? Я сейчас постараюсь показать существующую здесь связь.

Прежде всего следует строго различать «темную манеру» изложения, создаваемую умышленно (по тем или иным причинам, с тем или иным намерением), и «темную манеру», возникающую из-за трудностей языка, из-за недостаточного развития самих средств языка. Л. Гонгора и В. Шекспир были современниками, но в то время как первый сознательно писал в «темной манере», второй обычно стремился к народности, рассчитывал на самую широкую аудиторию. Тем не менее современный читатель часто «наталкивается» на малопонятные места и у Шекспира, вызванные не только сложной символикой его образов, но и трудностями его языка. Поэтому нельзя не согласиться с Б. Брехтом, когда он замечает: «Если кто-нибудь скажет: “Чтобы читать Шекспира, ничего не надо”, я могу только ответить — попробуйте!»<sup>2</sup>.

Еще И. Тен в своей «Истории английской литературы» отмечал «темные места» (в чисто языковом отношении) у английского драматурга<sup>3</sup>. В языковом отношении между поэтикой Гонгоры и поэтикой Шекспира были все же и точки соприкосновения, хотя первый находился во власти «темной манеры», а второй стремился к общедоступности и народности. Эти точки соприкосновения обнаруживаются, в частности, в трудностях языка: и тому и другому писателю приходилось преодолевать «трудности языка». Оба языка — и испанский и английский — находились в первой половине XVII столетия в стадии интенсивного роста.

<sup>1</sup> См.: Менендес Пидаль Р. Избранные произведения. М., 1961. С. 72—74.

<sup>2</sup> См. об этом: Аникст А. Шекспир. Ремесло драматурга. М., 1974. С. 13, 277.

<sup>3</sup> См.: Тен И. Развитие политической и гражданской свободы в Англии в связи с развитием литературы. Ч. 1. СПб., 1871. С. 384 (под таким названием была переведена у нас кн. И. Тена «История английской литературы»).

Поэтому даже писателям такого масштаба, как Шекспир, было не всегда легко разобраться в норме языка своей эпохи.

Сказанное теперь можно проецировать в сферу стиля научного изложения. Если в ту эпоху нелегко было в сфере стиля художественной литературы, то еще труднее оказалось в сфере научного стиля, так как первый мог уже опираться на предшествующую традицию, второй же подобной традиции почти не имел вовсе (напомним, что вплоть до начала XIX столетия латынь выступала в роли постоянного соперника родного языка в сфере науки).

Вернемся, однако, к «темным местам» в художественной литературе с тем, чтобы уточнить соотношение области поэтики и области лингвистики.

Если сравнить, например, «темные места» в текстах Шекспира и «темные места» в текстах прозаика нашего столетия Дж. Джойса, то назначение подобных мест окажется уже принципиально различным. У Джойса они, как правило, создаются умышленно и оказываются плодом его общей поэтики, у Шекспира же «темные места» — отнюдь не результат его поэтики, а результат общего состояния английского литературного языка на рубеже XVII столетия.

Какие же основания могут подтвердить сказанное? Таких оснований достаточно много. Известно, что современники Шекспира никогда не жаловались на «темные места» в его сочинениях. Лишь гораздо позднее отдельные места в драмах и комедиях Шекспира стали требовать лингвистических комментариев с позиции языка другой эпохи. Между тем современники таких писателей, как Малларме или Джойс, уже не понимали многих мест в их сочинениях<sup>1</sup>. Именно поэтому, на мой взгляд, проблема «темных мест» у писателей типа, например, Малларме или Джойса — это проблема прежде всего их поэтики, а у таких писателей, как Шекспир, — это проблема прежде всего лингвистики (состояния языка определенной эпохи).

Так может быть обнаружена неодинаковая природа «темных мест» в языке и стиле писателей, не только несходных по размерам своего дарования, но и несходных по эпохам, по степени развития литературных языков, с помощью которых они передавали свои мысли и чувства.

Но и здесь следует внести уточнение. Приведенные примеры могут создать впечатление, что «темные места» в тексте могли

---

<sup>1</sup> «Малларме непереволим даже на французский язык» (*Ренар Ж.* Избранное. М., 1946. С. 76). И это отзыв одного французского писателя о другом французском писателе, его современнике!

иметь лингвистический аспект лишь в далеком прошлом, а в «новое время» аналогичные места в тексте — лишь результат странной поэтики их авторов. Но проблема сложнее.

Когда появилась поэма Р. Браунинга «Сорделло» (1840), то Теннисон заявил, что он ничего в ней не понял прежде всего по лингвистическим основаниям, а Карлейль написал автору поэмы с просьбой разъяснить его жене (Карлейль в переписке любил выступать от имени своей жены), «является ли “Сорделло” поэмой о человеке, о городе или о Луне» и собственно на каком языке она написана. Когда же С. Малларме на похоронах П. Верлена произнес речь, то собравшиеся долго не могли понять, о ком и о чем говорил выступавший и на каком языке он выражал свои мысли<sup>1</sup>. Я привожу эти факты для того, чтобы еще раз подчеркнуть широкий диапазон причин, способных вызвать «темные места» в определенном контексте. Подобные случаи нельзя объяснять лишь странностями авторов (хотя и странности здесь не исключаются). Аналогичные «темные места» требуют и лингвистического анализа: что именно неясно, какую роль в создании неясностей играет язык и какую роль — фантазия или поэтика отдельных авторов. Нельзя не сожалеть: эти вопросы остаются почти совсем необследованными и неизученными.

Теперь необходимо вернуться к функциям словосочетаний «не знаю, как», «не знаю, как сказать».

Здесь тоже следует провести уже знакомое нам разграничение: собственно лингвистическая функция подобных словосочетаний и их более свободная стилистическая устремленность.

Когда французский поэт XVI в. К. Маро (1496–1544) жалуется, что ему трудно передать красоту характера прекрасного человека, то в этом случае словосочетание «не знаю, как» могло быть вызвано стилистическими соображениями (можно так, а можно и иначе). Но когда его современник И. Дюбелле в своем трактате «Защита и прославление французского языка» (1549) сетует на общие трудности определения («не знаю, как») особенностей одного языка в отличие от особенностей другого или других языков, то эта же формула «не знаю, как» свидетельствует о реальных языковых трудностях передачи конкретных понятий, ставших актуальными в определенную эпоху<sup>2</sup>. То же следует сказать и о «не знаю, как» у Вольтера, когда он в своем «Философском словаре» (1764) жалуется на трудности определения значения таких

<sup>1</sup> Парандовский Ян. Алхимия слова. М., 1972. С. 204–205. Но Малларме находил и защитников (Э. и Ж. де Гонкур. Дневник. Записки о литературной жизни. Т. 1. М., 1964. С. 437).

<sup>2</sup> Darmesteter A., Hatzfeld A. Le XVI siècle en France. Paris, 1897. P. 177, 200.

слов, как *grâce* ('милость', 'пощада', 'благодарность', 'изящество' и ряд других значений), и предлагает их только описывать, но не определять<sup>1</sup>. «Не знаю, как» в подобных случаях выступает в роли сигнала языковых и понятийных затруднений.

Разумеется, между двумя основными видами словосочетаний типа «не знаю, как» нет четкой грани (они могут соприкоснуться и даже переходить друг в друга) и все же собственно языковая и собственно стилистическая их функция очевидны в истории многих литературных языков. На мой взгляд, можно утверждать: чем более развит литературный язык, тем меньше оснований у людей, хорошо им владеющих, прибегать к словосочетаниям типа «не знаю, как» и тем больше, следовательно, у самих подобных словосочетаний оснований переключиваться из сферы языковой и понятийной в сферу своеобразного стилистического «коккетства» («будто бы и не знаю», как передать ту или иную мысль, чувство, состояние). В этом смысле можно констатировать, что частота употреблений «не знаю, как» в лингвистическом плане находится в зависимости от общего уровня развития данного литературного языка, тогда как стилистический план подобных словосочетаний оказывается в сфере индивидуальной «манеры» тех или иных писателей, ученых, общественных деятелей и т.д.

## 3

Формирование научного стиля изложения в европейских языках растянулось на многие столетия. Еще на рубеже XI в. немецкий ученый-монах Ноткер (ок. 952–1022 гг.), переводя ученые сочинения с латинского языка на немецкий, пытался как-то развить немецкий «язык науки», но на протяжении многих последующих веков немецкие ученые предпочитали писать по-латыни, считая немецкий язык непригодным для задач и целей науки. Достаточно сказать, что даже в XIX столетии великий немецкий физик и математик К. Гаусс (1777–1855) публиковал свои сочинения главным образом на латинском языке. Все это свидетельствует о том, как исторически сложно и трудно формировался стиль научного изложения на родном языке.

В свое время историк науки Л. Ольшки собрал интересный материал, относящийся к взаимодействию между процессом формирования тех или иных областей научного знания и процессом формирования соответствующего языка<sup>2</sup>. К сожалению, однако,

<sup>1</sup> *Voltaire F.* Dictionnaire philosophique. Paris, 1956. P. 30.

<sup>2</sup> См.: *Ольшки Л.* История научной литературы на новых языках. М.; Л., 1934. В русском переводе книга вышла в трех томах.



языкового материала Ольшки при этом не анализировал. В дальнейшем я попытаюсь в самых общих чертах обратить внимание на эту сторону проблемы.

Развитие науки стало «требовать» и соответствующей языковой формы для своего выражения. Известно, что до начала XIX столетия наука формировалась в значительной степени как нечто целое, еще не зная строгого деления на отдельные области знания. Даже разграничение «общественные науки — естественные науки», столь обычное в наше время, не проводилось хоть сколько-нибудь строго почти до начала XIX в. Крупные ученые-естествоиспытатели нередко выступали одновременно и как философы, историки, публицисты. Поэтому до начала XIX в. и стиль научного изложения в значительной степени еще не знал дифференциации и складывался как нечто единое, почти не ощущая необходимости выступать то в виде «математического стиля», то в виде «химического» или «медицинского» стилей и т.д. При этом надо учитывать еще один фактор: до начала XVII столетия наука еще не знала никаких символических знаков даже для самых простых арифметических или геометрических действий. Корни, степени и прочие символы, столь обычные в наше время, не существовали ни в средние века, ни в эпоху Возрождения. Все приходилось описывать словами<sup>1</sup>. Поэтому и неудивительно, что *стиль научного изложения на протяжении ряда веков складывался как нечто сравнительно целостное*, в равной степени пригодное и для математического, и для биологического, и для исторического изложения.

Математические знаки (в широком смысле, включая и знаки, употребляемые в технических науках) стали впервые возникать в XVII столетии в Германии и во Франции и вскоре появились и в других странах. К этому надо прибавить, что и первые научные журналы (еще без дифференциации разных областей знания) начали публиковаться лишь во второй половине того же XVII в. во Франции и в Италии. Все это сравнительно легко объясняет, почему научный стиль изложения выступал как нечто целостное во всех европейских языках на протяжении довольно длительного времени.

Как мы уже знаем, очень сильным конкурентом научного стиля изложения на родном языке была в течение многих веков латынь. Привычка писать научные сочинения по-латыни сохранялась вплоть до второй половины XIX столетия. В свое время Я. Буркхардт в своей известной книге о культуре Италии привел

<sup>1</sup> Там же. Т. 2. С. 47.

многочисленные доказательства подобной устойчивости латыни в сфере науки в разных странах<sup>1</sup>.

В XVI столетии Монтень изучил латынь раньше, чем свой родной французский язык. В богатом доме родителей писателя все (в том числе и слуги) говорили по-латыни. Все это уже переступало границы науки. Позднее писатель сам рассказал об этом в своих «Опытах»: «Мой домашний учитель совершенно не знал французского языка, но прекрасно владел латынью. Он и его двое помощников... в разговоре со мною пользовались только латынью. Что касается остальных, то тут соблюдалось нерушимое правило, согласно которому ни отец, ни мать, ни лакей или горничная не обращались ко мне с иными словами, кроме латинских... На седьмом году жизни я столько же понимал французский язык, сколько, скажем, и арабский...»<sup>2</sup>. И все же, когда в 1580 г. в возрасте сорока семи лет Монтень опубликовал первые две книги своих «Опытов», они оказались написанными на французском языке, а не по-латыни.

Иногда, ссылаясь на подобные факты, утверждают, что победа живых литературных языков над латынью в сфере науки произошла в западноевропейских странах уже в конце XVI столетия. Но это не так. Латынь еще долго сохраняла свою силу.

В XVI столетии во всех странах Западной Европы господствовало убеждение, согласно которому живые языки, т.е. общенародные языки, слишком быстро «портятся». В другом месте (гл. I, разд. 4) я уже отмечал, что в те времена изменения, постоянно происходящие в любом живом языке, рассматривались как «порча» этих языков. Понятие «изменение языка» и понятие «порча языка» тогда полностью отождествлялись. Поэтому Монтень из скромности и своеобразного авторского кокетства, не рассчитывая на долгую жизнь своей книги, выбрал «непрочный французский язык» и отказался от «прочной и вечной латыни». Как видим, Монтень и его современники были еще далеки от понимания национального значения «языка науки», от понимания роли научного стиля изложения в процессе развития общелитературного языка своей страны и своей эпохи.

И все же раздумья Монтеня — на каком языке писать научное сочинение, по-латыни или на родном языке? — сами по себе весьма знаменательны. Начиная с эпохи Возрождения, родной язык начинает стучать, вначале еще очень робко, в дверь «храма

<sup>1</sup> См.: Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. Т. I. СПб., 1904. С. 224–225.

<sup>2</sup> Монтень М. Опыты. Кн. I. М.; Л., 1960. С. 224–225.

науки». Но и латынь не сдавалась без боя. Даже Г. Галилей (1564–1642), часто писавший свои сочинения на родном ему итальянском языке, с кафедры всегда говорил по-латыни<sup>1</sup>. И все же голоса в защиту родного языка в XV–XVI вв. звучат нередко. О «недостаточности латыни» для выражения современных ему научных понятий говорил, в частности, итальянский архитектор и художник Л. Альберти (1404–1472)<sup>2</sup>. Гораздо более смело в следующем столетии об этом же писал Ф. Рабле. Автор знаменитого романа даже высмеивает претензии латыни на «высокую науку» во всех случаях, в том числе и там, где подобной науки никогда и не было. Отсюда и сатира на будто бы существовавшие латинские трактаты на тему «О разгрызании свиного сала, сочинение в трех книгах»<sup>3</sup>.

Но одной сатирой и слишком общими заявлениями победить латынь как «язык науки» было все же трудно. Поэтому латынь еще долго продолжала господствовать в сфере науки. Каковы же были последствия подобного господства?

Важнейшее из подобных последствий — неприспособленность живых литературных языков для передачи и выражения научных понятий того времени, отсутствие благоприятных условий для развития стиля научного изложения на родном языке. Даже у такой личности эпохи Возрождения, как Леонардо да Винчи (1459–1519), в частности, в его знаменитом «Трактате о живописи», написанном по-итальянски, современные читатели постоянно «наталкиваются» на предложения, о смысле которых можно только догадываться. Вот, например, как определяется в буквальном переводе слово *наука* на первых же страницах упомянутого трактата: «Наукой называется такое умственное размышление (*quel discorso mentale*), принципы которого с начала и до конца строятся так, будто в природе ничего нельзя найти другого, что одновременно было бы частью этой же самой науки (*in natura null'altro cosa si può trovare, che sia parte d'essa scienza*)»<sup>4</sup>.

Разумеется, можно любоваться спонтанной непосредственностью такого рода определений, как это неоднократно и делали историки науки и искусства<sup>5</sup>, но нельзя все же не видеть трудностей

<sup>1</sup> Banfi A. Vita di Galileo Galilei. Milano; Roma, 1930. P. 5.

<sup>2</sup> См.: Ольшук Л. Указ. соч. Т. 1. С. 37–38.

<sup>3</sup> Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. М., 1966. С. 188–192.

<sup>4</sup> Leonardo da Vinci. Trattato della pittura. Milano, 1900. P. 2 (1-е изд. вышло только в 1651 г.: трактат был составлен из фрагментов сочинений автора, собранных и изданных Ф. Мельчи).

<sup>5</sup> В частности: Эфрос А. Леонардо-писатель // Леонардо да Винчи. Избранные произведения. Т. 2. М., 1935. С. 324.

не только логического, но и чисто языкового характера, которые возникали в ту эпоху даже у великих представителей науки и искусства.

Вот еще, почти наугад взятые, предложения из сочинений того же автора в максимально точном переводе: «Любящий движется любимой вещью, как материал — формой, ощущение — ощущением, и с собой объединяет и делается вещью единой». Или: «Вещь, будучи познана, пребывает вместе с интеллектом нашим»<sup>1</sup>. Современный читатель подобных предложений может захотеть уточнить здесь многое: и как это вещь может «пребывать с интеллектом», и что означает движение «любящего любимой вещью»? Как бы предвидя возможные недоумения настоящих и будущих своих читателей, Леонардо сопровождал подобные изречения многочисленными рисунками, чертежами и схемами.

Будущий исследователь постарается показать, что в подобного рода затруднениях было обусловлено логико-понятийными причинами и что — причинами чисто языкового характера (прежде всего — синтаксического и лексического). Пока же эта трудная и важная работа никем еще не проделана. Учитывая, однако, что сами ученые и писатели той эпохи постоянно жаловались и на языковые затруднения, можно утверждать, что последние были обусловлены уровнем развития научного стиля изложения. Не случайно поэтому именно в ту эпоху публикуются различные статьи и книги «в защиту родного языка», в которых настойчиво проводится мысль о целесообразности «работы над языком», над его совершенствованием. Подобные выступления были в разных странах, но особенно знаменитым стал уже упоминавшийся трактат видного французского поэта XVI столетия И. Дюбелле, само название которого отвечало требованию того времени — «Защита и прославление французского языка» (1549). Здесь взволнованно и страстно проводилась мысль о том, что «прославить» язык нельзя, если одновременно не работать над его усовершенствованием. Синтаксис и стилистика, слова и словосочетания должны быть на уровне «новых требований эпохи». Не менее существенна и норма языка: она не должна быть расшатанной<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Леонардо да Винчи. Избранные произведения. Т. 1. С. 97–98. Последнее предложение особенно знаменательно, так как Леонардо считал науку основой всякого искусства (об этом см.: Гуттузо Р. Микеланджело — человек и художник // Вопр. философии. 1975. № 11. С. 115–116.

<sup>2</sup> Подробнее см.: Будагов Р.А. Понятие о норме литературного языка во Франции в XVI–XVII веках // Вопр. языкознания. 1956. № 5.

Формирование стиля научного изложения («языка науки») протекало совсем не просто и в России. Когда в 1619 г. М. Смотрицкий издал свою большую «Граматику», то ее текст плохо понимали не только современники автора, но и его потомки. Вот, например, что сообщает Б.А. Ларин, прекрасный знаток старых русских текстов: «... мне приходится иногда трижды и четырежды перечитывать какую-нибудь фразу Смотрицкого, и я не всегда уверен, что до конца и как следует ее понимаю»<sup>1</sup>. Но, если так писались «грамматики», то легко представить, как излагались сочинения, по своей тематике не относящиеся к русскому языку. Но вот проходит почти целое столетие, и в 1703 г. Л. Магницкий выпускает свою «Арифметику», получившую по тем временам широкое распространение. Позднее Ломоносов будет считать эту книгу «вратами учености». Между тем современному читателю текст Магницкого понять почти так же трудно, как и тексты Смотрицкого. Вот, например, одно предложение (весьма типичное) из предисловия автора к его «Арифметике»: «Аще об очи чувственнии помогают умным, вся являемая рассуждати сице и вся внешняя доволства, подают свободу и помощь внутренним силам, в действиях их сиречь, излишних печалей освобождают, мир и тишину в души поставляют, и вся яже ко украшению нуждая, и елика к поспешению потребна суть подают»<sup>2</sup>.

Поэтому и неудивительно, что проблема научного стиля изложения стала горячо обсуждаться в России не только в XVIII, но и в начале XIX столетия, в эпоху Пушкина.

В 1824 г. в черновом отрывке о «причинах, замедливших ход нашей словесности» Пушкин писал: «Метафизического языка у нас вовсе не существует; проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных...» Через год в письме к П.А. Вяземскому Пушкин возвращается к этому же вопросу: «Когда-нибудь должно же и в слух сказать, что русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии»<sup>3</sup>. В конце XVIII и в первой трети XIX столетия прилагательное *метафизический* употреблялось у нас чаще всего в значении «философский», а *метафизик* — в значении «философ». Когда в 1789 г. Н.М. Карамзин посетил в Веймаре немецкого философа Гердера, то позднее,

<sup>1</sup> Ларин Б.А. Лекции по истории русского литературного языка. М., 1975. С. 302.

<sup>2</sup> Фрагменты из «Арифметики» Магницкого см. в кн.: Хрестоматия по истории русского языка. Ч. 2. Вып. 1. М., 1949. С. 122–129.

<sup>3</sup> Пушкин А.С. Полн. собр. соч. М., 1937–1949. Т. XI. С. 21; Т. XIII. С. 187.

в «Письмах русского путешественника», Карамзин вспоминал Гердера как «глубокомысленного *метафизика*»<sup>1</sup>. В таком же значении *métaphysique* широко бытовало и во Франции, в особенности в XVIII в. Ж.-Ж. Руссо, в частности, желая похвалить Д. Дидро, называл его «великим *метафизиком*»<sup>2</sup>.

Все это говорит о том, что в устах Пушкина прилагательное *метафизический* в значении ‘философский’ не было случайным, хотя В.В. Виноградов считал, что в двух приведенных пушкинских контекстах *метафизический* по значению ближе к прилагательному *исторический*, чем *философский*<sup>3</sup>.

Учитывая возможность разных осмыслений самого слова *метафизический*, можно считать, что в 20-х гг. XIX столетия Пушкин остро ощущал важность и необходимость дальнейшего развития стиля историко-философского изложения, т.е. говоря современным языком, — *стиля научного изложения*. И Пушкин не был здесь одинок. В 1827 г. о трудностях русского «языка рассудка» писал Д.В. Веневитинов, а в 1836 г. П.И. Надеждин в журнале «Телескоп» призывал к созданию таких слов, словосочетаний и выражений, которые были бы способны передавать новые идеи века<sup>4</sup>. Количество подобных свидетельств можно было бы легко увеличить.

В ту пору трудности «языка науки» (или «языка рассудка», по Веневитинову) были не только теоретическими, но и практическими.

Когда в 1802–1806 гг. в Петербурге в переводе на русский язык вышло четырьмя выпусками знаменитое «Исследование свойства и причин богатства народов» А. Смита, то его переводчик Н. Политковский, образованный человек своего времени, писал в предисловии к переводу, обращаясь к министру финансов: «Простите великодушно, есть ли в переводе сем усмотрите некоторые недоразумения или неясности... Сей предмет... по отвлеченности своей и для самого Автора казался затруднительным к выражению со всею ясностию...»<sup>5</sup>. В этом признании следует обратить

<sup>1</sup> Карамзин Н. Избранные произведения. Т. I. М., 1964. С. 137.

<sup>2</sup> Rousseau J.J. Les confessions. Paris, 1962. P. 326 (на этой странице встречается и *métaphysique*, и *métaphysicien*).

<sup>3</sup> См.: Виноградов В.В. Стиль Пушкина. М., 1941. С. 522.

<sup>4</sup> Телескоп. М., 1835. XXXI. С. 233. Н.И. Надеждин, один из первых у нас в стране, сумел обосновать зависимость художественной литературы от развития литературного языка, сила которого, в свою очередь, во многом обусловлена состоянием художественной литературы (о Надеждине см.: Вопр. литературы. 1962. № 6. О роли художественной литературы, языка писателя см.: Будагов Р.А. Писатели о языке и язык писателей. 2-е изд., доп. М., 2001).

<sup>5</sup> Цит. по кн.: Аникин А. Адам Смит. М., 1968. С. 223. (Сер. «Жизнь замечательных людей».)

особое внимание на слова об «отвлеченности предмета» и на затруднения «к выражению», такому выражению, чтобы тебя, переводчика, поняли «со всею ясностью». Н. Политковский был убежден, что и самому автору английского текста не так легко все это доставалось.

Даже значительно позднее, в 1845 г., когда русский литературный язык уже далеко продвинулся вперед и располагал многочисленными научными текстами, созданными выдающимися мастерами этого жанра, В.Г. Белинский в рецензии на «Грамматические разыскания» В.А. Васильева все же подчеркивал: «Как еще беден русский язык для выражения предметов науки, общечеловечности, — словом, всего отвлеченного...»<sup>1</sup>. Это признание тем более знаменательно, что сам В.Г. Белинский сделал удивительно много для развития русского научного стиля изложения.

Разные возможности разных литературных языков в зависимости от их общего уровня развития особенно наглядно обнаруживаются при их сопоставлении. В свое время Лукреций жаловался, что по сравнению с греческим языком латинскому языку трудно передавать отвлеченные представления, а через сто лет после Лукреция Сенека повторит его утверждения о «бедности (*egestas*) латинского языка», причем «бедность» относилась не только к лексике, но и к синтаксису. Как показал И.М. Тронский, смысл первого параграфа закона 12 таблиц можно передать так: «... при отказе ответчика в присутствии свидетелей последовать в суд истец вправе арестовать ответчика». Латынь середины V в. до н.э. передавала это таким образом: «... если зовут в суд, пусть идет, если не идет, пусть обратится к свидетелям, затем пусть его задержат»<sup>2</sup>. Как видим, в ту эпоху даже на латинском языке было трудно передать мысль с помощью сравнительно сложных синтаксических структур предложения, опирающихся не только на сочинительные, но и на подчинительные грамматические отношения. Таких структур почти не существовало. Между тем стилю научного изложения нелегко обойтись без помощи подобных ресурсов языка. В разных языках в разные эпохи постепенно формируются подобные ресурсы.

Знаток провансальского языка и провансальской литературы Ш. Кампру считает, что на современном провансальском языке трудно написать научную книгу по физике или по философии: история этого языка сложилась так, что он употреблялся главным

<sup>1</sup> Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Т. IV. М., 1955. С. 226.

<sup>2</sup> Тронский И.М. Очерки из истории латинского языка. М.; Л., 1953. С. 131; см. также: Покровский М.М. Материалы для исторической грамматики латинского языка. М., 1899. С. 52–60.

образом в быту и в поэзии, но не имел благоприятных условий для проникновения в сферу науки<sup>1</sup>. Поэтому в наши дни провансальский язык оказывается малопригодным для научного стиля изложения. Здесь тоже требуется опыт, детерминированный историческими условиями развития языка и культуры народа. Эти условия могут быть благоприятными или неблагоприятными для научного стиля изложения.

Разумеется, русский язык как язык мирового значения имел совсем другую судьбу, чем провансальский. Сравнение с провансальским, как и предшествующее сравнение с латинским, преследует другую цель: необходимо подчеркнуть, что развитие научного стиля изложения находится в зависимости от общего состояния литературного языка, научных знаний в данной стране и на данном языке.

Зависимость эта, хотя и бесспорная, может, однако, осложняться во времени. В России, например, наука уже в предшествующие столетия и особенно в XVIII в. сделала большие успехи и выдвинула целый ряд выдающихся ученых, но все же к началу XIX столетия русский стиль научного изложения в системе общелитературного языка еще только формировался, и Пушкин был прав в своих суждениях о недостаточной степени развития этого стиля («метафизического языка»).

В эпоху Пушкина проблема стиля научного изложения стояла остро по целому ряду причин. Дело в том, что само понятие прозы выступало тогда нерасчлененно. Как недавно было показано в специальном этюде, «все, что не стихи», относилось тогда к прозе, без различия художественной прозы и стиля научного изложения. Противопоставление «стихи — проза» мешало разглядеть сложный состав самого понятия «проза»<sup>2</sup>. Как бы ни сближался в наше время стиль научного изложения с художественной прозой (в особенности у литературно одаренных ученых), все же эти два вида «прозы» принципиально различны и выполняют различную функцию. И в нашу эпоху это закономерно: весьма осложнились и стали весьма разнообразными формы и виды коммуникации между людьми. Не так еще было в эпоху Пушкина.

И все же замечания Пушкина о «метафизическом языке» позволяют утверждать, что именно Пушкин, в числе первых у нас писателей и общественных деятелей, почувствовал необходимость развития и *разделения прозы*, в частности необходимость

<sup>1</sup> *Camproux Ch.* Histoire de la littérature occitane. Paris, 1971. P. 239–240.

<sup>2</sup> *Сидяков Л.С.* Пушкинская проза и задачи ее изучения // Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и языка. 1975. № 5. С. 419.



выделения и некоторого обособления особой разновидностью прозы — стиля научного изложения («метафизического языка»). Другой вопрос, что с позиции стилистики и поэтики наших дней стиль научного изложения к прозе, как к понятию художественной литературы, теперь уже не относится. В эпоху нерасчлененного осмысления прозы вопрос решался иначе.

Чтобы понять глубину новаторской постановки проблемы у Пушкина, надо обратиться к XVIII столетию.

В ту эпоху художественной прозы в современном ее толковании вовсе не существовало. Ораторское искусство рассматривалось как главная разновидность художественной прозы. Сумарокову, например, церковная проповедь представлялась произведением искусства<sup>1</sup>. Положение не сразу изменилось и в первой трети XIX в. Б.М. Эйхенбаум писал об этом периоде русской культуры: «Собственной позиции проза еще не имела — она воспринималась и оценивалась на фоне стиха, с которым конкурировала в сладкозвучии и ритмизации»<sup>2</sup>. В свое время В.В. Виноградов собрал большой материал, относящийся к этому же времени. Многие писатели и общественные деятели тогда подчеркивали: «Стихов довольно, надо развивать прозу»<sup>3</sup>. Пушкин пошел дальше: необходимо не только «вообще» развивать прозу, необходимо развивать ее типы и формы, необходимо *понять особенности научного стиля* изложения в отличие от стиля художественной литературы. И это было важным открытием не только самого Пушкина, но и эпохи, которая требовала расчлененного развития прозы.

Пушкин и здесь оказался новатором, но новатором, который только начал создавать стиль научного изложения. К середине XIX в. стиль научного изложения самого Пушкина уже не вполне удовлетворял многих. И это понятно. Успехи науки и техники (в самом широком смысле) предъявляли и к «языку науки» все новые и новые требования.

В 1855 г. В.С. Аксакова в своем «Дневнике» записала: «Продолжаю читать Пушкина; замечательного, любопытного чрезвычайно много, но... автор просто путается в языке» (речь шла прежде всего о прозе)<sup>4</sup>. За два года до этой записи Л. Толстой в своем «Дневнике» регистрирует: «Я читал “Капитанскую дочку” и, увы! должен сознаться, что теперь проза Пушкина стара... В новом

<sup>1</sup> См.: Берков П.Н. Ломоносов и проблема русского литературного языка // Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и языка. 1937. № 1. С. 19–20.

<sup>2</sup> Эйхенбаум Б.М. Путь Пушкина к прозе // Пушкинский сборник памяти профессора С.А. Венгерова. М.; Пг., 1923. С. 60.

<sup>3</sup> Виноградов В.В. Стиль Пушкина. М., 1941. С. 515 и сл.

<sup>4</sup> Дневник В.С. Аксаковой. СПб., 1913. С. 93.

направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самих событий. Повести Пушкина голы как-то»<sup>1</sup>.

Это признание очень важно для понимания развития русской прозы во второй половине XIX в. Разумеется, в лапидарной записи в «Дневнике» Толстой не все договаривает, но запись сама по себе весьма показательна. Дело, конечно, не в том, что «подробности чувства» будто бы вообще вытесняют интерес к «самим событиям». Толстой хочет сказать другое: его не удовлетворяет простое изложение «самых событий» без описания «подробностей чувств», которые возникают при осмыслении самих событий. Толстого интересует *авторская позиция, авторское отношение к событиям*. В этом — суть дела.

Сказанное целиком относится и к стилю научного изложения, где «подробности чувства» могут выступать как «подробности описания и осмысления» самих «событий» (фактов, явлений, процессов), происходящих в науке. Подробное «описание» в науке преследует уже иные цели, чем «описание» в художественном тексте, но в обоих случаях его роль становится все более важной как в художественном, так и в научном тексте. Без подробного «описания», необходимого для более глубокого понимания (соответственно для более глубокого «чувствования»), теперь уже невозможно ни художественное, ни научное произведение. Без «описания» и тот и другой текст будет в какой-то степени «голым» («повести голы как-то»). Слова Толстого, отнесенные им самим к художественной прозе Пушкина, имеют таким образом прямое отношение и к исторической прозе Пушкина, а следовательно, и к стилю научного изложения вообще.

Сказанное несколько не противоречит тому, что Л.Н. Толстой всю жизнь восхищался гением Пушкина. Но сама жизнь ставила перед «прозой» (во всех ее разновидностях) новые задачи. Как средствами языка научиться описывать не только чувства, но и «подробности» этих чувств, не только факты, но и отношение автора к фактам, как сделать описания «не голыми», как научиться «не заменять» с помощью событий отношение автора к самим событиям, и многое, многое другое.

В конце концов сам Пушкин прекрасно понимал необходимость дальнейшего развития «языка науки» в России. В этом — смысл его суждений о «метафизическом языке» и о важности постоянной работы над его совершенствованием.

Следует помнить о взаимодействии стиля научного изложения с художественной прозой данной исторической эпохи не

---

<sup>1</sup> Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. / Под общ. ред. В.Г. Черткова. Т. 46. М., 1937. С. 187–188.

только в истории русского языка, но и в истории других, самых разнообразных языков. В свое время западногерманский историк Т. Шидер убедительно показал, что Ф. Шиллер в научном сочинении «История Тридцатилетней войны» менее ярко показал особенности личности выдающегося немецкого полководца Валленштейна, чем в своей же художественной трилогии «Валленштейн»<sup>1</sup>.

5

Дальнейшее развитие стиля научного изложения на фоне общего совершенствования русского литературного языка в XIX–XX вв. — тема особая, очень большая и очень важная. Она требует специального и не одного исследования. Я хотел лишь подчеркнуть, что стиль научного изложения никогда не останавливается в процессе своего совершенствования, как не останавливается и общий литературный язык, органической частью которого является стиль научного изложения.

В заключение этой главы я коснусь лишь вопроса о выдающей роли больших писателей, общественных деятелей и ученых в развитии литературного языка и, в частности, его научного стиля.

Хотя роль, о которой идет речь, обычно легче прослеживается в развитии художественной прозы, косвенно она оказывает воздействие и на совершенствование стиля научного изложения (как мы уже знаем — понятия, связанные между собой), тем более, что видные писатели обычно «пробуют свои силы» и в области публицистики, критики, мемуарной литературы и т.д. Знаменательно, что 30-е гг. XIX столетия (о них только что шла речь) оказались весьма весомыми не только в истории русского литературного языка, но и в истории многих других европейских языков, в частности французского, немецкого и английского.

В другой связи я уже приводил утверждение одного из видных французских компаративистов, исследователя европейской культуры и литературы Ф. Бальденсперже, что именно в 30-е гг. XIX в. «французский литературный язык совершил скачок» и стал еще быстрее развиваться в последующие годы. При этом ученый имел в виду прежде всего художественную прозу и ее «выразительные возможности» в самом широком смысле (лексика, фразеология,

<sup>1</sup> *Schieder T. Begegnungen mit der Geschichte. Göttingen, 1962. S. 79; ср. также: Могильницкий Б.Г. К вопросу о соотношении исторического и художественного познания // Средние века. Вып. 39. М., 1975. С. 49 и сл.*

синтаксис, стилистика). Бальденсперже объяснял этот скачок влиянием творчества писателей такого масштаба, как В. Гюго<sup>1</sup>. Несколько позднее об этом же писал другой тонкий знаток французского языка этой же эпохи А. Моруа: «До тридцатых годов, до В. Гюго литературный язык был плоским, Гюго сделал его рельефным, прибегая к емким словам и синтаксическим конструкциям, к резким контрастам света и тени»<sup>2</sup>.

Хотя обе приведенные характеристики отличаются известной неопределенностью (не раскрыты «выразительные возможности» языка, не показано, как язык перестает быть «плоским»), все же обе они весьма знаменательны. Крупнейшие знатоки эпохи и языка единодушно утверждают, что именно в этот период произошел перелом в развитии литературного языка и что В. Гюго сыграл здесь выдающуюся роль. И Пушкин в 1824–1825 гг. говорил о важности развития «метафизического языка» в России (борьба с «плоским» языком, стремление к совершенствованию выразительных возможностей языка) и сам участвовал в «переломе», который произошел в литературном языке этой же эпохи. Так намечаются известные *точки соприкосновения* в истории разных литературных языков определенной эпохи.

Хотя Ф. Бальденсперже и А. Моруа имеют в виду прежде всего общий литературный язык, однако все сказанное ими целиком относится и к стилю научного изложения: он тоже перестает быть «плоским» и обогащается внутренними выразительными возможностями (ср. только что приведенное замечание Л. Толстого о недостаточности «голых» описаний). Если здесь и произошел перелом, то не следует забывать, что он был подготовлен всем предшествующим развитием языка.

Вопрос о типах соприкосновения между разными европейскими литературными языками той или иной исторической эпохи все еще очень мало разработан в нашей науке. Приходится еще и еще раз сослаться на это. Между тем проблема важна и для истории соответствующих языков, и для культуры народов.

Известно, например, что язык и стиль молодого Гёте находился под несомненным воздействием языка и стиля Ж.-Ж. Руссо. Но язык и стиль позднего Гёте довольно резко порывает с этой традицией. Исследователи единодушно объясняют подобную смелую ссылку на жизненные условия и новые идейные устремления

<sup>1</sup> Baldensperger F. Le rebondissement de la langue française aux alentours de 1830. Paris, 1933 (весьма знаменательно уже название этой книги, букв. «Скачок языка в эпоху тридцатых годов девятнадцатого века»).

<sup>2</sup> Моруа А. Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго. М., 1971. С. 177, 337.

в творчестве немецкого писателя<sup>1</sup>. Нисколько не отрицая возможности влияния подобных факторов, следует обратить внимание и на возникающую здесь лингвистическую проблему: немецкий язык 20-х и 30-х гг. XIX в. предоставлял Гёте более широкие возможности для выражения своих мыслей и чувств, чем немецкий язык 80-х гг. XVIII в., когда создавались ранние, «руссоистические» произведения писателя. К сожалению, исследователи творчества Гёте еще никогда не ставили вопроса так, чтобы показать не только значение фактора литературного влияния одного писателя на другого, но и фактора развития литературного языка на протяжении «бурной эпохи» существования самого этого языка. Перелом в его движении в 20–30-е гг. XIX в. (ср. эту же эпоху в истории русского и французского литературных языков), безусловно, воздействовал на новую языковую «манеру» позднего Гёте.

Этот перелом не мог не оказать заметного воздействия и на дальнейшее развитие немецкого стиля научного изложения, что может быть прослежено и по страницам гётевской «Поэзии и правды».

Все сказанное, однако, не означает, что стиль научного изложения создается только отдельными выдающимися писателями и учеными. Между тем нередко приходится встречаться с таким мнением. Так, например, физик академик Л.И. Седов в интересной статье, посвященной М.В. Ломоносову, писал: «До Ломоносова... ученые чувствовали себя немymi»<sup>2</sup>. Споры нет, роль Ломоносова в создании стиля научного изложения была очень значительной, и все же нельзя не считаться и с предшествующей языковой традицией в этой области, от которой зависел и сам Ломоносов<sup>3</sup>. Вообще соотношение общего и индивидуального в формировании стиля научного изложения в разных языках остается проблемой важной и интересной, ждущей своих будущих исследователей<sup>4</sup>.

Как я уже подчеркивал, развитие и совершенствование научного стиля изложения прямо и непосредственно связано с развитием и совершенствованием всего литературного языка, во всех его вариантах и разновидностях. В 1929 г. вышла интересная книга французского филолога Д. Морне, которая уже своим названием

<sup>1</sup> См., например, вступительную статью Н. Вильмонта к кн.: *Гёте И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда*. М., 1969. С. 27; см. также: *Oellers N. Schiller. Geschichte seiner Wirkung bis zu Goethes Tod*. Bonn, 1967. S. 68.

<sup>2</sup> Седов Л.И. Величие Ломоносова // Литературная газета. 1965. № 48. С. 3.

<sup>3</sup> См. материалы в кн.: *Кутина Л.Л. Формирование языка русской науки*. М.; Л., 1964.

<sup>4</sup> Некоторые наброски в исследовании этой темы см.: *Будагов Р.А. Писатели о языке и язык писателей*. 2-е изд. доп. М., 2001.

обращала внимание читателей — «История французской ясности»<sup>1</sup>. В книге была сделана попытка показать, как в процессе развития французского литературного языка на протяжении веков росли и крепили его выразительные возможности (в широком смысле). От не всегда ясного или недостаточно ясного способа передачи мыслей и чувств людей в старом языке ко все большей степени ясности их изложения в языке по мере приближения к современности. Разумеется, — оговорку вносит сам автор, — «при прочих равных условиях». Ближе к нашему времени, в 1973 г., появилось второе, переработанное и дополненное издание книги испанского филолога Д. Алонсо и вновь с интригующим читателя названием — «От темных веков к Золотому веку»<sup>2</sup>. Концепция Алонсо близка к концепции Морне. Как и его французский единомышленник, Алонсо стремится показать, что первые памятники испанской письменности изложены не всегда ясным для читателя того времени языком. В процессе же развития испанской культуры и испанской письменности язык памятников все более и более совершенствуется и в эпоху «Золотого века» (в Испании — от середины XVI до середины XVII в.) становится «вполне ясным».

В интересно и талантливо написанных книгах Морне и Алонсо все же не все одинаково убедительно. Прежде всего возникла концепция, согласно которой языки совершенствуются лишь до определенного времени (в Испании до конца «Золотого века», а во Франции до конца «эпохи классицизма»), а затем становятся «современными». В первой главе настоящей работы я уже критиковал подобную концепцию: живые языки никогда не останавливаются в процессе своего совершенствования. Уязвимым у Морне и Алонсо оказалось и другое: оба исследователя не учитывали, что само понятие «ясности языка» в разные исторические эпохи понималось по-разному.

И все же в целом оба филолога стремились правильно поставить проблему: язык совершенствуется в процессе своего развития.

Мне представляется, однако, целесообразным расчленить проблему. Само понятие «ясности» в разных стилях языка наполняется не всегда тождественным содержанием. Наиболее прямо «ясность» или «неясность» обнаруживаются в научном стиле изложения: то или иное научное положение может быть изложено ясно или неясно, учитывая и специально подготовленных читателей,

<sup>1</sup> *Mornet D.* Histoire de la clarté française. Paris, 1929.

<sup>2</sup> *Alonso D.* De los siglos oscuros al de oro. Madrid, 1973; см. также: *Curtius E.* Europäische Literatur und lateinische Mittelalter. Bonn, 1949. S. 481–487.

и более широкую аудиторию (соответственно меняется и степень доступности стиля научного изложения). Со всеми подобными оговорками все же очевидно, что стиль научного изложения должен, как общее правило, стремиться к ясности. Вот здесь-то и обнаруживается его зависимость от уровня развития литературного языка, а не только от личного дарования ученого. При прочих равных условиях развитой литературный язык предоставляет ученому большие возможности в поисках подобной ясности, чем язык, литературно неразвитой или недостаточно развитой.

Несколько иначе проблема языковой ясности решается в стиле художественной литературы. До того исторического момента, пока этот стиль еще не знал индивидуальной авторской окраски, проблема языковой ясности во всех стилях языка решалась одинаково. Но с той исторической эпохи — по времени несколько различной в разных странах, — когда стиль художественной литературы стал приобретать все более и более ярко выраженный индивидуальный акцент (у больших мастеров слова), сама проблема ясности здесь стала решаться немного иначе, чем в стиле научного изложения.

В литературе нового и новейшего времени ясность языка стала зависеть не только от уровня исторического развития языка, но и от художественного замысла писателя. Ясность или недостаточная ясность языка шекспировского «Гамлета» осложнена многоплановостью самого замысла трагедии. То же можно сказать и о других великих произведениях мировой литературы. В подобных случаях проблема ясности языка оказывается проблемой не только лингвистики, но и проблемой поэтики, проблемой литературных направлений, проблемой индивидуального авторского дарования. Поэтому при написании книг, посвященных истории формирования «языковой ясности» на фоне формирования литературных языков, нельзя не считаться со всеми возникающими здесь осложнениями. Сама же по себе проблема «языковой ясности» неразрывно связана прежде всего с формированием стиля научного изложения.

В свое время Л. Ольшки, анализируя состояние итальянского литературного языка «в эпоху Галилея» (1564–1642), писал: «Своеобразным, почти парадоксальным явлением в истории мировой литературы является то, что совершенство художественной формы в области прозы было достигнуто на попрание естественности»<sup>1</sup>. Между тем известные мне факты и материалы показывают, что здесь не было ничего исключительного, ничего парадоксального. Если стиль художественной литературы оказывал воздействие

<sup>1</sup> *Ольшки Л.* Указ. соч. Т. 3. С. 115.

на стиль научного изложения, то и этот последний обогащал возможности художественной прозы. Это было так во всех европейских странах. Больше того. Здесь наблюдалось взаимодействие не только внутри обоих названных стилей, но и между этими стилями, с одной стороны, и общелитературным языком каждой эпохи, — с другой. Здесь еще раз необходимо подчеркнуть, что влияние стиля научного изложения на дальнейшее развитие общелитературного языка остается все еще очень мало осмысленным, хотя сама по себе проблема имеет первостепенное значение и для истории каждой отдельной национальной культуры, и для общей теории литературного языка в процессе его исторического совершенствования.

«Язык науки» чаще всего отождествляют с научной терминологией. Между тем первое понятие гораздо шире второго. При всем значении специальной терминологии в «языке науки» не только она составляет его специфику. Особенности стиля научного изложения обнаруживаются и в синтаксисе (в построении предложения), и в структуре абзаца, и в членении текста, и в интонации, и даже в ритмике всего изложения. Все эти, как и некоторые другие, признаки научного стиля изложения претерпели существенные изменения в самом процессе становления научного стиля изложения.

Стиль научного изложения и его специфика могут быть правильно поняты лишь на фоне общелитературного языка данной эпохи.

Через тридцать лет после смерти И. Канта Г. Гейне отмечал в своей работе «К истории религии и философии в Германии» тяжелый и громоздкий стиль сочинений великого мыслителя. Бездарные подражатели Канта стремились и в стиле сохранить «поступь» своего учителя. В те времена возникло убеждение, согласно которому (как формулирует Г. Гейне) «нельзя быть философом и писать ясно». Ученые, просто и ясно излагающие свои мысли, казались недостойными носить звание философа. Стоит напомнить, как зло посмеивался над подобным убеждением Г. Гейне<sup>1</sup>. Позднее Ф.М. Достоевский в своих «Критических статьях» заметил, что некоторые литераторы не говорят теперь *принеси воды*, а предпочитают сказать: «Принеси то существенное начало овлажнения, которое послужит к размягчению более твердых элементов, осложнившихся в моем желудке»<sup>2</sup>. Не менее остро ставил эту проблему и А.И. Герцен. В «Былом и думах» он подчеркивал:

<sup>1</sup> *Heine H. Werke*. 3. Wien, 1900. S. 125; ср. здесь, в частности, яркое сочинение Г. Гейне «К истории религии и философии в Германии».

<sup>2</sup> *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. Изд. А. Маркса. Т. 9. Ч. 1. М., 1895. С. 59.



«Трудных наук нет, есть только трудные изложения...»<sup>1</sup> Как я уже отмечал, в России все это прекрасно понимал уже Ломоносов, когда отмечал «недовольное в языке искусство» у многих ученых.

Еще более актуальной проблема научного стиля изложения оказывается в наши дни, в эпоху научно-технической революции. К стилю постоянно возвращаются выдающиеся ученые и писатели разных стран. Вот, например, как невольно почти повторяет слова А.И. Герцена видный английский романист и мемуарист У.С. Моэм: «Многие люди пишут неясно, потому что не дали себе труда научиться писать ясно»<sup>2</sup>. Эту же мысль любил у нас постоянно провозглашать К. Паустовский.

Изучение истории формирования научного стиля в разных языках и должно показать, как постепенно устранялись «трудные изложения» и как совершенствовались возможности самого стиля научного изложения. Если тот или иной развитый литературный язык нашей эпохи, предоставляя ученым самые разнообразные возможности для передачи научных знаний, все же остается под пером отдельных «жрецов науки» трудным, невыразительным, а иногда и неясным даже специалистам, то, как общее правило, здесь оказывается «виновным» уже не язык, а недостаточное лингвистическое мастерство этих ученых. Вместе с тем сам стиль научного изложения никогда не останавливается в историческом движении и продолжает совершенствоваться и в нашу эпоху. Следует всегда помнить: конкретность опыта беспредельна, ресурсы же даже очень развитого языка в каждую историческую эпоху все же ограничены<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Герцен А.И. Былое и думы. М., 1946. С. 439.

<sup>2</sup> Моэм У.С. Подводя итоги. М., 1957. С. 34.

<sup>3</sup> См. главу «О научном стиле изложения» в кн.: Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили (М., 1967), где сделана попытка дать типологическую характеристику этого стиля.

---

---

ГЛАВА ПЯТАЯ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  
РЕВОЛЮЦИЯ  
И ПРОЦЕСС  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ЯЗЫКА

Хорошо известно, что научно-техническая революция (в дальнейшем — НТР) оказала и оказывает воздействие почти на все стороны жизни людей, обитающих в самых различных странах. Поэтому совершенно естественно, что она не могла пройти мимо языков, на которых люди постоянно выражают свои мысли и чувства, с помощью которых они общаются друг с другом.

Уже в 50-х гг. XX столетия К.И. Чуковский рассказывал о трехлетнем мальчике: гуляя с матерью по улице и увидев остановившуюся лошадь, ребенок воскликнул: «Верно току у нее нет»<sup>1</sup>. И здесь нет ничего удивительного. В сознании современного ребенка движение ассоциируется с представлением о современной технике. Даже слово *ток* расширяется в своем значении: это уже не только «электрический заряд в проводнике», но и «энергия вообще», почти «всякая энергия» (ср. во множественном числе: «от него исходили сильные *токи*»).

До начала XX столетия наука и общество чаще всего разобщались в теории. Обычно считали, что одна область развивается независимо от другой области. В 1749 г. Ж.-Ж. Руссо (этот эпизод уже бегло был упомянут мною в главе о научном стиле изложения), отвечая на конкурсную тему Дижонской академии «Способствует ли прогресс наук улучшению или ухудшению нравственности?», пришел к отрицательному выводу: «Прогресс наук ухудшает нравственное состояние общества» — люди удаляются от природы, становятся менее естественными, менее простыми и

---

<sup>1</sup> Чуковский К.И. От двух до пяти. М., 1955. С. 109.

даже менее добрыми<sup>1</sup>. И хотя, прежде чем сделать такое печальное заключение, Руссо колебался, его конечное решение не было случайным. В ту эпоху наука и особенно техника иногда рассматривались как силы, способные нарушить «целостность общества». Однако уже в XVIII столетии взглядам Руссо противостояли взгляды Дидро и его единомышленников по знаменитой «Энциклопедии», которые страстно отстаивали противоположный тезис — благотворное влияние науки и техники на жизнь всех социальных группировок общества.

Но и в XX в. нередко приходится встречаться и с таким мнением, согласно которому техника и, шире, культура мешают пониманию подлинных творческих возможностей того или иного народа. В 20-е гг. XX столетия так был поставлен вопрос, в частности, немецким философом О. Шпенглером в его знаменитой книге «Закат Европы». В этой работе, впервые вышедшей в свет в 1922 г. и переведенной на многие языки мира, была сделана попытка обосновать тезис, согласно которому «духовная сущность народа» и его техника — это непримиримые враги, всегда отрицающие друг друга<sup>2</sup>.

В несколько ином, «смягченном» виде, сходный тезис иногда возрождается вновь. Например, известный французский историк и антрополог К. Леви-Стросс рассуждает так: логика всех людей, всех рас и народов универсальна. Но логика европейских народов (в первую очередь) находится под сильным влиянием культуры и техники. Поэтому, чтобы изучить универсальные основы логики, надо обратиться к мифологии американских индейцев, никогда не находившихся под воздействием культуры и техники. Так и было построено большое исследование Леви-Стросса, посвященное мифологии американских индейцев<sup>3</sup>.

Леви-Строссу, конечно, ясно, что наука и техника — это глубоко взаимодействующие сферы человеческой деятельности. В XX в. подобное положение становится общим достоянием, хотя самый принцип их взаимодействия истолковывается совершенно различно в разных философских направлениях современности.

<sup>1</sup> *Rousseau J.J.* Les confessions. Édition critique. Paris, 1962. P. 331. Руссо был не одинок. В конце XVIII в. и позднее многим казалось, что машина — враг человека. В начале XIX столетия в Англии возникло движение так называемых луддитов (от собственного имени Лудда): рабочие ломали машины, свои невзгоды они связывали не с несправедливостью общественного строя, а с «всесильной машиной», которая будто бы делает ненужным труд и разум человека.

<sup>2</sup> См.: *Шпенглер О.* Закат Европы. М., 1923. С. 44–45.

<sup>3</sup> См. об этом в книге английского антрополога: *Leach E. Lévi-Strauss. L., 1970.* P. 20–25.

Теоретики так называемого «постиндустриального общества» (post-industrial society) утверждают, что стремительный рост современной техники будто бы сводит на нет всякие различия между разными классами общества, между их идеологией. Они считают, что перед «лицом» современной техники «все люди равны»<sup>1</sup>. Между тем в условиях классового общества никакая техника, в том числе и техника «постиндустриального общества», не в состоянии смягчить классовое неравенство.

Все это имеет прямое отношение и к проблеме влияния НТР на язык того или иного народа. В одних случаях НТР может, в частности, помочь людям овладеть родным языком во всем его богатстве и многообразии, в других — приучить к «блатному языку», создать иллюзию достаточности «упрощенного языка», языка элементарных коммуникативных сигналов «постиндустриального общества». Если меня понимают — ну и хорошо! Когда же требуется передать с помощью языка не только элементарную информацию, но и более глубокие мысли и чувства, тогда и обнаруживаются острые противоречия между теоретическими возможностями языка и уровнем владения этими возможностями той или иной социальной прослойкой общества.

Воздействие НТР на языки мира несомненно. И все же далеко не все лингвисты считают с подобным воздействием. Например, популярный западногерманский филолог Е. Косериу считает, что язык и техника — понятия вообще не соотносительные: язык изменяется иначе, чем техника, язык всегда сохраняет преемственность с предшествующим своим состоянием, тогда как техника может «отменить» подобную преемственность. Исследователь считает, что каждый конкретный язык совершенно не зависит от того, как его употребляют люди. Язык и языки существуют объективно, воля же людей всегда субъективна<sup>2</sup>.

Е. Косериу прав в том, что язык изменяется действительно не так, как изменяется техника. Но невозможно согласиться с другим утверждением автора, будто бы живой язык совершенно не зависит от того, как его употребляют и как им пользуются люди. Язык нисколько не теряет своей объективности от того, что люди не только пользуются им, но и воздействуют на него. И это вполне закономерно: язык изменяется, развивается и совершенствуется именно в процессе своего функционирования в обществе. Поэтому неправильно противопоставлять объективность языка

<sup>1</sup> Bell D. The Coming of Post-industrial Society. N.Y., 1973. P. 35.

<sup>2</sup> Coseriu E. Das Phänomen der Sprache und das Daseinverständnis des heutigen Menschen // Sonderdruck aus Heft ½ der pädagogischer Provinz. 1967. S. 3–17.

субъективности процесса его функционирования, как это делает Е. Косериу.

И все же вопрос о том, как следует понимать влияние НТР на языки человечества, оказывается вопросом отнюдь не простым.

В 1842 г. В.Г. Белинский в статье «Сочинения Евгения Баратынского» писал: «Ведь человеческое знание состоит не из одной математики и технологии, ведь оно прилагается не к одним железным дорогам и машинам... Напротив, это только одна сторона знания, это еще только низшее знание — высшее объемлет собой мир нравственный, включает в области своего ведения все, чем высоко и свято бытие человеческое...»<sup>1</sup> Эти полные глубокого смысла слова уже в наше время развивает Н.И. Конрад в своей интересной работе «О смысле истории». Автор подчеркивает, что прогресс и преуспевание общества определяется не простым ростом техники, а прежде всего ростом его гуманистического начала. И лишь в той мере, в какой техника способствует укреплению подобного начала в самом обществе, она выступает как бесспорно прогрессивная сила<sup>2</sup>. Как видим, так ставился вопрос не только в XIX столетии, но и в наше время.

Необходимо, однако, считаться и с совершенно иным истолкованием проблемы соотношения гуманистического и технического «начал» в жизни общества. В тезисах одного из докладов на теоретической конференции по языкознанию можно прочесть: «Отрицание возможности неограниченно приближаться к формальному описанию соответствий между смыслами и текстами (а это и есть, в конечном счете, отрицание возможности высококачественного автоматического перевода!) эквивалентно отрицанию возможности неограниченно познавать устройство человеческой психики; оно может базироваться только на вере в божественную и потому принципиально непостижимую природу мышления и речи»<sup>3</sup>.

Здесь не знаешь, чему больше удивляться — исключительной наивности или несерьезности всего приведенного утверждения. Я цитирую лишь для того, чтобы показать, как совершенно недопустимо понимать влияние НТР на язык вообще, на технику перевода — в частности.

Пугать «верой в божественную силу» в тех случаях, когда ученый устанавливает *качественные различия* между силой человеческой

<sup>1</sup> Белинский В.Г. Соч.: В 4-х т. Т. 3. СПб., 1900. С. 16.

<sup>2</sup> Конрад Н.И. Запад и Восток. М., 1966. С. 466–512.

<sup>3</sup> Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания (11–16 ноября 1974 г.). Тезисы докладов секционных заседаний. М., 1974. С. 248 (Ин-т языкознания АН СССР).

психики и возможностями автомата, и недопустимо и несерьезно. Хорошо известный специалист в области электронных машин М. Таубе не так давно справедливо подчеркивал, что «...некритическое отождествление человека и машины может привести к катастрофе»<sup>1</sup>. Об этом же пишут многие видные математики и физики второй половины XX в. Один из создателей кибернетики, Н. Винер, постоянно подчеркивал огромное преимущество человека по сравнению с любой машиной<sup>2</sup>. Человеку и человеческому познанию свойственна фантазия, которой всегда лишена машина. Человеческий мозг легко оперирует с «нечетко очерченными понятиями», чего не может делать машина. Не понимать подобных различий — значит не понимать подлинных и неограниченных возможностей человеческой психики и человеческого разума<sup>3</sup>.

Как это ни парадоксально, защитники эквивалентности возможностей человеческой психики и возможностей машины сами ставят пределы на пути познания человеком окружающей его действительности. Ограничивая творческие возможности человека возможностями машины, такие ученые ограничивают тем самым первые в угоду вторым, «приспосабливают» человека к машине вместо того, чтобы подчинить машину силе человеческого разума, беспредельным возможностям человеческого воображения.

Методологически совершенно несостоятельно и другое положение, согласно которому признание невозможности чего-то означает агностицизм. Сторонники принципа «все возможно» заключают: «Так как все возможно, то возможно и сознание машин, возможны думающие и размышляющие машины». Но ведь никто не может обвинить физиков в агностицизме на основе вывода термодинамики о невозможности вечного двигателя второго рода. Никто не может «косо посмотреть» на биологов, когда последние констатируют невозможность вечной молодости каждого отдельного организма. Итак, воздействие НТР на все стороны жизни и деятельности людей нашей эпохи, в том числе и на их языки, несомненно. Тем важнее правильно осмыслить характер этого воздействия и его многообразные последствия.

<sup>1</sup> Таубе М. Вычислительные машины и здравый смысл. М., 1964. С. 85.

<sup>2</sup> См.: Винер Н. Творец и робот. М., 1966. С. 82; см. также его другую кн.: Кибернетика. М., 1968. С. 304.

<sup>3</sup> «...Нелепо отрицать роль фантазии и в самой строгой науке...» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 330).

Когда еще в 20-х гг. XX столетия известный швейцарский психолог Ж. Пиаже рассказал не менее известному физику А. Эйнштейну о замысле своих новых исследований, то физик воскликнул: «Как все это интересно, насколько психология труднее физики!»<sup>1</sup>. Никакой «разум машины» не может объяснить, почему, например, Пушкин — уникальное явление определенной исторической эпохи, почему Шекспир не имеет себе равных в истории английской литературы, а Данте — в истории итальянской литературы? Таких «почему» можно задавать очень много и здесь, разумеется, нет никакого агностицизма. Современный человек пока не может дать исчерпывающих ответов на подобные вопросы, хотя его разум ничем не ограничен в своих возможностях. Но было бы нелепо на этом основании обвинять всякого, кто, естественно, не в состоянии ответить на аналогичные вопросы, в том, что данное лицо верит в «божественное начало» Пушкина или Шекспира, Данте или Бетховена. Между тем именно к такой аргументации прибегают защитники тезиса об эквивалентности возможностей человека и возможностей машины.

В свое время К. Маркс в «Капитале» подчеркивал глубоко верную мысль: «... если бы форма проявления и сущность вещи непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишня...»<sup>2</sup>.

Отождествление человека и машины имеет весьма давнюю историю. В XVII столетии на таком отождествлении настаивал, в частности, Р. Декарт (1596–1650). Но в эпоху этого великого математика и физика еще не существовало ни ясного понимания сущности машины, ни ясного понимания происхождения видов. Не было и учения о развитии живых существ. На этом фоне легче понять попытки Декарта «подогнать» человека к устройству машины, сделанной руками самого человека<sup>3</sup>.

После Декарта прошло более трех столетий, его мысли разделяли отдельные ученые в XVIII и в XIX столетиях. И не только ученые. В 1818 г. М. Шелли, жена большого английского поэта П. Шелли, опубликовала роман «Франкенштейн, или Освобожденный Прометей», в котором был изображен молодой

<sup>1</sup> Piaget J. La pensée symbolique et la pensée de l'enfant // Archives de psychologie. XVIII. Paris, 1923. P. 10; см. также: Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М., 1932. С. 56.

<sup>2</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч. 2. С. 384.

<sup>3</sup> См.: Боголюбов А.Н. Механика и машина // У истоков классической науки. М., 1968. С. 171; см. также специальную монографию финского исследователя, посвященную истории возникновения понятия «человек-машина»: Kirkinen H. Les origins de la conception moderne de l'homme machine. Helsinki, 1960.

ученый-химик, будто бы искусственным путем создавший человека. Поступки этого «человека» оказались страшными. Почти через сто лет Максим Горький в своих «Детях Солнца» тоже вывел на сцену ученого-химика, тоже озабоченного созданием искусственного интеллекта. Персонаж Горького оказался совершенно иным, чем персонаж Шелли, но интерес к проблеме искусственного интеллекта неоднократно возникал и у других писателей разных стран. Разумеется, позиция больших писателей здесь, как правило, была одинаковой: они прекрасно понимали вздорность подобных проектов у своих персонажей.

И вот наше поколение вновь оказывается свидетелем аналогичных попыток, но уже не только в художественной литературе, но и в науке, как некогда у Декарта.

Чем объяснить столь своеобразную периодичность подобных проектов? Сейчас мы переживаем в науке такое состояние, которое может быть названо периодом нахождения «сходного в несходном». Само по себе и это увлечение тоже не ново. Еще в самом начале 20-х гг. XX в. В.Б. Шкловский писал: «Я знаю, как сделан автомобиль, я знаю как сделан “Дон Кихот”»<sup>1</sup>. Но ведь «Дон Кихот» Сервантеса сделан совсем не так, как сделан автомобиль. И в том, и в другом случае общим оказывается лишь одно: автомобиль сделан разумом и руками человека, «Дон Кихот» сделан разумом, руками и чувствами человека. Но как различен глагол *сделать* в первом и во втором случаях! Иногда умышленно стремятся не замечать огромной непохожести между ними, подчеркивая лишь сходство (и то и другое «сделано»). Но глубокое несходство обеих «вещей» не становится от этого менее глубоким несходством. И уже в наше время один из авторов подобного сравнения автомобиля и «Дон Кихота», осуждая его несостоятельность, стал справедливо подчеркивать *принципиальные различия* в тех «вещах» и категориях, которые прежде ему казались тождественными<sup>2</sup>.

То же следует сказать и о языке. Язык и похож и не похож на другие «системы».

Между тем в последние десятилетия лингвисты гораздо больше, гораздо настойчивее и чаще подчеркивают сходство языка с другими «знаковыми системами» (вплоть до системы уличной сигнализации в больших городах), чем глубокое качественное отличие языка от иных «систем», внешне как будто бы и похожих на язык, по существу же, однако, имеющих лишь поверхностные

<sup>1</sup> Об источнике этого афоризма В.Б. Шкловского см.: Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателей. Л., 1974. С. 49.

<sup>2</sup> См.: Шкловский В. Тетива. М., 1970. С. 284.



точки соприкосновения с языком. Постараюсь показать это положение на материале.

Известно, например, что все развитые литературные языки опираются на понятие нормы. Норма играет важную роль в самом процессе формирования и функционирования литературных языков. Вместе с тем, однако, история великих литературных языков — таких, например, как русский или английский, французский или арабский — показывает, что чем более «жесткой» становится лингвистическая норма, тем сильнее обнаруживается действие контрнормы: всевозможных исключений из правил, всевозможных синонимических параллельных ресурсов языка (не только в лексике, но и в грамматике), гибких и как бы незаметных переходов от письменной нормы к более свободной норме разговорной речи и т.д. Тенденция к унификации литературного языка (действие принципа системности языка) сосуществует с тенденцией к его разнообразию, к его экспрессивности, к богатству и многообразию его стилевых и стилистических возможностей (действие принципа антисистемности) и т.д. Все это легко подтверждается многочисленными фактами из истории всех великих литературных языков современности.

Но вот многим ученым начинает казаться, что в эпоху НТР подобная многоплановость литературных языков будто бы мешает их функционированию. Возникает желание ввести литературные языки в рамки «железной нормы», не допускающей многообразных форм бытования этих языков.

Так возник термин «стандартные языки» вместо филологического термина «литературные языки». Первый термин создает неверное представление о возможностях литературных языков. Возникает ошибочное мнение, будто бы усвоение небольшого числа стандартных языковых формул приводит к овладению всем литературным языком. Между тем стандартные языковые формулы, сами по себе весьма полезные при изучении неродного языка, ни в коем случае не должны отождествляться с литературным языком, с его поистине безграничными выразительными возможностями.

В настоящее время стали появляться книги не столько о литературных языках, сколько о стандартных языках<sup>1</sup>. Авторы подобных

---

<sup>1</sup> Критические замечания о таких работах см.: *Филин Ф.П.* О структуре современного русского литературного языка // *Вопр. языкознания.* 1973. № 2. С. 3; см. также специальную главу «Формирование стандартных романских языков» в кн.: *Elcock W.* *The Romance Languages.* L., 1960. P. 334–483. Как я уже подчеркивал, одним из первых стал ошибочно отождествлять литературные языки со стандартными языками Е.Д. Поливанов (О литературном (стандартном) языке // *Русский язык в школе.* 1927. № 1).

исследований как бы заранее закрывают глаза на многочисленные факты нестандартности в литературных языках самых различных эпох. В угоду неверному принципу — если система, то непременно жесткая и стандартная. — неверно освещается не только состояние современных литературных языков, но и их история и теория. Сторонники подобных рассуждений забывают, что в сходном (системные отношения в разных общественных явлениях) обычно имеется и несходное, специфичное для одной, более жесткой и одноплановой системы и неспецифичное, а иногда и явно нехарактерное для другой, гораздо более сложной, подвижной и многоплановой системы.

В свое время по совершенно другому поводу известный музыкант Л. Стоковский заметил: «Стандартизация необходима для машин, но губительна для музыки»<sup>1</sup>. Еще острее обсуждают этот же вопрос некоторые советские искусствоведы: «Технология, ставшая самоцелью, — помеха на путях подлинного творчества». Нельзя допустить, чтобы научно-техническая революция так воздействовала бы на искусство, чтобы при этом исчезла «... человеческая сущность театра»<sup>2</sup>.

Разумеется, язык — это не музыка и не театр, но язык — это весьма специфическое «устройство», резко выделяющее человека из мира других живых существ. Поэтому и в языке элементы стандартности и унификации, сами по себе очень важные (подчеркнем это еще раз), сосуществуют, однако, с элементами нестандартными, подвижными и многоплановыми, обогащающими экспрессивные (в широком смысле) возможности языка, огромную силу его воздействия на самих же людей.

### 3

В некоторых направлениях современного языкознания, как и у отдельных философов, можно обнаружить неприемлемое, на мой взгляд, истолкование не только категорий стандартного и нестандартного, но и категорий разума и чувства в разных сферах человеческой деятельности и человеческого языка.

«... Хотя чувства и разум человека всегда развиваются в единстве, но от эпохи к эпохе в деятельности человека, в его поступках сила чувства все более уступала место силе разума»<sup>3</sup>. Невозможно

<sup>1</sup> Стоковский Л. Музыка для всех нас. М., 1963. С. 17.

<sup>2</sup> Завадский Ю., Ратнер Я. Театр и личность в условиях научно-технической революции // Коммунист. 1974. № 14. С. 51.

<sup>3</sup> Человек в социалистическом и буржуазном обществе. Материалы симпозиума. Вып. 1. М., 1966. С. 62.

согласиться с подобной постановкой вопроса, хотя как будто бы она сводится к прославлению разума. Но *разум нельзя прославлять за счет чувства*. Разум не может усиливаться за счет ослабления чувства. Чувства (в самом широком смысле) — это тоже сила и величие человека. Разум человека был бы односторонним и бедным, если бы он не опирался на чувства, не взаимодействовал с ними. Представить себе человека будущего общества сильного своим разумом, но убогого в средствах передачи своих чувств, — значит неправомерно обеднить образ человека будущего общества.

Все сказанное имеет прямое отношение к языку. Обычно даже в самом элементарном утверждении или отрицании люди обнаруживают не только логику мысли, но и чувства, свои эмоции. «Я уверен, что завтра будет прекрасный день». Здесь передается не только уверенность, но и его чувственная окраска. Сама уверенность может опираться на знания, на предположения, даже на предчувствия. Не говорю уже о возможности различной модальной окраски подобного предложения: «я безусловно уверен», «я уверен, но...», «я хотел бы быть уверенным» и т.д. (ср. соответственно: «Я не уверен, что...»). Такое многообразие вовсе не придает речи двусмысленности, как теперь часто утверждают, но превращает язык в тончайшее средство общения, позволяющее говорить о нем как о величайшем завоевании человека. Надо только уметь пользоваться этим завоеванием.

Более ста лет тому назад великий естествоиспытатель Ч. Дарвин, имея в виду лишь некоторые человеческие чувства, писал: «Утрата эстетических вкусов равносильна утрате счастья... и вредно отражается на умственных способностях, а еще вероятнее — на нравственных качествах»<sup>1</sup>. Но если Дарвин прямо связывал умственные способности человека с его чувствами, то лингвист обязан проецировать эту же связь и на язык. Нельзя представить себе, что НТР превратит язык в такое средство, которое будет в состоянии передавать лишь мысли людей, но не их чувства, не их ощущения и переживания. Думать так — значит утверждать, что НТР постепенно обеднит язык, сделает его худосочным. Я убежден в противном: НТР уже обогатила и будет и в дальнейшем все более и более обогащать язык. Как только что было отмечено, выразительные возможности языка (в самом широком смысле) не менее существенны, чем его чисто логические ресурсы. Все это хорошо понимали выдающиеся русские филологи. В

<sup>1</sup> Дарвин Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера. Автобиография. М., 1957. С. 147–148.

XIX столетии об этом ярко писали Ф.И. Буслаев и А.А. Потебня, а в советское время аналогичные суждения развивали Л.В. Щерба и В.В. Виноградов, В.М. Жирмунский и Б.А. Ларин, как и многие другие. Поэтому нельзя не сожалеть, что в самое последнее время эти положения стали отодвигаться на задний план, а влияние НТР на язык многие стали сводить лишь к формированию «стандартной системы коммуникации».

Нередко приходится слышать, будто НТР разбивает единство каждого отдельного языка, создает внутри языка как бы множество разных языков: говорят об особом языке математики, об особом языке биологии, об особом языке кибернетики и вместе с тем о языке «разговора», о языке письма и т.д. Разумеется, сама НТР — результат быстрого развития разных наук, создания новых наук. И все же постановка вопроса о разных языках внутри одного языка представляется мне неверной. Об этом уже шла речь в предшествующей главе.

Разумеется, во всех литературных языках имеются существенные различия между стилем научного изложения (он обычно объединяет все конкретные науки) и стилем художественной литературы, между стилем разговорной речи и стилем письменной речи. Но в этих случаях следует различать стили (или варианты) единого литературного языка, а не разные языки внутри одного языка. Последняя гипотеза невероятна не только теоретически, но и практически: конкретный материал живых языков ее опровергает.

Сказанное отнюдь не означает, что НТР не вносит ничего нового в средства языковой коммуникации. НТР осложняет стили языка, делает их еще более многообразными, а отношения между ними более сложными. Если, например, разговорная речь (= разговорный стиль) уже давно, задолго до НТР, приобрела в самых разнообразных языках свои специфические черты, отличающие ее от стиля письменного изложения, то в эпоху НТР черты, дифференцирующие эти два стиля, стали более отчетливыми: убыстрились темпы развития разговорной речи, она стала выполнять более разнообразные функции (кино, радио, телевидение). Углубилось своеобразие и письменной формы изложения. И здесь НТР не проходит мимо языка, хотя его единство, несмотря на все осложнения, сохраняется.

Для более точного истолкования весьма важной проблемы — как следует понимать влияние НТР на язык и на его совершенствование — следует провести еще ряд разграничений (помимо уже сделанных), которые помогут разобраться в сложной проблеме. Попытаемся наметить некоторые дополнительные разграничения.

Следует строго различать *формализацию языка и формализацию приемов изучения языка*. Если формализация любого живого языка ограничена самой природой языка с его широкой лексической и грамматической многозначностью, синонимичностью почти всех его ресурсов, исключительной стилистической подвижностью и выразительностью, то формализация приемов исследования языка в принципе почти ничем не ограничена. Исследователь обязан лишь следить за тем, чтобы формализованные приемы анализа языка помогали выявить специфику самого языка, а не затемняли ее. К сожалению, эти два понятия формализации обычно не дифференцируются. Между тем различать их необходимо.

Не менее важно и другое разграничение: *языковой и неязыковой структуры*. Хорошо известно, что лингвистика XX столетия показала и доказала структурный характер языка. До начала XX столетия о подобной природе языка лишь догадывались отдельные выдающиеся ученые. В нашу эпоху догадка превратилась в аксиому. Но аксиома не сняла другого важного вопроса: как следует понимать структурный характер языка? В разных направлениях современной лингвистики на подобный вопрос обычно даются противоречивые ответы. В дальнейшем я попытаюсь вернуться к той части общего большого вопроса о структуре языка, которая уже была намечена в первом разделе настоящей главы: чтобы понять специфику структуры (= системы) языка, нужно постоянно помнить о различиях между собственно языковой и неязыковой структурами. Они несходны не только по степени своей «жесткости», но и по другим, гораздо более глубоким основаниям.

По иному поводу и с иной аргументацией А. Мартине уже обратил внимание на существо проблемы<sup>1</sup>.

Обычный современный дом, в котором живут люди, можно рассматривать как определенную структуру, части которой образуют связанное между собой целое. Но если разрушить стены дома, то не удержится и его крыша. Весь дом развалится. Принципиально иную структуру образует язык. Если по тем или иным причинам вытесняются одни элементы структуры, то другие как бы смыкаются. Структура языка всегда сохраняется, если сохраняется сам язык. Исследователь имеет здесь дело с иным типом структуры, чем в первом случае. В свое время уже А.А. Потебня тонко заметил, что старое в языке «изменяет свой вид и значение

<sup>1</sup> *Martinet A. Fonction et structure en linguistique // Scintia. Revista internazionale di sintesi scientifiche. Milano, 1971. N 6. P. 6.*

в целом единственно от присутствия нового»<sup>1</sup>. Поэтому когда структуру (систему) языка сравнивают с другими структурами, с которыми имеют дело самые различные науки, то при этом совершенно необходимо помнить *специфику собственно языковой структуры*, ее своеобразную неповторимость.

Сама проблема воздействия НТР на язык требует строгого учета структуры языка, структуры отдельных конкретных языков, структуры отдельных уровней этих конкретных языков (прежде всего грамматического, лексического, фонетического).

## 4

Не менее существенно еще одно разграничение, тоже бегло упомянутое в первом разделе настоящей главы. Разграничение *системы* и *антисистемы* (структуры и антиструктуры)<sup>2</sup>. Дело в том, что любой живой язык — это не только определенная система, но и определенная антисистема. Если в первую половину XX столетия, после появления «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра (1916), лингвисты разрабатывали теорию системного характера языка, то позднее возникла и другая проблема, на первый взгляд кажущаяся несовместимой с первой, — *проблема изучения антисистемных тенденций в любом живом языке*. Далеко не все лингвисты понимают значение этой второй проблемы. Между тем ее значение огромно. Она дает возможность понять живые языки народов мира в том виде, в каком они существуют в действительности, не отсекая того, что не укладывается в систему или даже противоречит ей. Отсюда реальные тенденции и контртенденции в языке, отсюда же многочисленные «исключения» из фонетических, грамматических и стилистических правил, так называемые неправильные глаголы, необычные согласования грамматических форм, непривычный порядок слов в предложении и т.д.

В сравнительно не так давно вышедшей книге одного из западногерманских филологов все языки мира несколько парадоксально, но по существу совершенно справедливо определяются как «антисистемные системы» (*asystematische Systeme*)<sup>3</sup>.

Все это имеет прямое отношение к изучаемой здесь теме — к влиянию НТР на язык. Если бы каждый язык представлял собой простую и односложную систему, то подобное влияние тоже было

<sup>1</sup> *Потебня А.А.* Из записок по русской грамматике. Харьков, 1888. С. 125.

<sup>2</sup> Напомню, что термины *система* и *структура* я везде употребляю как абсолютные синонимы.

<sup>3</sup> *Wandruszka M.* Sprachen. Vergleichbar und Unvergleichlich. München, 1969. S. 11.

бы весьма простым и прямолинейным. НТР смогла бы перестроить всю лексику по принципу «одно слово — одно значение», уничтожить лексические и грамматические синонимы, свести все сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами к простым предложениям, приравнять литературные языки к языкам стандартным и т.д. В действительности все оказывается иначе: живые языки выступают как «антисистемные системы». И все же НТР воздействует на эти языки, вольно или невольно учитывая их сложную природу.

Здесь необходимо устранить одно широко распространенное заблуждение. Очень часто многие лингвисты рассуждают так: да, в языке действительно обнаруживаются отдельные антисистемные явления, которые «портят язык», делают его менее стройным. Антисистемные явления обычно оцениваются отрицательно. Между тем, если проанализировать язык глубже, то нельзя не обнаружить совершенно иную функцию антисистемных явлений в языке — они превращают язык в более емкое и многоплановое средство выражения человеческих мыслей и чувств.

В самом деле: полисемия слов и грамматических категорий — явление антисистемное, но вместе с тем — могучее средство огромной выразительности. Подвижное положение слов и словосочетаний в структуре предложения — явление антисистемное, но одновременно обладающее большой стилистической силой. То же самое можно сказать и о других антисистемных тенденциях языка. Поэтому убеждение, согласно которому антисистемные явления портят систему языка, предстает перед нами как убеждение по меньшей мере наивное.

Здесь я позволю себе провести такое сравнение. Исследователи творчества Шекспира уже обращали внимание на то, что ранние произведения драматурга сохраняют строгую симметрию форм, тогда как поздние, наиболее зрелые создания автора, почти все асимметричны и в известной мере антисистемны<sup>1</sup>. Прекрасно понимая условность подобного сравнения (*omne simile claudet*), я все же хочу подчеркнуть: чем более развитой литературный язык мы анализируем, чем богаче его письменные традиции и разнообразнее дошедшие до нас тексты, тем в большей степени в его системе обнаруживаются антисистемные явления и тенденции. Единство системных и антисистемных тенденций в языке обусловлено не только природой самого языка, но и его историческим прошлым. Подобное единство — не недостаток языка, как часто считают, а одна из его могучих творческих сил, ведущая к постоянному совершенствованию языка.

<sup>1</sup> См.: *Аникст А.* Шекспир. Ремесло драматурга. М., 1974. С. 220.

Современные науки широко оперируют абстрактными понятиями и абстрактными категориями. То же следует сказать и о лингвистике.

Вместе с тем надо различать разные степени абстракции. Если филолог говорит, например, о категории падежа, то такое понятие выступает как более абстрактное по отношению к понятию именительного или винительного падежа. Если тот же филолог анализирует категорию грамматической формы вообще, то подобная категория в свою очередь выступает как более абстрактная даже по сравнению с категорией падежа (всякого падежа) или категорией числа (всякого числа) в грамматике. Можно, разумеется, представить себе и гораздо более высокий уровень грамматической абстракции. Но всякий абстрактный уровень в лингвистике должен иметь и свой предел, если исследователь хочет остаться на «почве» языка.

Рассказывают, что однажды известный русский математик П.Л. Чебышев читал в Париже лекцию о математической теории конструирования одежды. Лекция собрала всех знаменитых парижских модельеров, законодателей и законодательниц мод. Но когда Чебышев, желая пошутить, начал свою лекцию фразой: «Примем для простоты, что человеческое тело имеет форму шара», — то все модельеры покинули зал<sup>1</sup>. Абстракция оказалась настолько невероятной (форма нормального человеческого тела не имеет ничего общего с формой шара), что не только не помогла понять специфику изучаемого объекта, но и сделала его смешным.

В наше время и в нашей науке тоже нередко возникает вопрос о допустимых и недопустимых абстракциях, об их разумных пределах.

Разумеется, абстракция, невозможная в одну историческую эпоху, может оказаться вполне возможной в другую историческую эпоху (в этом, в частности, обнаруживается быстрый рост науки). И все же для каждой эпохи есть свои определенные пределы продуктивных и непродуктивных (неразумных) абстракций. Все это необходимо учитывать, когда речь идет о воздействии НТР на язык. И здесь можно еще раз вспомнить Потебню, когда со свойственной ему пронизательностью он подчеркивал: «Нельзя охарактеризовать развитие языка его стремлением к отвлеченности, не прибавив, что вместе с тем развивается и его способность изображать конкретные явления»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> См. об этом статью Д.С. Данина в сб. «Человек науки» (М., 1974. С. 79). Здесь же дан анализ известной книги В. Оствальда «Великие люди» (СПб., 1910).

<sup>2</sup> Потебня А.А. Указ. соч. С. 355.



НТР показала глубокие различия, существующие между живыми языками человечества, с одной стороны, и искусственными языковыми построениями (кодами) — с другой. То, что мешает прямолинейной формализации живых литературных языков, в особенности языков с богатой литературной традицией, то устраняется и может быть осуществлено в искусственном языковом построении. Обнаруживая языковые силы, восстающие против жесткой формализации языка, НТР как бы косвенно лишний раз демонстрирует сложную общественную природу живых языков народов мира.

Даже в «голой» технике существует преимущество. «Когда самолет похож на чайку, он пользуется тем преимуществом, что на него распространяются предшествующие ассоциации, и мы по праву соединяем воедино красоту и техническую соразмерность...»<sup>1</sup>. Но если эстетические критерии небезразличны даже для машины, то в языке их удельный вес резко возрастает: как мы уже знаем, язык передает не только мысли, но и весь сложнейший мир чувств и представлений людей последней четверти XX столетия.

---

<sup>1</sup> *Мамфорд Л.* Эстетическое освоение машины // Современная книга по эстетике. Антология. М., 1957. С. 559.

---

---

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ  
ЯЗЫКА

Уже название этой главы может вызвать целый ряд вопросов. Что такое эстетика языка? Какое отношение она имеет к понятию совершенствования языка? Далее будет сделана попытка хотя бы в какой-то степени ответить прежде всего на эти два вопроса. Говорю «в какой-то степени», так как оба сформулированных здесь вопроса очень сложны, весьма многоаспектны и (что самое главное) почти совершенно не изучены.

Все мы постоянно слышим такие выражения: «он (она) красиво говорит» (часто с ироническим оттенком), «некрасиво говорит», «какой красивый язык у Тургенева», «как красиво (некрасиво) звучит это предложение или этот текст» и т.д., и т.п. Между тем, что означают подобные «красиво», «красивый» (соответственно «некрасиво», «некрасивый»)? Дать ответы на эти вопросы не всегда просто. Последующее изложение должно будет лишь подготовить читателя к возможным ответам на аналогичные вопросы.

Интерес к эстетике языка уже давно возник у многих русских и зарубежных писателей, у некоторых общественных деятелей и ученых. Филология, однако, в особенности такая ее область, как лингвистика, обычно проходила и проходит до сих пор мимо вопроса о том, что такое эстетика языка. Между тем эстетические функции литературного языка играют важную роль в самом процессе коммуникации, в процессе выражения мыслей и чувств человека.

Одним из первых, кто много занимался эстетикой языка, был итальянский философ и политический деятель Б. Кроче (1866–1952). В начале XX столетия (в 1902 г.) он опубликовал книгу

---

---

с весьма своеобразным заглавием: «Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика»<sup>1</sup>. Как это ни странно, Кроче теоретически отождествлял лингвистику (даже «общую лингвистику») с эстетикой, с «наукой о прекрасном». Кроче считал, что лингвистические категории столь же индивидуальны, как и категории эстетики. Каждое слово, каждое предложение, которое произносит любой человек, целиком подчиняются его индивидуальной воле. У больших же писателей, видных философов, крупных общественных деятелей степень подобной «индивидуальной неповторимости» языка резко возрастает.

Идеи Б. Кроче попытался дальше развить немецкий филолог (лингвист и литературовед) К. Фосслер (1872–1949). В книге, вышедшей в свет через три года после «Эстетики» Кроче, Фосслер поставил вопрос так: язык — это творчество отдельных индивидуумов, поэтому в каждое слово и в каждое предложение человек вкладывает неповторимое содержание. Когда в знаменитой сцене с Франческой в «Божественной комедии» Данте (ч. I, песня 5) героиня этого эпизода произносит несколько раз подряд слово *любовь* (*amore*), то оно воспринимается читателями каждый раз как новое слово с новым значением. Фосслер был убежден, что эстетическая окраска слова и предложения неповторима и что именно она выполняет ведущую функцию в языке<sup>2</sup>.

Как бы чувствуя уязвимость всей своей концепции, немецкий филолог (в отличие от итальянца Кроче) стремился уточнить ее: язык — это не только *творчество* (*Schöpfung*), но еще и *развитие* (*Entwicklung*). В сфере развития повторяемость и закономерность возможны, тогда как в сфере творчества господствует воля отдельных личностей. Но у Фосслера, как и у Кроче, активное «начало» в языке всегда принадлежало творчеству, трактовавшемуся как индивидуальная воля людей.

Концепция Кроче—Фосслера (с некоторыми внутренними вариантами) имела широкий резонанс, хотя в лингвистике развивалась лишь непосредственными учениками этих двух ученых. Оба исследователя отрицали объективность существования языков народов мира и тем самым оказывались во власти субъективистских построений. Вместе с тем они все же сумели дать отдельные образцы вдумчивого и тонкого анализа эстетических функций различных литературно-художественных текстов,

<sup>1</sup> Именно под таким заглавием первая часть книги и была опубликована в русском переводе в 1920 г. (итальянское название «*Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale*»).

<sup>2</sup> *Vossler K. Sprache als Schöpfung und Entwicklung. Eine theoretische Untersuchung mit praktischen Beispielen.* Heidelberg, 1905. S. 48–50.

принадлежащих разным народам. Оставался, однако, неясным вопрос о том, в какой степени эти функции относятся к языку и в какой — определяются общей эстетической концепцией того или иного писателя<sup>1</sup>.

Примерно в эти же годы принципиально антиэстетическую концепцию языка развивал Ш. Балли (1865–1947) в разных своих разысканиях, и прежде всего — во «Французской стилистике». Балли строго различал *аффективные* и *эстетические* функции языка. По его мысли, первые относятся к компетенции лингвистов и лингвистики, вторые — к компетенции эстетики и художественной литературы.

Различие этих двух функций, капитальное по мысли Балли, автор иллюстрировал таким примером.

В пьесе французского драматурга второй половины XIX столетия Э. Ожье один из персонажей восклицает: *Êtes-vous toujours furieux centre votre panier percé de gendre?* — ‘По-прежнему ли вы негодуете на вашего расточительного зятя?’ Устойчивое словосочетание *panier percé* ‘мот’ (букв. ‘дырявая корзинка’, ср. рус. «бездонная бочка») употреблено здесь атрибутивно, т.е. как определение к последующему существительному *зять* (*мот зять* > *расточительный зять*). «Чувственное различие» (у Балли везде аффективное) между словосочетанием *panier percé* ‘мот’ и «обыкновенным» (неаффективным) прилагательным *prodigue* ‘расточительный’ существует в самом литературном языке и к эстетике языка не имеет никакого отношения. Подобные регистры — это регистры языка, а не регистры эстетики. Лингвист и должен заниматься первыми, тогда как вторые регистры его интересовать не могут и не должны. Когда же исследователь начинает интересоваться тем, с какой целью употребляет Ожье или другой писатель аффективные регистры языка и как с их помощью он характеризует персонажи своей пьесы, то в этом случае лингвист покидает «почву языка» и начинает анализировать поэтику самого драматурга (с. 31 и сл. русского перевода).

Такова в общих чертах концепция Ш. Балли и такова сущность проводимого им разграничения между понятием *аффективного* в языке и понятием *эстетического* в теории литературы<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Очень острые споры вокруг наследия Кроче и особенно Фосслера не прекращаются в Западной Европе и в наше время. Большой интерес представляет переписка этих ученых: *Croze B. und Vossler K. Briefwechsel*. Berlin; Frankfurt am Main, 1955.

<sup>2</sup> См. подробнее в моих вступительных статьях к русским переводам книг Ш. Балли: «Общая лингвистика и вопросы французского языка» (М., 1955; 2-е изд. М., 2001) и «Французская стилистика» (М., 1961; 2-е изд. М., 2001).

Доктрина швейцарского лингвиста сыграла важную роль в изучении стилистики различных языков. И все же оставалось неясным, почему аффективная окраска многих регистров человеческой речи никогда не может получать эстетического осмысления. Разумеется, дело не в том, как драматург Ожье с помощью словосочетания «мот зять» характеризует свой конкретный персонаж. Но проблема имеет и более общий аспект: чем отличается аффективный оборот речи от оборота неаффективного или «обычного»? Ведь сама экспрессия слова, словосочетания или предложения может сознательно или бессознательно приобретать и эстетическую функцию.

От экспрессии «выражения» до его эстетической окраски — только один шаг. Я уже не говорю о том, что вчерашний эстетический фактор в языке может сегодня стать фактором аффективным, переключаясь из сферы индивидуальной в сферу общего литературного языка (диахронный аспект проблемы).

Хотя Балли и отрицал проблему эстетики языка, но «отталкиваясь» от эстетики в процессе обоснования аффективного регистра речи, которому он отводил чуть ли не ведущую роль в стилистике общелитературного языка, исследователь невольно обращал внимание своих читателей и на проблему эстетики языка. Эта последняя продолжала напоминать о себе даже тогда, когда ее отрицали.

Здесь возникает другой вопрос. «Ну, хорошо, — подумает иной читатель, — эстетика языка и речи (сохраняю сосюрсовское разграничение этих терминов) может в какой-то степени интересовать специалистов в области стилистики, но к общим проблемам она не имеет никакого отношения». Такое заключение было бы, однако, ошибочным. И это уже давно понимали некоторые выдающиеся лингвисты.

В 1925 г. А. Мейе, рецензируя третье издание известной книги М. Граммона о стихе (*Les vers français*. Paris, 1923), писал о том, что автор этой работы до сих пор является «единственным лингвистом, который уверенно и глубоко изучает эстетику языка»<sup>1</sup>. При этом Мейе подчеркивал исключительную важность проблемы для общей теории языка. Выдающийся французский лингвист здесь ошибался только в одном: Граммон все же и тогда не был единственным исследователем эстетики языка. В 1923 г. об эстетике языка как о серьезнейшей лингвистической проблеме писал у нас раньше Мейе Л.В. Щерба в предисловии к первому выпуску сборников «Русская речь». Но и Щерба тут же отмечал,

<sup>1</sup> Рецензию А. Мейе см.: *Bulletin de la Société de linguistique de Paris*. Paris, 1925. N 2. P. 107.

что до сих пор «языком, как выразительным средством, в науке почти вовсе не занимались»<sup>1</sup>. И все же в 20-х гг. XX в. «эстетика языка» начинает привлекать к себе внимание не только стилистов, но и лингвистов широкого профиля.

Надо, однако, заметить, что пожелания Л.В. Щербы и А. Мейе, чтобы эстетика языка стала лингвистической проблемой, так и не осуществились. В последующие десятилетия эстетикой языка лишь попутно интересовались отдельные лингвисты. В основном же этой проблемой занимались лишь исследователи языка художественной литературы, языка и стиля писателей. Иногда даже выходили и отдельные книги, в заголовках которых можно было прочесть «эстетика языка» или «эстетика слова», но содержание которых обычно распадалось на разрозненные заметки о стиле тех или иных писателей или о функциях метафоры и других тропов в их же языке<sup>2</sup>.

В 1965 г. французский журнал, посвященный эстетике, попытался вновь вернуться к эстетике языка в собственном смысле<sup>3</sup>. Вновь возникли заголовки с интригующими вопросами типа «Может ли быть тот или иной язык красивым?» И вновь раздались отрицательные ответы: нет, не может. Красивым может быть человеческое лицо или произведение искусства, но не язык. При такой абстрактной постановке вопроса ничего и нельзя было ожидать от обсуждения старой проблемы. Здесь нужны не ответы типа «да, нет», а конкретные разыскания в области истории и теории литературных языков.

## 2

Но если лингвистам так и не удалось широко поставить проблему эстетики языка и речи, то выдающиеся писатели разных стран всегда интересовались этой проблемой.

Уже Н.В. Гоголь в заметке «Объявление об издании русского словаря», перечисляя, какими способностями должен быть наделен лингвист, составляющий «объяснительный словарь» русского языка, подчеркивал, что лингвист обязан «носить в себе самом внутреннее ухо, слышащее гармонию языка. Явления таких

<sup>1</sup> Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 60.

<sup>2</sup> Такова, например, книга французского поэта и романиста Реми де Гурмона, вышедшая еще в самом конце XIX в. (*Esthétique de la langue française*. Paris, 1899) или интересная книга Б.А. Ларина «Эстетика слова и язык писателя» (Л., 1974); см. также: Бахтин М.М. К эстетике слова // Контекст. 1973. М., 1974. С. 258 и сл.

<sup>3</sup> *Revue d'Esthétique*. Paris, 1965. N 3–4. P. 225–432.

лингвистов всегда и повсюду бывали редки»<sup>1</sup>. Казалось бы причем тут «гармония языка» в процессе составления «объяснительного словаря»? Но Гоголь убежден, что она совершенно необходима. Вместе с тем писатель прекрасно понимал и другое: лингвисты, наделенные таким дарованием, повсюду встречаются редко. И самое интересное: Гоголь требует понимания «гармонии языка» не только при сочинении стихов или художественной прозы, но и при составлении «объяснительного словаря». Эстетика языка (у Гоголя «гармония языка») распространяется и на «обыкновенный» литературный язык.

Проходит немало десятков лет, и М. Горький в письме к Б. Пастернаку обращает внимание на «музыку речи». При этом писатель подчеркивает: «фонетика — это еще не музыка», музыка речи складывается из всех элементов языка<sup>2</sup>. М. Горький возражает против упрощенного понимания музыки речи как чисто фонетического, звукоподражательного явления. Весьма любопытно, что независимо от мнения Горького и через много лет после его смерти сходные мысли развивал большой поэт А. Твардовский в статье о Бунине: «Музыкальная оснастка большой русской прозы ничего общего не имеет с так называемой ритмизированной прозой, невыносимой для сколько-нибудь взыскательного слуха...» (здесь имеется в виду А. Белый)<sup>3</sup>. Горький и Твардовский справедливо выступают против такого, к сожалению, широко распространенного понимания музыки художественной прозы, согласно которому подобная музыка оказывается либо чисто формальным явлением (звукоподражание), либо явлением нарочито искусственным (ритмизированная проза).

Оба выдающихся писателя защищают совсем иное осмысление музыки речи, обоснованное у нас уже Гоголем: музыка обуславливается *всем строем языка*, в каком он предстает в данном художественном произведении. При этом Гоголь, как мы видели, распространял подобные требования и на литературный язык в целом.

Сходные мысли обосновывали выдающиеся писатели разных стран. В 1840 г. в своем знаменитом письме к Бальзаку Стендаль признавался: «Сочиняя “Пармский монастырь”, я каждое утро прочитывал, чтобы найти надлежащий тон, две или три страницы Гражданского кодекса»<sup>4</sup>. Писатель хотел этим сказать, что

<sup>1</sup> Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. // Под ред. Н.С. Тихонравова. Т. 12. СПб., 1901. С. 187.

<sup>2</sup> Литературное наследство. Т. 70. М., 1963. С. 301.

<sup>3</sup> Твардовский А. О Бунине // Новый мир. 1965. № 7. С. 229; см. также интересное исследование бельгийского ученого: Delbouille P. Poésie et sonorités. Paris, 1961.

<sup>4</sup> Стендаль. Собр. соч.: В 15-ти т. Т. 15. М., 1959. С. 322.

эстетика языка романа должна определяться не какими-то пышными фразами, а самой суровостью повествования (как в «Гражданском кодексе»). Что это так, свидетельствует другое письмо Стендаля, адресованное госпоже Ж. Готье: «Никогда не говорите *жгучая страсть Оливье к Елене...* Романист должен заставить поверить *жгучей страсти*, но никогда ее не называть... Если вы говорите *пожирающая его страсть*, вы впадаете в роман для горничных»<sup>1</sup>.

Следовательно, в реалистической художественной прозе эстетика языка обнаруживается не в «громких словах» и «пышных фразах», а в *самых обыкновенных речевых построениях*. «Романист должен заставить» читателя поверить всему, что хочет сказать автор, не имеющий права прибегать к внешним «красотам» стиля. Эстетика языка должна обнаруживаться в языке, который с чисто внешней точки зрения кажется самым обыкновенным.

А если так, то эстетика языка, как и эстетика речи, распространяется на весь литературный язык, служащий определенной цели. Одна из задач текста: читатель должен поверить автору или автор должен заставить читателя поверить ему — автору.

В большой реалистической литературе второй половины XIX в. это положение становится ведущим принципом отношения писателя к языку своего произведения. В этом плане несомненный интерес представляет полемика великих мастеров слова с писателями «второго ранга», с писателями, которые превращают язык своих произведений в нечто, сделанное искусственно (ритмизированная проза, надуманные тропы, невероятные сравнения и т.д.).

Мопассан, сообщая в письме к Флоберу различные отзывы о своей «Пышке», приводит и мнение Гюисманса, любителя надуманно «приподнятой» прозы: «Посредственно, ни сюжета, ни композиции, мало стиля»<sup>2</sup>. В этом отзыве сталкиваются два принципиально различных отношения к языку художественного произведения. Одно мнение (подлинно реалистическое): язык художественного произведения, тщательно продуманный, вместе с тем должен быть предельно простым, естественным. Тщательная продуманность (эстетическая функция) не имеет права мешать полной естественности изложения. Второе мнение (антиреалистическое): художественная проза должна быть «сделана» так, чтобы отличаться особым строем, особым складом, быть не похожей на обычный литературный язык (в противном случае у автора «мало стиля»).

Здесь необходимо выделить то, что само понятие «эстетического» гораздо шире и разнообразнее и понятия «красивое» и

<sup>1</sup> Там же. С. 260.

<sup>2</sup> Мопассан Ги де. Полн. собр. соч.: В 12-ти т. Т. 12. М., 1958. С. 134.



понятия «прекрасное»<sup>1</sup>. Применительно же к языку и речи «эстетическое» следует осмыслять как *сознательное отношение* говорящего или пишущего не только к тому, что он говорит и о чем пишет, но и к тому, как говорит и как пишет.

Разумеется, степень подобной продуманности может быть различной. Поэтому развитой литературный язык потенциально таит в себе эстетическую функцию как бы первой степени, тогда как язык художественной литературы (больших мастеров) — эстетическую функцию второй, высшей степени. Разумеется, у отдельных индивидуумов подобное соотношение может меняться, но в целом оно сохраняет свою силу и значение. Поэтому широко распространенное мнение, согласно которому лишь в языке писателей допустимо «искать эстетику», тогда как литературный язык ничего общего с ней не имеет, следует признать мнением несостоятельным.

Необходимо отвергнуть и другое, не менее широко распространенное заблуждение. Часто утверждают, что эстетический критерий — это всегда субъективный и неопределенный критерий. Опираясь на него, можно прийти к заключению, будто бы «искусство манипулирования словом» и есть подлинное искусство. Поэтому эстетический критерий либо вовсе отвергается такими исследователями, либо — в лучшем случае — оценивается иронически. Между тем в действительности эстетический критерий ничего общего не имеет ни с «манипулированием словом», ни с субъективным произволом. Подобный критерий может быть точно исследован. К тому же литературный язык, лишенный эстетической функции, наполовину лишается своих огромных выразительных возможностей. Он делается бедным, однообразным, беспомощным.

В главе о научном стиле изложения я уже критиковал доктрину, согласно которой такому стилю будто бы достаточны самые элементарные коммуникативные ресурсы языка. Тем более недопустимо обеднять ресурсы общелитературного языка.

### 3

Как же можно изучать эстетическую функцию общелитературного языка? Разумеется, любой живой язык человечества — это прежде всего определенная коммуникативная система, с помощью которой люди общаются друг с другом. Трудно переоценить именно эту функцию языка. Она является центральной. Трудно представить себе ту или иную общность людей, не связанную коммуникативными ресурсами языка. Все это бесспорно.

<sup>1</sup> См.: Лосев А.С., Шестаков В.П. История эстетических категорий. М., 1965. С. 111.

Вместе с тем бесспорно и другое: любой язык в отличие от любой искусственной «коммуникативной системы знаков» выступает не только как средство общения между людьми, но и в других, довольно разнообразных функциях. С помощью языка люди передают чувства и переживания, радость и горе, восхищение и удивление, отнюдь не всегда преследующие чисто коммуникативные цели. Во многих случаях то или иное состояние людей помогает им в процессе «самовыражения», в процессе передачи их отношения к окружающему миру, обществу, к обстановке.

Теперь часто говорят, что все перечисленные средства тоже преследуют коммуникативные цели. Но, во-первых, нет никаких оснований безмерно расширять понятие коммуникации, и, во-вторых, если уже и усматривать в подобных случаях коммуникацию, то следует тут же признать, что это совершенно особые виды коммуникации. Коммуникация коммуникации рознь. Факты свидетельствуют об исключительной полифункциональности языка. Только в ее свете можно по-настоящему понять зависимость языка от уровня развития культуры того или иного общества, процесс исторического совершенствования языка.

До сих пор сама проблема эстетики языка осложнялась по разным причинам. Как я уже упомянул, дискуссия на страницах французского «Эстетического журнала» всю проблему свела к одному вопросу — «Можно ли говорить о том или ином языке как о языке красивом?»<sup>1</sup> Вопрос был поставлен по меньшей мере наивно. Не стоило и начинать дискуссию для того, чтобы убедиться в очевидной истине: сам по себе язык действительно не может быть ни красивым, ни некрасивым. Проблема эстетики языка заключается совсем не в этом.

В самом деле. Языки, во-первых, могут быть более развитыми и менее развитыми, более богатыми и менее богатыми, опираться на старую письменную традицию и совсем не иметь подобной традиции. Все это по-разному отражается на потенциальных эстетических возможностях тех или иных языков. Во-вторых, языки, в особенности литературные языки, не будучи сами по себе ни красивыми, ни некрасивыми, в состоянии приобрести дополнительную эстетическую функцию в процессе коммуникации, в особенности, если этими языками пользуются люди достаточно образованные, небезразличные не только к тому, что они говорят, но и к тому, как они говорят.

Здесь необходима небольшая историческая справка. Открытие и обоснование сравнительно-исторического метода в 10–20-х гг. XIX столетия привело к тому, что все дальнейшие усилия ученых

<sup>1</sup> Revue d'Esthétique. Paris, 1965. N 3–4.

были направлены на разработку условий развития языков мира, на их родственные и типологические связи, на их взаимоотношения. Интерес к этим условиям стал увеличиваться к 70-м гг. XIX в., в эпоху обоснования так называемой младограмматической доктрины с ее пристальным вниманием прежде всего к фонетике и морфологии разных языков.

В начале XX в., в особенности после публикации «Курса» Соссюра в 1916 г., обострилось внимание к синхронным проблемам науки о языке, стало ясным стремление осмыслить язык прежде всего как систему отношений. Со второй половины XX в. многие лингвисты начали истолковывать язык как предельно абстрактную систему фонологических и морфологических отношений прежде всего. В подобных доктринах полифункциональность языка как бы отодвинулась на задний план, язык стал анализироваться в монофункциональном плане как абстрактная коммуникативная система знаков.

Односторонность такого подхода к языку давно замечали отдельные выдающиеся ученые. Уже в 20-х гг. XX в. об этом писал, в частности, Л.В. Щерба. И что особенно интересно, русский филолог считал: именно эстетика языка должна показать полифункциональность самого языка. Л.В. Щерба подчеркивал, что лингвисты обязаны обращать пристальное внимание «... на все то, что делает язык выразителем и властителем наших дум». По мысли ученого, широкая разработка эстетики языка может стать «...тем мостиком между языковедением и образованным русским обществом, который был сломан во второй половине XIX века»<sup>1</sup>.

Эти мысли Л.В. Щербы весьма актуальны и в наше время. Прекрасно сказано о языке как «выразителе и властителе наших дум». Не менее справедлива мысль Л.В. Щербы о том, что именно изучение эстетики языка, его огромных выразительных возможностей может стать тем необходимым «мостиком», который поможет науке о языке привлечь к себе внимание широких кругов нашего общества (язык как «властитель наших дум»).

Хотя отечественная филология почти совсем не располагает специальными исследованиями в области эстетики языка и речи, интерес к «выразительным возможностям» языка в самом широком смысле всегда был характерен для многих наших ученых, в частности для А.А. Потебни, Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, В.М. Жирмунского, Б.А. Ларина, Г.О. Винокура и др.

Проблема эстетики языка непосредственно связана с проблемой литературных языков. Только для тех ученых, которые без

<sup>1</sup> Предисловие Л.В. Щербы к сб. «Русская речь» (Вып. 1. Пг., 1923. С. 11–12).

всяких серьезных оснований видят в литературном языке нечто искусственное, как бы «сделанное», и которые склонны отождествлять литературные языки со «стандартно построенными искусственными системами», только для них сама проблема литературных языков оказывается где-то за пределами живых языков. Разумеется, для таких филологов не существует и не может существовать и проблема эстетики языка.

Вопрос о месте в филологии самой темы «литературные языки» — это и старый, и новый вопрос одновременно.

Уже в 70-х гг. XIX столетия младограмматикам казалось, что все в языке, что «сделано» человеком, где обнаруживаются его воля, разум, чувство, к лингвистике не относится. В. Вундт, во многом споря с младограмматиками, поддерживал их в этом вопросе. Он стремился изучать в языке лишь все «непроизвольное», поэтому литературные языки с их сознательно выработанной в определенную эпоху нормой (при всей ее постоянной исторической подвижности) казались немецкому ученому далекими от лингвистики. Острый спор по этому вопросу (в известной мере не законченный и в наше время) проходил в начале XX столетия<sup>1</sup>.

Как известно, язык объективно складывается вместе со сложением и развитием самого народа, на нем говорящего. С определенной *исторической* эпохи — различной в различных странах и у различных народов — те или иные сферы языка начинают все более и более контролироваться выдающимися представителями данного народа, прежде всего в области литературного языка, причем не только на ниве художественной литературы, но и в литературе научной, в нашей повседневной речи, функционирующей с соблюдением литературных норм языка данной исторической эпохи. При таком понимании соотношения стихийного и сознательного проблема эстетики языка вместе с проблемой его литературной нормы должна серьезно интересовать лингвистов и филологов.

#### 4

При изучении эстетики языка возникает трудный вопрос: что следует относить к эстетике языка и что — к эстетике речи? Когда анализируется язык большого писателя, особенности его эстетического отношения к языку обычно детерминируются его же собственной индивидуальной поэтикой. Подобные особенности

<sup>1</sup> См.: Кудрявский Д. Психология и языкознание. По поводу новейших работ Вундта и Дельбрюка // Изв. ОРЯС. 1902. Т. IX. Кн. 2. С. 177 и сл.; Зелинский Ф. В. Вундт и психология языка // Вопр. философии и психологии. Кн. 61. СПб., 1902. С. 533–544.

выступают как особенности речи данного лица и могут быть далеки от эстетических особенностей языка вообще. В таких случаях говорят об эстетике речи, а не об эстетике языка. И хотя в разных странах мира опубликовано немало книг под названием «Язык Пушкина» или «Язык Шекспира», «Язык Мольера» или «Язык Гёте», в них обычно анализируются различные концепции речи, а не концепции языка. Соответственно и главы, посвященные эстетике языка писателей, выступают в своих речевых, а не общезыковых функциях и характеристиках.

*Эстетику языка и эстетику речи различать действительно необходимо.* Первая относится к самим ресурсам и возможностям языка, вторая — к реализации подобных ресурсов и возможностей в том или ином тексте, у того или иного писателя, ученого или просто-напросто пишущего человека, хорошо понимающего, однако, особенности родного или очень близкого ему языка. Само наличие в любом развитом языке многочисленных синонимов (не только, разумеется, лексических, но и грамматических, синтаксических, стилистических) свидетельствует о том, что язык обычно предоставляет свои многочисленные ресурсы говорящим или пишущим людям. Именно этим прежде всего живые языки мира отличаются от всевозможных искусственных «знакомых построений», которые обычно довольствуются принципом однолинейных противопоставлений «да — нет», «черное — белое», «хорошо — плохо».

Как мы уже знаем, имеется качественное различие между эстетикой речи у большого писателя и эстетикой речи у человека, который стремится писать хорошо свои обычные бытовые и деловые «бумаги». Подобное различие известно: у писателей нового времени сам язык становится как бы частью их творчества. На аналогичном несходстве основано и другое деление — литературоведческой стилистики и стилистики лингвистической.

Проводя это последнее деление, не следует, однако, забывать, что и та и другая стилистика имеют дело с языком в его различных функциях, в том числе непременно и в функции эстетической. К сожалению, с этим не всегда считаются. Так, например, в целом интересном, коллективном сборнике «Смена литературных стилей» утверждается: «Стиль Ю. Казакова во многом коренится в трудных, подчас темных сторонах быта и в извилинах личного чувства»<sup>1</sup>. В таком тезисе стиль прямо связывается с бытом и чувствами, как бы минуя формы языка. Между тем, как бы ни была специфична стилистика литературоведческая в отличие

<sup>1</sup> Смена литературных стилей. М., 1974. С. 191.

от стилистики лингвистической, обе они имеют дело прежде всего с языком.

Эстетика языка предопределяется самими ресурсами и возможностями языка. Чем богаче и разнообразнее подобные ресурсы и возможности, чем богаче и разнообразнее литературная традиция данного языка (все это определяется *историческими* условиями его сложения и последующего развития), тем потенциально богаче и эстетика языка. Мы все постоянно слышим, что на анализируемом языке можно «сказать и так и этак», что одну и ту же мысль можно передать «разными словами» (причем «словами» здесь в самом широком смысле). Под этими несколько наивными школьными формулировками кроется, однако, верная и глубокая мысль: *ресурсы любого развитого языка неисчерпаемы. На эту же неисчерпаемость и опирается эстетика языка.* На нее же должна опираться и теоретическая разработка эстетической функции языка.

При всем значении разграничения эстетики языка и эстетики речи между ними существует и постоянное взаимодействие. Дело в том, что эстетика языка как бы реализуется в эстетике речи. Здесь можно провести частичную аналогию с взаимоотношением между самим языком и самой речью: любой живой язык обычно бытует в процессе функционирования в речи. Грамматики русского или английского языков в абстракции существуют «сами по себе», но чтобы проследить их функционирование, необходимо проследить их силу и эффективность в речи. И все же грамматику или лексику языка, тем более его фонетику и фонологию, легче представить в абстракции (их системы и их контуры очерчены достаточно четко), чем эстетику языка. В этом отношении взаимодействие между эстетикой языка и эстетикой речи оказывается более тесным и непосредственным, чем взаимодействие между языком и речью вообще.

К сожалению, у нас обычно не различали эстетику языка и эстетику речи. Если и признавались «какие-то» эстетические «явления» в языке, то они сводились к эстетике речи. В свою очередь, эстетика речи истолковывалась узко, лишь применительно к текстам художественной литературы. Я убежден, однако, что сводить эстетику речи только к художественной литературе означает обеднять самый предмет эстетики речи и тем самым неверно изображать типы ее взаимодействия с эстетикой языка.

В главе «Историческое совершенствование научного стиля изложения» я попытался показать несостоятельность концепции, согласно которой современная наука нуждается лишь в искусственном языке. Если сторонники этой, к сожалению, весьма

распространенной доктрины были бы правы, тогда, конечно, эстетическая функция «языка науки» оказалась бы совершенно невозможной. В той же мере, в какой «язык науки» сам опирается на все ресурсы литературного языка, для «языка науки» эстетическая функция оборачивается не «красивостью слога» (как, увы, думают многие), а степенью убедительности и яркости изложения, степенью воздействия на читателей или слушателей. И при этом стиль научного изложения сохраняет свою специфику, показать которую я стремился в уже упомянутой главе.

В «Плодах просвещения» Л. Толстого, где изображен псевдоученый профессор Кругосветов, поражает крайне ограниченный набор языковых средств, которым располагает профессор. То же можно сказать и о языке бездарного ученого Астье Рея — центрального персонажа популярного романа А. Доде «Бессмертный». В мировой литературе хорошо известны и другие отрицательные персонажи лжеученых, «набор» языковых средств которых либо отличался крайней скудостью, либо сводился к немногим стандартным формулам, стандартным клише. Все это лишнее свидетельствует о том, что проблема эстетики языка и речи так или иначе распространяется на многие виды и формы функционирования языка.

## 5

Эстетическое восприятие языка, как и эстетическое восприятие окружающей нас действительности, очень часто противопоставляют «деловому», повседневному восприятию и жизни и языка. «Занятому человеку не до эстетики» — рассуждают в таких случаях «практики». И хотя подобное противопоставление неправомерно и заметно обедняет возможности самого человека, оно широко распространено.

В свое время М. Твен иллюстрировал аналогичное противопоставление таким примером. В книге «Жизнь на Миссисипи», рассказывая историю своего обучения искусству лоцмана, писатель подчеркивал два, как ему казалось, принципиально различных отношения к природе: у пассажира, который отдыхает на палубе парохода, и у лоцмана, отвечающего за сохранность судна, проходящего через извилистые каналы. Пассажир любит реку и красивым закатом (эстетическое отношение к природе), лоцману не до красоты природы, его мысли и чувства заняты другим, он «на работе»<sup>1</sup>. Аналогичное различие лингвисты

<sup>1</sup> Твен М. Полн. собр. соч. Кн. 14. СПб., 1911. С. 82.

переносят и на язык: «просто говорящему» человеку не до красоты языка, красотой языка обычно занимаются поэты и прозаики (это их специальность).

При всей своей кажущейся убедительности подобное противопоставление поверхностно. Разумеется, никто не будет спорить, что у профессиональных писателей нашего времени сознательное отношение к языку иного уровня и иной степени, чем у «просто говорящих» или «просто пишущих». Это бесспорно. Но, во-первых, не следует забывать, что и среди этих двух последних категорий людей имеется множество уровней, множество оттенков. Во-вторых, сам язык предоставляет «просто говорящим» и «просто пишущим» многочисленные возможности выбора из сферы своих ресурсов (лексических, словообразовательных, грамматических, стилистических). При этом нельзя забывать, что коммуникация среди «просто говорящих» и «просто пишущих» далеко не всегда односложна (да — нет, хорошо — плохо, буду — не буду и пр.). Сами цели коммуникации могут обусловить необходимость обдумывания (обычно мгновенного) в процессе выбора языковых средств. Там же, *где есть обдумывание, там есть и эстетика языка*, хотя бы в самых элементарных своих проявлениях.

Только что речь шла о качественном отличии эстетики языка от эстетики языка художественной литературы нового времени. При этом между той и другой эстетикой всегда существовало, как существует и в наши дни, глубокое внутреннее взаимодействие.

В свое время А.Г. Горнфельд был безусловно прав: языковое мастерство писателя обнаруживается не только в том, что писатель творит новые формы выражения, но и в том, что он их не творит. При этом писатель умеет по-настоящему пользоваться теми возможностями языка, которыми данный язык уже располагает. «Хотя художественная литература вся в творчестве слова, однако создание новых слов не ее основное дело»<sup>1</sup>. И здесь нет ни парадокса, ни противоречия. Эстетика языка у большого мастера обычно опирается не только и даже не столько на новое в самом языке, сколько на глубокое истолкование и осмысление наличных ресурсов языка, его скрытых, никогда до конца не выявляемых возможностей и потенциалов. Я уже напоминал слова Стендаля о том, как он учился писать роман, тщательно изучая язык и стиль «Гражданского кодекса». А вот современный исследователь Б.Л. Ларин, анализируя язык рассказа М. Шолохова «Судьба человека», справедливо противопоставляет мужественную простоту писателя тем авторам, «... у которых каждая фраза

<sup>1</sup> Горнфельд А.Г. Муки слова. М.; Л., 1927. С. 19.



колет и щиплет читателя, поражает парадоксальностью..., но закрыв книгу, читатель не испытывает ничего, кроме утомления от царяпин да глухого эха пустозвонства»<sup>1</sup>.

Исследователь творчества Гёте сообщает, что когда классик немецкой литературы перевел с итальянского на немецкий язык обширное жизнеописание Б. Челлини (1500–1571), то Гёте сумел сохранить «грубовато-простонародную лексику и небрежно-торопливый слог оригинала...». Гёте восхищался реализмом видения людей Возрождения, их ярким темпераментным и простым повествовательным стилем<sup>2</sup>.

Подобные факты подтверждают, что эстетика языка и речи у больших писателей обычно всегда взаимодействует с эстетикой общелитературного языка данной эпохи.

И все же вопрос далеко не всегда решается просто. Из четырех самых великих русских прозаиков XIX столетия — Гоголя, Тургенева, Достоевского и Л. Толстого — лишь язык Тургенева сравнительно близок к общелитературной норме его эпохи. Язык трех других авторов отличается, как известно, исключительной индивидуальностью, неповторимостью, допускает постоянные отклонения от общелитературной нормы в авторском тексте. И все же, чтобы понять лингвистическую индивидуальность каждого из этих мастеров, исследователь обязан изучить ее как бы *на фоне общелитературного языка* соответствующей эпохи. В противном случае нельзя будет понять, в чем собственно обнаруживается индивидуальность каждого писателя.

Гоголь, один из самых смелых новаторов русского языка, вместе с тем стоял на страже норм этого же языка. В уже цитированной заметке «Объявление об издании русского словаря» (около 1848 г.) он с негодованием выступал против тех, кто «извращает прямое, истинное значение коренных русских слов»<sup>3</sup>. И здесь тоже не было никакого противоречия. Уже в нашу эпоху подобную ситуацию хорошо объяснил один из самых замечательных русских лингвистов: «Когда чувство нормы воспитано у человека, тогда он начинает чувствовать всю прелесть обоснованных отступлений от нее у разных писателей»<sup>4</sup>. Продолжая эту мысль, то же можно сказать и об «обыкновенных смертных», хорошо и свободно владеющих нормами родного языка.

<sup>1</sup> Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя. Л., 1974. С. 262.

<sup>2</sup> См.: Вильмонт Н. Век Гёте и автобиография поэта. Вступ. статья к кн.: Гёте И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда. М., 1969. С. 12.

<sup>3</sup> Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. // Под ред. Н.С. Тихонравова. Т. 12. С. 187.

<sup>4</sup> Шерба Л.В. Спорные вопросы русской грамматики // Русский язык в школе. 1939. № 1. С. 10.

И все же следует различать два основных типа отступлений от норм общелитературного языка среди тех, кто в целом стремится соблюдать подобные нормы. В одном случае (первый «тип») отступления — это отступления как бы в кавычках: говорящему и пишущему просто не всегда известны подлинные нормы. В другом случае (второй «тип») говорящий или пишущий более внимательно изучает нормы литературного языка, хорошо ими владеет, но в строго определенных случаях позволяет себе отклоняться от них в тех или иных контекстах. В 1870 г. И.С. Тургенев писал П.В. Анненкову о А.И. Герцене: «Язык его, до безумия неправильный, приводит меня в восторг: живое тело»<sup>1</sup>.

В подобных ситуациях речь идет уже о *сознательных отступлениях* от общелитературных норм у больших писателей. Подобные отступления могут преследовать самые разные цели, но в тексте «от автора» — прежде всего цели эстетические (особый способ воздействия на читателей, стремление обратить внимание на ту или иную мысль, чувство, намек, желание подчеркнуть одно, а не другое и т.д.).

Приведу здесь два примера. У А. Толстого в романе «Петр Первый» встречаются такие предложения: «Он взглянул на его *босое* лицо» или «Несколько *порожных* лошадей скакало по полю» (курсив мой. — Р.Б.). Как известно, *босой* — ‘необутый’, ‘с голыми ногами’. В других славянских и индоевропейских языках это слово выступает иногда и в более широком значении ‘*нагой*’, ‘*голый*’ (ср., например, литовск. *Vāsas*, латышск. *bass*). Но лицо может быть *босым* в переносном смысле лишь при соблюдении определенных привычек членами общества определенной эпохи. На фоне мужских *бородатых* фигур лицо, лишенное бороды, представляется писателю *босым*, лишенным каких-то обязательных признаков. Подобный семантический неологизм в язык, как известно, не вошел. Но он помог писателю создать образ одним лишь «сдвигом» значения, одним штрихом, одним зорким наблюдением. Эстетическая функция языка выступает здесь со всей очевидностью. То же следует сказать и о *порожных* лошадях на поле битвы. Обычная картина боя того времени — всадники на лошадях. Сбитые же врагом всадники как бы оставляют лошадей *порожными*.

Основная трудность изучения эстетики языка художественной литературы определяется прежде всего так называемым парадоксом системности. Понятие системы опирается на понятие целостности, но целостность складывается из элементов, ее образующих. Эстетика языка художественного произведения большого

<sup>1</sup> Тургенев И.С. Собр. соч. Т. XI. М., 1949. С. 267.

писателя — это тоже определенная целостность или система. Однако осмыслить ее возможно лишь путем анализа тех элементов, которые ее формируют. Так возникает парадокс системности: система отрицает элементы (части одной системы), но без них она сама существовать не может. Анализ сочетаний типа *босое лицо* или *порожные лошади* — это анализ элементов (фрагментов) целостной системы, хотя сама система не распадается на подобные элементы. Вместе с тем конкретные факты — слова, словосочетания, особенности построения предложения, интонация, своеобразие авторской речи и речи персонажей — все это и многое другое, казалось бы разрозненное и несвязанное, помогает представить себе своеобразие языка данного писателя. В только что приведенных примерах эстетика обнаруживается в самом соотношении общих значений слов и значений, возможных только в определенном контексте и в определенную историческую эпоху. Вместе с тем контекстные значения опираются на ресурсы и резервы общелитературного языка.

Эстетику языка, тем более эстетику языка художественной литературы, надо понимать функционально. Только плохие школьные учителя литературы считают, что эстетика языка — это так называемые «красоты» стиля. К сожалению, с прямыми или косвенными отголосками подобного пошлого «истолкования» эстетики языка приходится, как мы видели, иногда встречаться и в научной, и, в особенности, в научно-популярной литературе.

К эстетике языка художественной литературы относятся все случаи такой «работы» языка, когда она дополняет и усиливает его же коммуникативную функцию, функцию выражения мыслей и чувств. В романе В. Богомолова «В августе сорок четвертого...»<sup>1</sup> нет никаких «красот» языка, хотя его эстетическая впечатляемость не может ускользнуть от взгляда внимательного читателя. В тылу советских войск, освобождающих нашу территорию от вражеской оккупации, обнаружена опасная группировка противника, передающая военную информацию в ставку Гитлера. Наши войска получают приказ обнаружить эту группировку и обезвредить ее. Одному из руководителей подразделения Таманцеву начинает казаться, что он напал на след опаснейшего врага. И вот: «Жизнь — чертовски капризная штука. Изредка она улыбается, но чаще поворачивается задом и показывает свой характер. Как ни странно, в этот день она нам улыбнулась». Эстетическая функция

<sup>1</sup> См.: Богомолов В. В августе сорок четвертого... // Новый мир. 1974. № 10, 11, 12.

языка здесь обнаруживается, в частности, в том, что подобный фрагмент — аналогичных ему в романе множество — выступает одновременно и как результат размышлений персонажа романа (Таманцева) и как авторская сентенция. В самом сближении подобного рода обнаруживается определенная манера рассказчика: автор будто бы «сливается» с положительными героями повествования (в данном случае — действительно героями). Но вот Таманцев в поисках следов врага в лесу поднимает надкушенный свежий огурец. «Я (теперь уже только Таманцев. — *Р.Б.*) отрезал кусочек, пожевал и тут же выплюнул — горький! Поэтому его и выбросили. Да здравствуют горькие огурцы! Да здравствуют следы и улики!»<sup>1</sup>.

Здесь, разумеется, нет никаких «красот» ни языка, ни стиля. Между тем очевидна тщательная эстетическая устремленность языка, характерная для всего романа. Она обнаруживается в максимальном сближении прямой и авторской речи, в интонациях, целиком детерминированных контекстом («Да здравствуют горькие огурцы!»), в почти неуловимых переходах от действий персонажей («Я весь напрягся... я стал обыскивать.. я отрезал кусочек...») к их же размышлениям по поводу данных действий («Да здравствуют следы и улики!»). Эстетика языка оказывается тесно связанной с замыслом самого романа, его стремительным и напряженным действием.

Казалось бы, причем здесь эстетика речи (в каждом конкретном случае эстетика языка может обернуться эстетикой речи), когда персонаж романа восклицает «Да здравствуют горькие огурцы!»? Между тем все дело в том, что коммуникативное «задание» подобного восклицательного предложения многопланово, полифункционально: найденный огрызок горького огурца свидетельствует о том, что в лесу были люди, что они проходили именно здесь, что огурец оказался брошенным, ибо был горьким, что следы врага, следовательно, найдены. Все это заключено в одной короткой восклицательной фразе, которая и подготавливает второе торжество — «Да здравствуют следы и улики!» *Эстетика речи опирается на эстетику языка*: сам язык дает возможность автору особо использовать различные конструкции, придать им восклицательную интонацию, соединить их между собой в определенной последовательности. В результате язык — его конструкции, его слова, его интонации — в сознательной «обработке» автора помогает автору же передать и наблюдательность персонажа, и его радость в связи с находкой, и план его дальнейших действий,

<sup>1</sup> Там же. № 10. С. 28.

и многое другое. Язык всего эпизода оказывается осмысленным в разных планах, в том числе и в плане эстетическом. В создании художественной полифункциональности приведенного эпизода языку принадлежит отнюдь не последняя роль.

Могут возразить: то, что отнесено здесь к эстетике языка, определяется идеей и содержанием романа. Но в хорошем художественном произведении эстетика языка обычно «работает» в том же направлении, к которому стремится и идея произведения. Задача конкретного анализа того или иного романа, повести, рассказа и заключается, в частности и в особенности, в том, чтобы обнаружить и продемонстрировать взаимодействие и специфику каждого из этих «рядов».

Я здесь не сравниваю двух во многом различных писателей. Я только хочу подчеркнуть, что в любом в той или иной мере значительном художественном произведении его автор стремится как можно полнее использовать эстетические возможности самого языка. И чем знаменательнее произведение, тем в большей степени эстетические ресурсы языка приходят на помощь автору в передаче общего замысла его сочинения.

## 6

Вернемся к понятию двойного разграничения: эстетики языка и эстетики речи, эстетики общелитературного языка (ее часто называют лингвистической стилистикой) и эстетики языка художественной литературы (ее часто называют литературоведческой стилистикой). Вместе с тем *эстетика общелитературного языка* — это та основа, на которой как бы вырастают другие из перечисленных здесь форм и видов эстетики.

Понятие литературного языка, как и понятие его нормы, тесно связано с языком не только в его «чисто» коммуникативной функции. Сама коммуникация, если она осуществляется на уровне литературного языка, преследует в той или иной степени (иногда — в минимальной) и эстетические цели. «Хорошо сказано (написано) — плохо сказано (написано)», «правильно сказано (написано) — неправильно сказано (написано)» редко возможны вне эстетических оценок: одобрение или неодобрение чаще всего относятся и к содержанию высказывания, и к тому, как подобное содержание было выражено, передано, акцентировано. Именно поэтому различные эстетические аспекты языка и речи опираются на эстетические возможности прежде всего общелитературного языка.

Как мы уже знаем, эстетику общелитературного языка можно было бы назвать лингвистической эстетикой первой ступени. Все

последующие эстетические ресурсы языка — это как бы верхние этажи, возникающие на *фундаменте общелитературного языка* с его широкими критериями правильного и неправильного, допустимого и недопустимого, выразительного и невыразительного и т.д. Что же касается эстетики языка художественной литературы, то она была бы невозможна, если бы литературный язык не предоставлял в ее распоряжение и свои явные и свои менее явные (внутренние) эстетические ресурсы. Разные эстетические возможности языка постоянно обогащают друг друга.

Обычно считают, что эстетика языка художественной литературы — это нечто всегда более или менее вольное, резко отличающееся от эстетики общелитературного языка. Между тем подобное соотношение может быть гораздо более простым. На вопрос: «Какие “вольности языка” может позволить себе поэт или прозаик?» Мопассан любил отвечать так: «Никаких»<sup>1</sup>. Таким ответом большой мастер и блестящий стилист хотел сказать, что у настоящего писателя все отступления от норм литературного языка его времени должны быть глубоко обоснованы содержанием самого повествования. Подобные отступления тем самым перестают быть вольными и выступают как необходимые. Вместе с тем открываются возможности для вполне объективного изучения эстетики языка художественной литературы.

Следует всегда помнить об исторической подвижности понятия точности в области языка и стиля художественной литературы. Известно, в частности, что история русской рифмы прошла сложный путь от рифмы точной (Кантемир, Ломоносов) к рифме неточной (Блок, Маяковский)<sup>2</sup>. Однако эстетические возможности так называемой неточной рифмы оказались неизмеримо большими, чем рифмы точной. Дело в том, что в пределах фонетически неточной рифмы поэт должен быть эстетически более точным, менее шаблонным, чем в пределах фонетически точной рифмы.

Совсем по другому поводу известный писатель заметил: «Точность искусства не одинакова с точностью грамматики. У Алексея Толстого иволга посвистывает водяным голосом. *Водяной голос* — это неточность. Но на таких неточностях стоит искусство»<sup>3</sup>.

В нашу эпоху — эпоху постоянных поисков точности в сфере разных наук — очень важно правильно осмысливать *специфику самой точности в каждой отдельной науке*, в каждой области знания. К сожалению, эстетику языка и речи, тем более эстетику

<sup>1</sup> *Maupassant G. de. La vie errante. Paris, 1900. P. 100.*

<sup>2</sup> См.: *Жирмунский В.М. Рифма, ее история и теория. Пг., 1923. С. 101.*

<sup>3</sup> *Федин К. Писатель. Искусство. Время. М., 1961. С. 202.*

языка художественной литературы, до сих пор обычно относят к чему-то неточному, субъективному, условному. Это не только несправедливо, но и неправомерно. До тех пор, пока будет господствовать подобный взгляд на эстетику языка и речи, они так и останутся неисследованными и неосмысленными. «Субъективность» и той и другой эстетики в действительности *детерминирована объективно* самим процессом непрерывного развития литературного языка и языка художественной литературы.

Эстетические функции языков мира неуклонно и постоянно совершенствуются по мере развития и совершенствования самих языков, в особенности их литературных норм. Росло сознательное отношение к литературным языкам, росло вместе с этим и сознательное отношение к выразительным (в самом широком смысле) возможностям этих языков. В области художественной литературы подобная взаимозависимость выступала в еще более явном виде: чем ближе к современности, тем, как общее правило, выше поднималась ответственность писателей не только за то, что они изображают, но и за то, как они изображают. В подобном «как» доля языка была весьма значительной. Все это расширяло, укрепляло и совершенствовало не только эстетическую функцию литературных языков, но и эстетическую функцию языка художественной литературы в самых различных странах.

Чтобы предоставлять возможность людям так «просто» передавать их мысли и чувства, как в приведенных примерах («его босое лицо», «да здравствуют горькие огурцы!» и им подобные), язык должен был пройти большой и сложный путь исторического развития, путь формирования его же многообразных и разнообразных ресурсов.

Эстетическая функция языка, как и эстетическая функция речи, не только не «подрывают» основной коммуникативной функции языка, но обогащают ее возможности и придают языку огромную силу и неисчерпаемую выразительность<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См. Приложения с. 290–295.

---

---

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПРОБЛЕМА  
РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА  
В НЕКОТОРЫХ  
НАПРАВЛЕНИЯХ  
СТРУКТУРАЛИЗМА

Обратимся теперь к тому, как ставилась и ставится проблема развития языка в некоторых направлениях структуралистической лингвистики. Заметим с самого начала, что среди структуралистов в разных странах намечается *два основных отношения к рассматриваемой проблеме*. Для ученых, которые стремятся сочетать интересы к структуралистической лингвистике с интересами в области сравнительно-исторического языкознания, характерно признание важной роли фактора времени и, в известной мере, фактора развития. Для ученых же, которые либо все больше и больше отходят от сравнительно-исторического языкознания, либо никогда им и не занимались, характерно отрицательное отношение к самой идее развития языка. Дело, конечно, не в том, что сравнительно-историческая лингвистика сама по себе является гарантией правильного понимания развития языка. В самой сравнительно-исторической лингвистике были весьма различные толкования этой важнейшей проблемы. Вопрос здесь сводится не столько к методам сравнительно-исторической лингвистики (весьма неодинаковым в ее различных направлениях), сколько прежде всего к материалу. Ученые, исследующие языки на разных этапах их исторического бытования, не могут тем самым не считаться и с фактором времени и в той или иной степени — с идеей развития. Но проблема в том, как все это интерпретируется.

Уже в «Тезисах» Пражского лингвистического кружка было подчеркнуто исключительно важное значение системы языка в диахронии<sup>1</sup>. И некоторые

---

<sup>1</sup> Travaux du cercle linguistique de Prague. 1929. 1. P. 7.



современные структуралисты дальше развивают сходные положения. Своей книге об «экономии фонетических изменений» Мартине дает подзаголовок «Проблемы диахронной фонологии»<sup>1</sup>. Развитие языка на его разных уровнях интересует и такого видного структуралиста, как польский лингвист Курилович<sup>2</sup>. Однако, не говоря уже о том, что развитие развитию рознь (диапазон понимания идеи развития языка настолько велик, что некоторые концепции «развития» по существу сводят его на нет), для структуралистической лингвистики в целом характерен все более и более отчетливо выраженный крен в сторону вневременного истолкования языка. В этом смысле весьма типична эволюция такого крупного структуралиста, как Р. Якобсон, от историко-фонологических разысканий 20-х гг. XX в. к вневременным и панхроническим построениям более поздних лет<sup>3</sup>.

Этим я не хочу сказать, что панхронический подход к языкам вообще невозможен. Разумеется, такой подход не только возможен, но в ряде случаев и необходим. Здесь, однако, важно еще раз подчеркнуть другое — тенденцию, явно выраженную в основных направлениях современного структурализма, вытеснить с помощью панхронического и вневременного подхода к языку представление об его исторической природе, о законах его исторического развития. А это уже безусловно неправомерно. Приглядимся теперь ближе к проблеме развития языка в структуралистическом истолковании.

Уже Соссюр слишком прямолинейно и односторонне противопоставлял синхронную лингвистику историческому прошлому языка. И хотя швейцарский ученый немало говорил о задачах диахронного изучения языка, в его концепции оставалось все же неясным, как следует понимать развитие языка при абсолютной статике самой синхронии. Правда, разграничение языка и речи, при котором последняя понималась как сфера подвижных и изменчивых отношений индивидуального «говорения», должно было, казалось, решить антиномию устойчивого и подвижного,

<sup>1</sup> См.: Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях. М., 1960.

<sup>2</sup> См., например: Kurylowicz J. L'apophonie en indo-européen. Wrocław, 1956. S. 5–23.

<sup>3</sup> См., например, с одной стороны: Jakobson R. Remarques sur l'évolution du russe comparée à celle des autres langues slaves. Prague, 1929, а с другой: Jakobson R., Halle M. Fundamentals of Language. The Hague, 1956, и другие более поздние работы. Как справедливо писал известный шведский фонолог Мальмберг, у многих структуралистов «структура выступила против развития» (Studia linguistica. Lund, 1961. N 1. P. 278); см. также яркую статью польского филолога: Чаплевич Э. Целостен ли структурный анализ? // Вопр. литературы. 1974. № 7. С. 207–236.

но сам Соссюр считал, что истинной задачей лингвистики является исследование языка, а отнюдь не речи<sup>1</sup>. Язык же рассматривался вне развития, вне движения.

Значительно более «жесткую» позицию по отношению к проблеме развития языка занял непосредственный родоначальник американского структурализма Блумфилд в своей основной работе<sup>2</sup>. В этом большом сочинении проблема развития специально не рассматривается. Блумфилд, разумеется, допускает фонетические и семантические изменения (гл. 20 и 24). Он говорит и о колебании (*fluctuation*), в частности — в употреблении грамматических форм (гл. 22). Но идея закономерного развития языка совершенно чужда Блумфилду, как и большинству его многочисленных современных последователей в Америке и Европе. Изменения и «колебания» в языке трактуются ими не как естественный результат развития, а как более или менее случайные «смещения»<sup>3</sup>.

Эта точка зрения становится господствующей в американском и датском структурализме тех дней. Имманентное рассмотрение языка не нуждается в каузальности. Авторы таких работ не интересуются причинами возникновения тех или иных лингвистических явлений. В подобной концепции языка, естественно, не остается места ни фактору времени, ни фактору развития. Эти понятия объявляются устаревшими и ненужными. Их должна заменить имманентность, находящаяся вне каузальности. С подобной доктриной, разумеется, не может согласиться ни один лингвист, которому язык представляется не абстрактной системой «чистых отношений», бытующих вне всякой субстанции (эта последняя тоже признается «устаревшей»), а системой, исторически сложившейся, организующей реальную материю (субстанцию) языка. В этой второй концепции — на мой взгляд бесспорной — факторам времени и развития принадлежит важнейшая роль<sup>4</sup>.

Попытки вывести за пределы лингвистики не только понятие развития, но и понятие времени весьма характерны для наиболее

<sup>1</sup> Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933. С. 42.

<sup>2</sup> Bloomfield L. Language. N. Y., 1933.

<sup>3</sup> О «школе Блумфилда» с подробной библиографией см. кн.: Trends in European and American Linguistics (1930–1960). Utrecht; Antwerp, 1961. P. 196–224.

<sup>4</sup> «Эйнштейн выразил глубокую тревогу по поводу того, что в квантовой механике так далеко отошли от причинного описания в пространстве и времени», — пишет Н. Бор (Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М., 1961. С. 63). А вот и признание самого А. Эйнштейна: «Ученый должен быть пронизан ощущением причинной обусловленности всего происходящего» (Einstein A. Comment je vois le monde. Paris, 1934. P. 39).

крайних направлений структурализма, в частности для глоссематики.

Уже в 1928 г. в одном из первых своих сочинений Ельмслев, доводя принципы Соссюра до логического конца, утверждал, что понятие развития языка несовместимо с понятием его системы<sup>1</sup>. Глоссематика, как и другие направления структуралистической лингвистики, выдвинула целый ряд новых понятий, которые были призваны заслонить и даже «заменить» собой проблему развития языка. В 30-х гг. XX столетия таким явилось понятие языковой иерархии. Опираясь на Гуссерля и развивая его мысли, структуралисты утверждали исключительную важность тезиса, согласно которому два положения

*a* больше *b*

*b* меньше *a*

совсем не идентичны. Различие сводится здесь к различию уровней или иерархий, которые и определяют принципы построения системы в грамматике и фонологии<sup>2</sup>.

А если уровни языка не имеют отношения к его развитию? Нужно изучать и уровни, и развитие. Беда, однако, в том, что у более или менее последовательных структуралистов понятие уровня почти полностью вытеснило понятие развития. Лингвисту, устанавливающему различия между уровнями в языковой системе, начинает казаться, что сама субординация уровней языка уже предопределяет его развитие. Поэтому последнее и не следует изучать специально. Но подобное заключение безусловно ошибочно. Субординация может постулировать развитие, но может и замкнуть систему чисто синхронным рядом. Понятие субординации уровней языка отнюдь не тождественно понятию развития.

Спору нет, внимание к иерархическим уровням имеет большое значение для построения системы в фонологии и грамматике. Формализация в этих областях лингвистики не менее важна, чем в логике<sup>3</sup>. И все же никак нельзя согласиться с тем, чтобы проблема уровней или иерархий не только заслоняла, но и вытесняла бы проблему развития языка. Между тем подобное вытеснение

<sup>1</sup> *Hjelmslev L. Principes de grammaire générale. Copenhagen, 1928. P. 54.*

<sup>2</sup> *Jakobson R. Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre // Travaux du cercle linguistique de Prague. 1936. N 6. P. 251.*

<sup>3</sup> Ср.: *Субботин А.Л. Смысл и ценность формализации в логике // Философские вопросы современной формальной логики. М., 1962. С. 91–110.* Следует помнить, конечно, что помимо генетического метода построения научной теории логика располагает и методом аксиоматическим, при котором исходные положения принимаются без доказательств. Нельзя, однако, не учитывать и слабых сторон второго метода, о которых много писал, в частности, Пиаже (*Piaget J. Méthode axiomatique et méthodes operationelle // Synthèse. 1957. N 1. P. 23–43.*)

наблюдается в современной структуралистической лингвистике, где система языка с ее уровнями настойчиво противопоставляется развитию. Здесь же последовательно проводится и другое противопоставление — системы и значения. Так как первая истолковывается в чисто формальном плане, то для категории значения места по существу не остается. С этим также никак невозможно согласиться: язык является языком лишь в той мере, в какой он служит средством общения людей, средством выражения их мыслей и чувств. Вне этих функций могут, разумеется, воспроизводиться «звуки, морфемы и конструкции», но к языку они отношения уже иметь не будут<sup>1</sup>.

В тех случаях, когда в структуралистической лингвистике проблема развития языка все же ставится, она получает всевозможного рода смещения.

Так, Н. Хомский в своих «Синтаксических структурах» считает, что лингвистические понятия меняются не в связи с развитием языка (это его не интересует), а лишь в связи с прогрессом лингвистической теории<sup>2</sup>. Разумеется, уровень лингвистической теории взаимодействует с уровнем лингвистических понятий, как уровни жидкостей в сообщающихся сосудах, но при этом нельзя не учитывать, что и уровень развития тех или иных языков вносит коррективы в систему научных понятий. В свое время Потебня даже считал, что определение предложения должно меняться в зависимости от того, к какой эпохе развития языка оно относится. Это не означает, конечно (и здесь Потебня ошибался), что невозможно общее понятие предложения, но это означает, что наряду с ним исследователю следует считаться и с наличием таких частных

<sup>1</sup> В последние десятилетия XX в. некоторые структуралисты стали говорить о роли категории значения в языке. Но при этом они подвергают ее такой резкой и односторонней формализации, что от нее по существу ничего не остается.

<sup>2</sup> См.: *Хомский Н.* Синтаксические структуры // Новое в лингвистике. Вып. II. М., 1962. С. 412 и сл. Невозможно согласиться с И.И. Ревзиным (см. его рецензию в журнале: *Word*. 1963. N 3. P. 390), который значение этой работы Хомского для науки нашего времени сравнивает со значением «Курса общей лингвистики» Соссюра для языкознания 20–40-х гг. Представляется, что гораздо более прав Неринг, уподобляющий дедукции структуралистов типа Хомского «операциям таких медиков, больные которых умирают на операционном столе» (*Nehring A.* *Structuralismus und Sprachgeschichte // Fachtagung für indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft.* Innsbruck, 1962. S. 29). Резкая критика концепции Хомского дана в блестящей кн.: *Таубе М.* Вычислительные машины и здравый смысл. Миф о думающих машинах. М., 1964. С. 59–73. Критику метода Хомского дает и бельгийский ученый Леруа (*Leroy M.* *Les grads courants de la linguistique moderne.* Bruxelles, 1971. P. 99–100); см. также ряд интересных статей о «лингвистике Н. Хомского» в журнале: *Вопр. языкознания.* 1976. № 5. С. 13–74.

научных понятий, которые зависят от уровня исторического развития конкретного языка или группы языков.

Аберрация в процессе рассмотрения проблемы развития языка нередко проявляется и в другом. Не желая разобраться во всей исключительной сложности этой проблемы, многие лингвисты отождествляют развитие языка с какой-нибудь абсолютной и подчас прямолинейно понятой внешней тенденцией.

Блумфилд в свое время сводил развитие всех языков мира к «замене длинных слов более короткими» и к вытеснению так называемых неправильных форм в грамматике правильными<sup>1</sup>. Балли говорил о процессе «стандартизации языков»<sup>2</sup>, а Бреидаль — о расширении простых форм за счет сложных и менее удобных<sup>3</sup>. Защищались и другие точки зрения, в той или иной степени варьирующие только что перечисленные.

Как ни «соблазнительны» сами по себе подобного рода объяснения, по существу своему они мало что объясняют. Если развитие языка действительно сводилось бы к замене длинных слов короткими, то следовало ожидать, что наша современная речь заполнится сплошными односложными словами. Между тем этого не происходит, и короткие слова (односложные) легко сосуществуют со словами длинными (многосложными). Разумеется, в разных языках средняя длина слов может быть большей или меньшей, но эти колебания зависят прежде всего от грамматического и фонетического строя языка, а не от степени его исторического развития. Даже в тех языках, в которых действительно наблюдалась историческая тенденция к сжатию многосложных слов, она сталкивалась с противоположной тенденцией, поддерживавшей многосложные слова или создававшей новые словосочетания.

То же следует сказать и о так называемой «стандартизации» языка. Если в определенных сферах функционирования язык как будто бы «стандартизуется» (элементарная коммуникация быстрее осуществляется, когда говорящий опирается на готовые словесные формулы), то в других сферах функционирования он оказывает резкое сопротивление подобной стандартизации. Народная речь в своей «сказовой» экспрессивности весьма далека от речевых клише элементарной коммуникации. Еще дальше от них литературный язык. Научные, публицистические, не говоря уже о художественных, сочинения находят свое выражение в таких формах и категориях языка, которые стремятся преодолеть

<sup>1</sup> Bloomfield L. Op. cit. P. 509.

<sup>2</sup> Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955. С. 392 (2-е изд. М., 2001).

<sup>3</sup> Brøndal V. Essais de linguistique générale. Copenhague, 1943. P. 23.

словесные штампы. Выразительность языка, понятая в широком смысле, противостоит его стандартизации. Ошибка сторонников упомянутых концепций заключается в том, что отдельные изменения, наблюдаемые лишь в локализованных областях функционирования речи, принимаются за общий и даже универсальный закон развития речи. При этом оставляются в тени другие, нередко противоположные речевые явления, не позволяющие свести развитие языка к той или иной чисто внешней и прямолинейной схеме.

Среди современных теорий языкового развития популярной является и теория экономии, о которой уже шла речь раньше. Поначалу она кажется весьма убедительной. Человек в процессе своего исторического развития выучивается все более экономно и, по-видимому, более рационально выражать свои мысли. Чем более совершенствуется язык, тем, следовательно, и средства, которыми он располагает в области фонетики, грамматики и лексики, становятся «экономнее и рациональнее». К такой точке зрения уже в начале XX в. был близок, в частности, Жильерон<sup>1</sup>.

Но как понимать экономию в процессе развития языка? Множество фактов в истории самых разнообразных языков противоречат принципу экономии. В истории французского языка, например, на смену одному отрицанию приходят два отрицания в предложении (*je ne sais pas* «я не знаю»). Во всех романских языках оформляются две активные модальности в глаголе (конъюнктив и кондиционал) вместо одной активной модальности в латыни (конъюнктив). Безмерно увеличивается и словарь новых языков по сравнению с языками старыми.

С позиции теории экономии невозможно объяснить, почему в истории самых различных языков именно «короткие» слова и фонетически и семантически нередко оказывались наиболее уязвимыми и наименее устойчивыми. Латинское односложное слово *os* ‘рот’ не сохранилось в романских языках и было вытеснено двухсложным *bucca* (первоначально ‘щека’, а затем ‘рот’). Именно к нему восходят романские обозначения рта: ит. *bocca*, исп. *boca*, фр. *bouche* и т.д. То же надо сказать о вытеснении двухсложного *dies* ‘день’ многосложным прилагательным *diurnus* ‘дневной’ (с последующей его субстантивацией). Романские обозначения уха продолжают не более «короткое» *auris* ‘ухо’, а более «длинное» *auricula* ‘ушко’, от которого и тянутся, утратив уменьшительное осмысление, ит. *orecchio*, фр. *oreille*, рум. *ureche*, исп.

<sup>1</sup> См. об этом в кн.: Spitzer L. Meisterwerke der romanischen Sprachwissenschaft. I. München, 1930. S. 368–369.

*oreja* (все в значении 'ухо'). Такие примеры исчисляются десятками, если не сотнями. Аналогичные явления хорошо известны и другим языкам мира. Их невозможно объяснить экономией.

Как бы чувствуя уязвимость принципа экономии как фактора развития языка, современный исследователь Мартине ограничивает его действие лишь сферой фонетики. Он говорит об «экономии в фонетических изменениях»<sup>1</sup>. Отдавая должное тонкой трактовке звукового материала самых различных языков, которая содержится в его книге, нельзя не заметить, что, ограничив действие самого принципа экономии областью фонетики, исследователь вместе с тем чрезмерно расширяет понятие экономии. Мартине пишет: «Термин экономия включает все: и ликвидацию бесполезных различий, и появление новых различий, и сохранение существующего положения. Лингвистическая экономия — это синтез действующих сил»<sup>2</sup>. При таком понимании экономии мало что остается от экономии в собственном смысле этого слова. Принцип экономии расширяется почти до бесконечности («включает все», по словам самого автора) и начинает совпадать с «действующими силами» развития языка вообще, изучение которых и в самом деле представляет большой интерес для лингвистики. Так теория экономии перерастает в теорию действующих сил развития языка.

Еще менее приемлемо другое, общепhilosophическое истолкование экономии, при котором последняя отождествляется с понятием истинного. В некоторых разновидностях логического позитивизма экономное описание предмета признается описанием истинным уже в силу одной своей экономности. Это, разумеется, неверно. Истинное проверяется действительностью и практикой. Само же по себе экономное описание может быть не только истинным, но и ложным. Весь вопрос в том, что *стоит за этим описанием*.

Сами защитники стандартизации, экономии и других аналогичных принципов применительно к развитию языка иногда вносят оговорку, подчеркивая, что в языке наблюдаются и противоположные тенденции. «В плане слов и знаков, — пишет тот же Мартине, — каждый языковой коллектив в каждый момент находит определенное равновесие между потребностями выражения, для удовлетворения которых необходимо все большее число все более специальных и соответственно более редких единиц, и

<sup>1</sup> *Мартине А.* Принцип экономии в фонетических изменениях. М., 1960. Французский оригинал называется «Экономия фонетических изменений» (*Martinet A. Économie des changements phonétique*. Bern, 1955).

<sup>2</sup> *Мартине А.* Указ. соч. С. 130.

естественной инерцией, направленной на сохранение ограниченного числа более общих и чаще употребляющихся единиц. При этом инерция является постоянным элементом... Языковое поведение регулируется так называемым принципом наименьшего усилия. Мы предпочитаем, однако, заменить это выражение, предложенное Ципфом, простым словом *экономия*<sup>1</sup>.

Хотя в подобном противопоставлении нового и старого в языке немало остроумного, все же невозможно согласиться с Мартине в его стремлении все новое свести к чисто количественному увеличению языковых единиц («специальных и редких»), а старое — к инерции говорящего коллектива. Мартине как будто бы не учитывает, что новое может выражаться не только и даже не столько в количественном увеличении единиц, сколько прежде всего в различных *качественных трансформациях* уже наличных в языке единиц и категорий. При этом решающую роль играет тот факт, что подобные трансформации в своей тенденции обычно содержательны. Именно поэтому развитие языка невозможно свести к экономии, как бы широко ни понималась эта последняя. Разумеется, экономия может иметь значение в каких-то отдельных сферах языка или на каких-то отдельных этапах его развития, но в целом не она определяет путь развития различных языков мира<sup>2</sup>.

Но если Мартине, как и другие представители «умеренного» структурализма, не разделяющие его крайних и односторонних выводов, все же ставит проблему развития языка и учитывает ее большой удельный вес в общей лингвистической теории, то сторонники ортодоксального структурализма даже не ставят этой проблемы и не придают ей никакого серьезного значения. Чаще всего таковыми исследованиями оказываются работы глоссематиков и дескриптивистов<sup>3</sup>.

Возникает вопрос: насколько закономерно отрицательное отношение к проблеме развития языка в крайних течениях совре-

<sup>1</sup> Там же, С. 126. Аналогично и в кн.: *Martinet A. Éléments de linguistique générale*. Paris, 1960. P. 182. Критику принципа экономии как принципа развития языка см.: *Будагов Р.А. Человек и его язык*. 2-е изд. М., 1976. С. 59–83.

<sup>2</sup> История некоторых других наук показывает, что как односторонне количественная точка зрения на развитие, так и односторонне качественное его осмысление в одинаковой степени уязвимы. См., например, острую полемику 20-х гг. XIX столетия между натуралистом Кювье, защитником чисто качественного понимания развития, и зоологом Ламарком с его последовательным эволюционизмом. Первый почти не признавал количественного «начала» в развитии, второму была чужда идея качества.

<sup>3</sup> См., например, учебное пособие, в котором проблема развития языка даже не ставится: *Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику*. М., 1959.



менного структурализма? Оно безусловно закономерно. Отрицательное отношение к проблеме развития языка предопределяется всей методологией ортодоксального структурализма. Попробуем кратко рассмотреть причины, вызвавшие отмеченную зависимость.

С позиций ортодоксального структурализма язык — это замкнутая и совершенно обособленная от всего «внешнего» система. Естественно поэтому, что подобное понимание системы исключает интерес ко всему тому, что потенциально может разбить ее постулируемую замкнутость. Развитие языка противоречит принципу замкнутости и обособленности системы. Поэтому проблема развития языка и выводится за пределы лингвистики, объявляется несущественной, второстепенной, периферийной.

Имеется и другая причина отрицательного отношения структуралистов к проблеме развития языка. Уже со времен Шеллинга нередко противопоставляли теорию и историю как противоположные сферы научных знаний<sup>1</sup>. Согласно этой точке зрения, в истории царит произвол, в теории же — порядок и закономерность. Младограмматики попытались перевернуть эту схему, утверждая, что только историческое языкознание может быть научным (в истории — причинность, в теории — абстрактные домыслы). Соссюр стремился вновь приблизиться к формуле Шеллинга: он резко выступил против «гипертрофии историзма» в концепции младограмматиков. Ему казалось, что в истории языка происходят лишь случайные изменения, тогда как система языка определяется закономерными отношениями. Еще более резко поставили вопрос структуралисты: система была не только отделена от истории, но и объявлена сферой господства таких отношений, анализировать которые возможно лишь после отречения от истории. Печальным оказался удел истории, предоставленной в распоряжение случайных ассоциаций. С этих ошибочных позиций всякое синхронное лингвистическое описание стало отождествляться с исследованием теоретическим, а всякое историческое изучение языка — с исследованием эмпирическим.

Таким образом, *противопоставление теории и истории* в научном творчестве возникло давно. Подобное противопоставление несостоятельно, тем более по отношению к такому явлению, как язык, в котором историческое сплошь и рядом выступает как современное, а современное осмысливается на фоне исторического.

Сказанное, разумеется, не означает, что следует вернуться к младограмматическому пониманию историзма. В свое время в

<sup>1</sup> «Теория и история полностью противоположны друг другу» (Шеллинг Ф. Система трансцендентального идеализма. Л., 1936. С. 338).

манифесте младограмматиков, в книге Г. Пауля, вышедшей более ста лет тому назад (1880), утверждалось, что единственно правильный постулат лингвистики сводится к историческому осмыслению фактов. Больше того, Пауля и его последователей интересовали не столько принципы изучения языка, сколько принципы истории языка<sup>1</sup>. В концепции младограмматиков историческое «начало» должно было вытеснить обоснование самих теоретических основ лингвистики.

Хотя для своего времени учение младограмматиков было шагом вперед по сравнению с натуралистическими построениями Шлейхера, в наше время младограмматическое понимание историзма явно устарело, явно не бесспорно. Ранее уже отмечалось, что историзм этой лингвистической школы нередко сводился к теории круговорота. Но младограмматиков следует критиковать и по другим причинам.

Учение младограмматиков опиралось на положение, согласно которому причина существования тех или иных языковых фактов и категорий может быть определена только исторически. Всякие иные объяснения в лингвистике (кроме исторических) заранее объявлялись ненаучными. В наше время подобное понимание историзма является односторонним, а поэтому и неверным. Типы причинных объяснений, которыми оперирует современная наука, многообразны. Сами причины могут быть не только исторического характера, но и функционального, субстанционального, структурного и т.д.<sup>2</sup> Принцип историзма в лингвистике вовсе не означает, что любое явление, любой факт в языке сам по себе детерминирован исторически. Проблема сложнее. Явления и факты в системе языка могут поддерживаться и определяться функциональными и структурными отношениями, существующими в самой системе. Принцип историзма означает другое. Язык как специфичное общественное явление возникает исторически, причем уровень его развития обуславливается уровнем развития общей культуры народа, говорящего на данном языке. Синхрония вырастает из диахронии, хотя на каждом этапе своего движения первая сохраняет известную самостоятельность по отношению ко второй (здесь-то и действуют такие виды причинности, как функциональная, структурная и др.).

<sup>1</sup> См.: Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960. С. 42.

<sup>2</sup> См., например: Никитин Е.П. Типы научного объяснения // Вопр. философии. 1963. № 10. С. 31. В этой связи заслуживает внимания учение японских лингвистов о так называемом языковом существовании (см.: Конрад Н.И. О «языковом существовании» // Японский лингвистический сборник. М., 1959. С. 5–16).

Поясним сказанное элементарным примером. Открытые и закрытые гласные звуки во многих романских языках возникли из соответствующих кратких и долгих гласных латыни, но современные функции романских гласных уже не зависят от латинской долготы и краткости. На смену чисто исторической причинности приходит причинность функциональная, которая, в свою очередь, может вызвать новый ряд причинных зависимостей. Но новое состояние не повторяет старого. Наблюдается не круговорот, а развитие.

Следует, однако, еще раз подчеркнуть, что хотя в языке, как и в других общественных явлениях, могут действовать разные виды причинности, сам язык сохраняет свой исторический характер. Необходимо лишь правильно понимать сферы действия разных видов причинности.

Теория и история соотносительны, но не тождественны. Недопустимо считать, что лишь в теории должен господствовать порядок, а в истории допустим и хаос. *И на историю и на теорию распространяются законы и обобщения.* Степень теоретичности научных разысканий определяется не принципом горизонтального или вертикального подхода к материалу, а глубиной проникновения в анализируемый объект, умением устанавливать закономерности развития и функционирования как фактов горизонтального (синхронного), так и фактов вертикального (диакронного) ряда.

## 2

Как было показано, в структуралистической лингвистике наметилось два отношения к проблеме развития языка. Одно может быть названо чисто негативным (в этой концепции анализируемая проблема просто не ставится и не рассматривается), другое — позитивным. Негативное отношение к самой возможности развития языка определяется общим взглядом структуралистов данного направления на природу и сущность языка как «имманентной, непротиворечивой и специфичной структуры»<sup>1</sup>. В таком истолковании языка вовсе не оказывается места даже для самой идеи развития, так как развитие языка невозможно без внутренних противоречий, заложенных в самой его структуре.

---

<sup>1</sup> *Ельмслев Л.* Прологомены к теории языка // Новое в лингвистике. Вып. I. М., 1960. С. 279. Хотя Ельмслев относит понятие непротиворечивости как будто бы к теории языка, он вместе с тем утверждает, что эта теория должна стремиться к истолкованию самого языка «как имманентной, непротиворечивой и специфичной структуры».

«Непротиворечивость» исключает здесь всякое представление о развитии.

Согласно второй структуралистической концепции язык движется и изменяется лишь в силу внутренних противоречий, присутствующих в его системе. «Только внутренняя причинность может заинтересовать лингвиста», — так формулируют свое *credo* сторонники этой концепции<sup>1</sup>. При внимательном рассмотрении, однако, оказывается, что и защитники второго направления крайне суживают проблему развития, подчиняют ее представлению об имманентном характере языковой структуры.

Но здесь-то и возникает труднейший вопрос о сущности процесса развития языка. Чем определяется этот процесс? Внешними «толчками» или внутренними противоречиями, заложенными в самой системе языка? Нужно сказать, что некоторые лингвисты, по-видимому, «отталкиваясь» от теории имманентности, упрощают проблему. Они усматривают причины развития языка лишь во внешних факторах. Но одно из двух: либо развитие — форма существования языка, тогда его законы никак не могут быть отделены от его развития в такой же степени, как и от современного функционирования, либо развитие является внешним по отношению к языку фактором, тогда само по себе отпадает утверждение о развитии как форме существования языка. Мне представляется истинным только первое утверждение и ошибочным — второе. Проблема осложняется тем, что потребности говорящих людей нельзя считать внешним по отношению к языку фактором. Ведь имеются в виду не потребности людей в воздухе или пище, а языковые потребности говорящих, их стремление более адекватно выразить мысли, найти более точные средства речевой коммуникации.

Но как могло возникнуть такое понимание, согласно которому силы и законы, определяющие развитие языка, являются внешними по отношению к самой его «материи»? Подобная концепция могла родиться в борьбе с имманентным истолкованием природы языка. Ошибочность имманентной теории очевидна. Но ее нельзя критиковать с позиций, которые в такой же степени уязвимы, как и доктрина защитников имманентности. Материалистическая диалектика идет дальше и ставит вопрос об источниках движения. В языке — это противоречия между растущими потребностями людей в более адекватном выражении их мыслей и чувств, в бессознательном, а иногда и сознательном (в литературной норме) стремлении создать более совершенное средство

---

<sup>1</sup> *Martinet A. Op. cit. P. 181.*

речевого общения и реальными возможностями языка в каждую историческую эпоху<sup>1</sup>.

Подобная общая предпосылка развития языка осуществляется с помощью различных противоречий, заложенных в самой его системе, — в лексике, в грамматике, в фонетике. В любой естественной языковой системе, на любом ее уровне обычно обнаруживаются пласты разной исторической давности, имеются многочисленные «исключения» из общих принципов употребления форм, звуков, лексем. Внутренняя причинность развития здесь очень важна. Следовательно, защищаемая в этих строках концепция принципиально отличается и от того структуралистического понимания развития языка, согласно которому язык выступает как непротиворечивая структура, и от другого, тоже структуралистического, истолкования, девизом которого является лишь внутренняя причинность, не обусловленная никакими потребностями. Мартине предполагает ограничить интересы лингвистов лишь внутренней, ничем не детерминированной причинностью. Поэтому он так же не прав, как и ученые, сводящие развитие к внешним по отношению к самому языку явлениям.

Приведем два примера, иллюстрирующие взаимодействие отмеченных факторов.

В старофранцузском языке суффикс *-age* мог относиться и к вещам, и к людям. *Message* означало и ‘извещение’, ‘послание’ (‘посланная вещь’) и того, кто посылает, — ‘вестник’, ‘гонец’. Возникло некоторое неудобство, так как контекст не всегда приводил к ясному решению вопроса. Это семантическое противоречие послужило источником последующего развития. В новом языке *message* уже не может относиться к человеку (это понятие выражается с помощью *messenger* с другим суффиксальным окончанием). Противоречие определило дифференциацию *message* — *messenger*. И дело здесь не в простом «устранении старой полисемии», как часто утверждают. Хотя суффикс *-age* теперь уже не может относиться к человеку, он не утрачивает своей полисемии. В отличие, однако, от старой многозначности, новая полисемия суффикса оказывается более «собранный», менее «разбросанной». В современном языке полисемия развивается не в пределах «вещь — человек», а лишь в пределах «вещи», хотя и понятой очень широко. Ср. *plumage* ‘оперенье’, *nuage* ‘облако’ (собирательное значение), *blanchissage* ‘стирка’ (действие), *apprentissage*

<sup>1</sup> К этой идее был близок уже Потебня, о чем писал Д.Н. Овсянико-Куликовский в яркой и интересной статье: А. Потебня как языковед-мыслитель // Киевская старина. 1893. С. 30 и сл.

‘обучение’ (действие или состояние) и т.д. Новая полисемия суффикса опирается уже на совсем другие отношения. Противоречие определило дальнейшее развитие, переход к новым связям и новым отношениям.

Так в процессе развития переплетаются внутренние и внешние факторы. Семантика суффикса — внутреннее свойство языка. Ее переосмысление вызывается потребностями общения и при поверхностном анализе кажется внешним фактором. В действительности в процессе развития языка оба фактора взаимодействуют самым тесным образом. Внешнее оказывается неотделимым от внутреннего, а внутреннее переходит во внешнее.

Разумеется, не всегда вопрос решается просто. Во многих случаях современники могут наблюдать колебания языка, когда он как бы затрудняется выйти из образовавшихся в одном из звеньев его системы противоречий.

В испанском суффикс *-ero* обычно связывается с существительным действующего лица: *aduanera* ‘таможня’ — *aduanero* ‘таможенный служащий’. Но существительное действующего лица может оформляться и с помощью интернационального суффикса *-ista*: *humano* ‘человеческий’ — *humanista* ‘гуманист’. Ср.: *socialista* ‘социалист’. Но вот почему краснодеревщик называется по-испански *ebanista* (а не *ebanero*), а медник, напротив того, — *calderero* (а не *calderista*)? Опираясь на показания системы языка, подобные факты объяснить невозможно. Особенности живого подвижного словообразования и словоупотребления обычно не вмещаются в прокрустово ложе узко понятой системы языка. Недаром некоторые лингвисты стали различать систему и норму языка. В более широкое понятие нормы обычно включается все то, что выходит за пределы системы (норма закрепляет *ebanista* и *calderero*).

Противоречие между системой и нормой очевидно. Система стремится к сравнительно однозначному решению (для определенного типа слов — определенный суффикс), норма же оказывается шире системы и постоянно осложняет и даже расшатывает ее. Современный испанский язык не устранил образовавшегося здесь противоречия. Не исключена, однако, возможность, что внутренние противоречия подобного рода таят в себе такие силы, которые определяют последующее развитие испанского словообразования. Одни противоречия устраняются сравнительно быстро, другие сохраняются на протяжении столетий, третьи создаются в ходе движения самого языка. И в этом взаимодействии разных видов и типов противоречий — залог дальнейшего развития языка.

Причины языковых изменений многообразны. И все же нельзя считать, что все они в одинаковой степени воздействуют на самый процесс развития. Между тем многие лингвисты, признающие и исследующие развитие языка, нередко ставят вопрос так, будто на процесс языковых изменений одинаково влияют самые разнообразные факторы: и система языка, и интонация речи, и привычки общества, и субстратные отношения, и авторитет крупных писателей, и многое другое. Такой своеобразный плюрализм причин кажется заманчивым и даже неотразимым. Его защитникам представляется, что они преодолели «односторонний подход» своих предшественников, которые склонны были выдвигать лишь ограниченное число факторов. Однако «плюрализм причин», возведенный в своеобразный принцип, чаще всего сам оказывается уязвимым и по существу своему эклектичным<sup>1</sup>.

Сказанное отнюдь не означает, что роль «других факторов» несущественна. Но «другие факторы» получают правильное осмысление лишь на фоне основного фактора. Этот последний как прожектором освещает все остальное. Он же определяет «расстановку» разных факторов в процессе языкового развития. *Потребности* (в широком смысле) *говорящих на данном языке людей* — вот основной фактор развития всякого языка. Как только что было отмечено, между подобными потребностями и ресурсами языка в каждую историческую эпоху возникают противоречия. Они-то и определяют движение и совершенствование языка. Все остальные многочисленные факторы — сами по себе весьма существенные — оказываются в той или иной степени зависимыми от этого основного, центрального фактора.

В отдельных уровнях и звеньях языка изменения могут непосредственно и не зависеть от основного фактора. Ранее уже упоминалась важная роль противоречий в самой системе. Здесь-то и могут действовать «другие факторы»: так называемое давление системы языка, влияние словообразовательных рядов, различных видов аналогии, столь же разнообразных типов ассимиляции и диссимиляции и т.д. И все же, когда речь идет об основных линиях и тенденциях развития языка, исследователь не должен упускать из виду действия центрального фактора, определяющего эти линии и эти тенденции.

<sup>1</sup> «Плюрализм причин» характерен, в частности, для большинства работ по семасиологии (см., например: *Baldinger K. Die Semasiologie. Versuch eines Überblicks.* Berlin, 1957. S. 26–27; *Ullmann S. The Principles of Semantics.* Ed 2. Oxford, 1958. P. 191–257. То же следует сказать и о многих наших отечественных исследованиях, и о зарубежных разысканиях (см., в частности: *Bain B. Toward an Integration of Piaget and Vygotsky // Linguistics. An International Review.* The Hague, 1975. N 160. P. 5–19).

Могут сказать, что защищаемая здесь концепция сводит источник развития языка к воздействию внеязыковых факторов. Какое же место в этом случае отводится противоречиям в самой системе? Не исключают ли данные два положения друг друга? Нет, не исключают. Надо только иметь в виду подчеркнутое ранее: языковые потребности говорящих не могут быть внешними по отношению к самому языку, выступающему не в «пустой» коммуникативной функции, а в коммуникативной функции выразителя мыслей и чувств людей в обществе. Здесь внешнее и внутреннее переплетаются в единое целое.

При установлении основного источника и в борьбе с «плюрализмом причин» языкового развития следует, на мой взгляд, выделять противоречия между потребностями людей ко все более адекватному выражению своих мыслей и чувств и реальными возможностями языка в каждую историческую эпоху. При анализе же тех или иных «сдвигов» в системе или ее отдельных звеньях внутренние противоречия, заложенные в самой системе, могут выступать в функции катализаторов или «направителей» развития. Нельзя при этом утверждать, что первые причины важнее вторых. Весьма существенны и те и другие. Лишь уяснив всю многостороннюю зависимость разнообразных факторов, следует выйти за пределы внутренней причинности и показать постоянную зависимость языка от состояния развития общества и мышления людей в ту или иную историческую эпоху.

Так устанавливается *тройной ряд отношений*: от собственно внутренней причинности (противоречия в системе языка на всех ее уровнях) к причинности не только внутренней (противоречия между потребностями говорящих к адекватному выражению и состоянием языка), а от этой последней — к внешним факторам (общая зависимость состояния языка от уровня развития общества и мышления человека). В общетеоретическом и историческом планах последовательность, разумеется, должна быть иной — от внешних факторов, определяющих общие условия развития языка, к факторам все более и более внутреннего характера. На определенных же уровнях соотношения могут временно меняться. В лексике, например, роль внешнего «толчка» обычно значительнее, чем в грамматике, хотя во всех уровнях языка следует учитывать три ряда отношений. Анализ всех трех рядов отношений в одинаковой степени входит в компетенцию лингвистики. Всякие попытки вывести тот или иной ряд за ее пределы безмерно обедняют науку о языке, делают ее односторонней, лишают ее широкого общественного значения.



Закljučая раздел, отметим, что в одном из направлений языкознания была сделана еще одна попытка истолкования категории времени. Имеем в виду теорию глоттохронологии и ее лексико-статистического метода датировки древнейших языковых единств. Впервые сформулированная в 1950 г. американским лингвистом Сводешом, она получила весьма различную интерпретацию и столь же различную оценку у ученых тех или иных направлений. «В основу метода Сводеша легла мысль о том, что лингвистика, опираясь на закономерности так называемого морфемного распада (*morpheme decay*) в языках, способна определять временную глубину “залегания” соответствующих им языков, подобно тому как геология путем анализа содержания продуктов распада в различных породах определяет их возраст»<sup>1</sup>. В противоположность сравнительно-историческому языкознанию, которое оперирует понятием относительной хронологии, сторонники нового метода хотят обосновать принцип абсолютной хронологии языковых фактов. Применяя математико-статистический метод, они стремятся датировать так называемый распад языка основы у группы родственных языков.

При всей важности подобного рода датировок необходимо, однако, иметь в виду, что Сводеш и его последователи не столько обращают внимание на проблему развития языка как специфического общественного явления, сколько пытаются «засечь» время отделения одного языка от другого (главным образом в области лексики). К тому же математический аппарат этой теории был подвергнут резкой критике. «Результаты глоттохронологических исследований последних десяти лет оказались иллюзорными», — заявляет один из ученых после тщательного анализа самого метода глоттохронологии<sup>2</sup>.

Даже независимо от общей оценки результатов глоттохронологической доктрины необходимо подчеркнуть, что ее сторонники специально не интересуются развитием языка как теоретической проблемой лингвистики. Что же касается вопроса о границах применения математики в лингвистике, то, как мы уже знаем, он очень сложен. Математические методы требуют предельной формализации языка, между тем в целом сам язык — это двустороннее единство формы (в широком смысле) и содержания

<sup>1</sup> *Климов Г.А.* О лексико-статистической теории М. Сводеша // *Вопр. теории языка в современной зарубежной лингвистике.* М., 1961. С. 240. Библиографию глоттохронологии см.: *Hymes D.* *Lexicostatistics So Far* // *Current Anthropology.* 1960. N 1. P. 3–44.

<sup>2</sup> *Chrétten C.* *The Mathematical Models of Glottochronology* // *Language.* 1962. N 1. P. 37.

(семантики разнообразных категорий). Еще в 1954 г. Базел справедливо писал: «Даже представители математической логики не постулируют так настойчиво чисто формальный характер своего предмета, как многие представители формального языкознания»<sup>1</sup>. Действительно, приверженцы математической лингвистики часто не считают сложной природой языка. Своих же противников они склонны объявлять, — по-видимому, для облегчения борьбы с ними — Дон Кихотами, которые сражаются с ветряными мельницами и «поднимают руку на царицу всех наук» — математику<sup>2</sup>.

Между тем речь идет совсем не о «подрыве авторитета математики», а о том, чтобы при применении математики к лингвистике не искажалась сложнейшая природа языка. Иначе исследователю грозит опасность изучать не язык, а лишь какие-то условные отвлечения, имеющие весьма отдаленное отношение к лингвистике. Не язык следует приспособлять к методам (это нередко наблюдается среди сторонников математической лингвистики), а методы должны быть пригодными для постижения специфики языка.

В этой связи нельзя не вспомнить то, что отметил еще в первой трети XIX столетия поэт, мыслитель и естествоиспытатель Гёте: «Я уважаю математику, — говорил он, — как самую возвышенную, полезную науку, поскольку ее применяют там, где она уместна, но не могу одобрить, чтобы ею злоупотребляли, применяя ее к вещам, которые совсем не входят в ее область и которые превращают благородную науку в бессмыслицу»<sup>3</sup>.

Все это означает, что и при изучении развития языка возникает вопрос о границах применения разных методов. Очевидно, что язык в движении труднее исследовать с помощью математических методов, чем язык в его относительно статическом состоянии.

Как видим, интерпретация развития языка в разных направлениях лингвистики весьма различна. Существенно подчеркнуть, что характер подобной интерпретации находится в прямой зависимости от общих *методологических позиций* тех или иных исследователей, от того, как они понимают природу языка, его функции и его назначение в обществе.

<sup>1</sup> *Bazell C.* The Choice of Criteria in Structural Linguistics // *Word*. 1954. N 2–3. P. 130.

<sup>2</sup> Как это сделано, например, в статье: *Долежал Л.* Вероятный подход к теории художественного стиля // *Вопр. языкознания*. 1964. № 2. С. 29.

<sup>3</sup> *Эккерман И.* Разговоры с Гёте. М., 1934. С. 311.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ЧТО ОЗНАЧАЕТ  
СЛОВСОЧЕТАНИЕ  
«СОВРЕМЕННАЯ  
ЛИНГВИСТИКА»?<sup>1</sup>

До сих пор речь шла о том, как следует понимать совершенствование языков в процессе их исторического развития. Теперь обратимся к тому, что же такое «современная лингвистика». Существует прямая связь между сложностью самого понятия «современная лингвистика» и серьезным различием во взглядах по вопросу о том, что же такое совершенствование живых языков народов мира.

В отечественной лингвистике уже довольно распространены среди некоторой части специалистов словосочетания *современная лингвистика*, *современное языкознание*. Стали выходить даже книги, на обложке которых фигурирует одно из этих двух словосочетаний<sup>2</sup>. Между тем, что означают подобного рода словосочетания? Как следует понимать прилагательное *современный* в таких соединениях слов? Я сейчас попытаюсь показать: *современный* выступает здесь не только и даже не столько во временном значении («относящийся к настоящему времени»), сколько прежде всего в переносно-оценочном значении («стоящий на уровне нашего времени, передовой, хороший»). В аналогичном

---

<sup>1</sup> Уточним период времени, связанный с определением *современная*. Это 60–70-е гг. XX в. Книга вышла в свет в 1977 г. Однако представляется, труд автора не устарел и для начала XXI в. (Прим. А.Б.)

<sup>2</sup> См., например: Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975. Редакция журнала «Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и языка» (1975, 1), публикуя одну из статей И.И. Ревзина (посмертно), сообщает, что он «...работал в самых разных областях *современного языкознания...*» (с. 16; курсив мой. — Р.Б.). Подобные примеры легко увеличить. В дальнейшем изложении *современная лингвистика* и *современное языкознание* я употребляю как абсолютные синонимы.

---

осмыслении прилагательное *современный* оказывается в словосочетаниях типа *современная техника, современная фабрика, современный уровень производства* и т.д.

Получается, будто бы существует *современная лингвистика*, т.е. передовая, хорошая, и *лингвистика несовременная*, традиционная и, по-видимому, плохая. Иногда даже независимо от желания отдельных специалистов, прибегающих к словосочетанию *современная лингвистика*, возникает именно такое противопоставление. Оно складывается, во-первых, потому, что «все познается в сравнении», и, во-вторых, положительно-оценочная семантика прилагательного *современный* как бы сама вызывает противопоставление: *современная наука* (на высоком уровне нашего века) — *несовременная наука* (не на уровне нашего века). Если же учесть, что *современная лингвистика* чаще всего противопоставляется традиционной (классической) лингвистике, то станет очевидным, что первое словосочетание выступает в весьма положительном значении, а второе — в значении отрицательном.

Здесь сейчас же возникает множество проблем и вопросов. Обратим внимание на некоторые из них.

Во-первых, с какого времени начинается «современная лингвистика»? Этот вопрос приобретает особую важность, если прилагательное *современный* толковать в его временном значении («относящийся к настоящему времени»). Во-вторых, — и это еще существеннее — как можно говорить о «современной лингвистике» в каком-то обобщенном смысле, если лингвистика наших дней характеризуется острым столкновением различных теоретических концепций, обычно исключающих друг друга. В подтверждение этого последнего тезиса можно привести десятки примеров. Я пока ограничусь одним примером.

Известно, что некоторые лингвисты считают главой «современной лингвистики» американского ученого Н. Хомского. Создаются даже целые книги на эту тему<sup>1</sup>. Не менее многочисленная группа ученых в разных странах придерживается диаметрально противоположного взгляда, подчеркивая, что Хомский — вовсе не лингвист, что он весьма далек от науки о языке, искажает самый объект ее изучения, схематизирует явления и категории, не поддающиеся подобной схематизации, и т.д. Возникает вопрос: как на таком фоне следует оценивать «современность» или

<sup>1</sup> См., например: *Hiorth F. Noam Chomsky. Linguistics and Philosophy. Oslo, 1974.*

«несовременность» Н. Хомского? Нельзя забывать при этом и диапазона оценок работ Н. Хомского<sup>1</sup>.

Я здесь не занимаюсь оценкой лингвистических суждений Н. Хомского. Меня интересует другое: можно ли употреблять прилагательное *современный* в его оценочно-положительном значении («стоящий на уровне нашего времени»), если лингвистика наших дней представлена явно несходными концепциями языка, часто исключаящими друг друга? Я убежден, что так поступать нельзя.

Быть может, однако, правы те ученые, которые употребляют *современный* лишь в его временном значении? Возникают новые трудности.

Уже в 1869 г. немецкий филолог Т. Бенфей в своей «Истории языкознания и восточной филологии в Германии» писал о том, что с начала XIX столетия в Германии начинается история нового языкознания («Geschichte der neueren Sprachwissenschaft»), по отношению к которой все предшествующие этапы научных разысканий в этой области представлялись автору старыми, несовременными. Бенфей был убежден, что новое и современное — это начало XIX в., несовременное — все то, что предшествовало работам Ф. Боппа. Открытие сравнительно-исторического метода — вот рубеж, разделяющий «современное» (новое) и «несовременное» языкознание<sup>2</sup>. И так думали многие выдающиеся ученые на протяжении всего XIX столетия. Так считал, в частности, и Б. Дельбрюк в своем широкоизвестном очерке «Введение в изучение языка (из истории и методологии сравнительного языкознания)», впервые опубликованном в 1880 г.<sup>3</sup>

В этом отношении представляют бесспорный интерес взгляды отдельных выдающихся лингвистов разных эпох. Ученому такого масштаба, как В. Гумбольдт, казалось, что эпоха нового или современного языкознания начинается тогда, когда лингвист

<sup>1</sup> См., например: Aarsleff H. The History of Linguistics and Professor Chomsky // Language. 1967. 46. P. 570–585; Land S. The Cartesian Language Test and Professor Chomsky // Linguistics. An International Review. 1974. 122. P. 11–24; Joly A. Cartésianisme et linguistique cartésienne: mythe ou réalité? // Beiträge zur romanischen Philologie. Berlin, 1972. 1. S. 86–94; Pak T. Contradictions in Chomskian Semantics // Studia Linguistica. Lund, 1974. XXVIII (в моей библиографии уже имеется свыше двадцати работ самых различных авторов из разных стран с принципиальной критикой концепции Н. Хомского).

<sup>2</sup> Benfey Th. Geschichte der Sprachwissenschaft und orientalische Philologie in Deutschland. München, 1869 (см. оглавление этой книги).

<sup>3</sup> Русский перевод этого исследования был позднее включен в виде «Вступления» в кн.: Булич С.К. Очерк истории языкознания в России. I. СПб., 1904 (особенно с. 146–148).

получает возможность философски осмыслить строй того или иного языка, в особенности языка малоисследованного. В поисках этого современного языкознания Гумбольдт переходил от изучения санскрита к языкам баскскому, китайскому, к кави языку на острове Ява<sup>1</sup>. Гумбольдт иначе понимал «современное» языкознание, чем его современник Ф. Бопп, хотя у обоих исследователей прилагательное *современный* ассоциировалось с представлением о передовой науке. Вместе с тем «передовое» ученые истолковали различно: для Боппа «передовое» — это основательное знание фактов, для Гумбольдта «передовое» — это прежде всего философское осмысление фактов.

Уже эти примеры показывают, что разграничение понятий «современная наука» — «несовременная наука» в гуманитарных областях человеческого знания оказывается гораздо сложнее, чем в области математики или физики. Физик может назвать, например, квантовую физику «современной областью знания» и в какой-то степени противопоставить ее сфере классической физики (известная преэссенция и здесь, разумеется, сохраняется). Языковеду сходное разграничение провести гораздо труднее. Здесь необходимо считаться со спецификой каждой науки. Различия обнаруживаются даже в пределах родственных сфер знания. Как показал академик В.А. Амбарцумян, в астрономии, например, наблюдение играет более значительную роль, чем в физике, где в свою очередь эксперимент приобретает большее значение, чем в астрономии. «Астрофизические исследования в большинстве случаев распадаются на три стадии: 1) наблюдение; 2) интерпретация явления — выяснение того, что именно происходит в наблюдаемом объекте; 3) построение полной теории явления, включающей объяснение его причин»<sup>2</sup>.

Истолкование степени современности тех или иных знаний имеет и другой аспект. Первые две части «Из записок по русской грамматике» А.А. Потебни вышли в 1874 г., т.е. свыше ста лет тому назад. Однако эта книга сохраняет всю свою актуальность, всю свою современность и в наши дни. Едва ли целесообразно заниматься современными проблемами синтаксиса любого языка, не зная и не учитывая исследования Потебни. Больше того. Такие, казалось бы, остро современные проблемы синтаксиса, как актуальное членение предложения, взаимодействие слова и

<sup>1</sup> См.: Гайм Р. Вильгельм фон Гумбольдт. Описание его жизни и характеристика. М., 1898. С. 359–368; Теселкин О.С. Древнеяванский язык (кави). М., 1963. С. 13–14.

<sup>2</sup> Амбарцумян В.А. Философские вопросы науки о Вселенной. Ереван, 1973. С. 116.

предложения, предложения и контекста, грамматического и лексического — все эти проблемы, как и многие другие, не только поставлены, но и глубоко освещены в проникновенном исследовании Потебни. То же можно сказать, например, и об «Основах фонологии» Н.С. Трубецкого. Хотя и эту книгу отделяет от нашей современности период уже в несколько десятилетий (ее первое издание — 1939 г.), между тем все острее проблемы фонологии наших дней поставлены и широко освещены именно в этой книге Трубецкого. Современное осмысление фонологии едва ли возможно без опоры на разыскания Трубецкого. Даже в тех случаях, когда фонолог наших дней в чем-то не согласится с автором «Основ», он обязан отлично знать эту книгу в процессе размышления о самых современных, самых актуальных проблемах фонологии.

Отрицание преемственности в истории различных наук и искусств — явление, само по себе отнюдь не новое. По разным причинам оно возникало в самые различные эпохи и у разных народов. И во всех случаях подобное отрицание обычно обосновывалось «революционными» фразами о новаторском характере самого процесса развития науки и искусства.

У нас решительное отрицание преемственности, в частности в развитии литературного процесса, наблюдалось среди известной части советской интеллигенции в 20-е гг. Даже такой исследователь и писатель, как Ю.Н. Тынянов, защищал в те годы положение, которое в наше время кажется по меньшей мере странным: «Говорить о преемственности приходится только при явлениях школы, эпигонства, но не при явлениях литературной эволюции, принцип которой — борьба и смена»<sup>1</sup>. Получалось так, будто лишь писатели-эпигоны опираются на предшествующую традицию, тогда как писатели-новаторы, большие и смелые художники, подобную традицию не только не признают, но и опровергают ее, сменяют ее («борьба и смена»). Но как же тогда понять, почему новатор Достоевский считал себя последователем новатора Гоголя, почему новатор Ньютон признавал свою зависимость от новатора Галилея, а новатор Бетховен высоко ставил новатора Моцарта?

В науке, как и в искусстве, преемственность не имеет ничего общего с эпигонством. А если эпигонство порою стремится «оправдать себя» ссылкой на преемственность, то подобная уловка не может бросить ни малейшей тени на самый принцип

---

<sup>1</sup> Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. Л., 1929. С. 10.

преемственности. Эти категории, разумеется, совершенно не соотносительны.

Разумеется, новая концепция может иметь чисто теоретический характер. Но не следует забывать, что новая концепция часто вырастает из нового осмысления старых фактов, казалось бы, уже хорошо известных в науке.

Приведу здесь два примера. До самого последнего времени лингвисты-романисты считали, что романские языки возникли не из классической, а из так называемой вульгарной или народной латыни (лат. *vulgaris*, как и фр. *vulgaire*, — весьма многозначны). Под условным термином «вульгарная латынь» разумеалась более поздняя (сравнительно с языком эпохи Цезаря и Цицерона) латынь, грамматически и лексически ближе «расположенная» к будущим языкам романской группы. «Вульгарная латынь» — язык грамматически уже во многом аналитический, как и грамматический строй большинства романских языков. Все это казалось «раз и навсегда» установленным. Но отдельным ученым и раньше представлялось, что проблема сложнее. И вот в самое последнее время лингвисты-романисты стали возвращаться к старой концепции, согласно которой главным источником романских языков является не «вульгарная», а классическая латынь, располагающая огромным числом памятников самого различного характера. В этом плане преимущества классической латыни таковы: 1) она древнее латыни «вульгарной», 2) она целостна в своем грамматическом строе, 3) она великолепно документирована, тогда как от латыш. «вульгарной» сохранились лишь «рожки да ножки»<sup>1</sup>.

Дело не только в том, что новая постановка вопроса «переворачивает» соотношение между классической и вульгарной латынью. Новое опирается здесь на старое, но уже иначе осмысленное. Представление же о вульгарной латыни как об основном источнике романских языков зародилось в Европе в начале XIX столетия, в эпоху романтизма с его культом «народного начала» в языке, литературе, искусстве. Но это было одностороннее понимание «народного». В нашу эпоху стало очевидным, что народ участвует и в создании письменности: участвует если не прямо, то косвенно. Уровень культуры любой эпохи — это результат усилий не только отдельных личностей, но и народа, представителями которого выступают выдающиеся писатели, ученые, общественные деятели. В таком ракурсе классическая латынь с

<sup>1</sup> *Mańczak W.* La langue commune: latin vulgaire ou latin classique? // *Revue romane*. Copenhague, 1974. N 2 (здесь же дана история вопроса).



ее богатейшими памятниками предстает уже в другом виде сравнительно с эпохой, когда зародилась, теперь уже ошибочная, теория антидемократического характера классической латыни.

В подобных случаях «современность» или «несовременность» теории находится в прямой зависимости от того или иного истолкования и осмысления уже известных в науке фактов. Вместе с тем было бы несправедливо считать, что всякие попытки развивать теорию, согласно которой все же «вульгарная латынь» является источником романских языков, в наше время являются уже несовременными. Весь вопрос в том, насколько серьезны и основательны данные (факты, материалы, источники), на которые опираются как более старая, так и более новая теории.

Сравнительно не так давно еще спорили, какой язык «попал» в Южную Америку в период ее испанской колонизации — предклассический (до XVI столетия), классический или постклассический. Но вот А. Алонсо показал, что вопрос долгое время ставился неточно. Все три только что названных термина (предклассический, классический и постклассический) относятся к языку художественной литературы, в Южную же Америку проникла прежде всего общенародная и разговорная речь испанцев на рубеже XVI столетия и в более позднее время<sup>1</sup>. Здесь «звучащая речь» самих носителей языка приобретала большее значение, чем речь записанная, «обработанная» выдающимися писателями. И несмотря на несомненную зависимость «обработанной» речи от общенародного языка, из которого она сама вырастает, в этой ситуации соотношение оказалось несколько иным, чем в эпоху зарождения романских языков: в последнем случае «обработанный» литературный язык нам известен гораздо лучше. Он и дошел до нас от более старых времен, чем язык необработанный.

Современность или несовременность концепции, ее приемлемость или неприемлемость оказываются в прямой зависимости от определенного осмысления фактов, которыми располагает наука.

Возникновение отдельных славянских языков одни лингвисты до сих пор относят к III—IV вв. н.э., другие — к VI—VII вв.; имеются, наконец, ученые, которые называют лишь X—XI вв. эпохой формирования отдельных славянских языков. Разумеется, современность концепции тех или иных филологов будет определяться тем, насколько серьезно обоснована их доктрина фактами, насколько прочно она опирается на подобные факты<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Alonso A. Estudios lingüísticos. Temas hispanoamericanos. Madrid, 1953. P. 11.

<sup>2</sup> См.: Филлин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972; *Он же*. Образование языка восточных славян. М.; Л., 1962.

## 2

Всякая наука обязана считаться с фактами, которые составляют объект ее изучения. Это общее положение относится и к лингвистике. Между тем в отдельных направлениях науки о языке можно обнаружить нежелание считаться с фактами, попытки строить теорию как бы вопреки фактам. Так, например, многозначность слова, широкая лексическая, синтаксическая и стилистическая синонимика — характернейшие особенности любого современного языка, особенно языка с богатой литературно-письменной традицией. В отдельных же направлениях языкознания наших дней эти органические, в высшей степени типичные свойства языка объявляются признаками, для него нехарактерными. Теория языка начинает сооружаться так, будто бы все слова однозначны и не имеют никаких синонимов<sup>1</sup>. Авторы подобных утверждений стремятся «упростить» язык для облегчения процедуры его формализации. Но современность не может и не имеет никакого права ассоциироваться с необъективностью, с искажением объекта, подлежащего всестороннему и глубокому изучению.

Хорошо известно, что люди нашего времени легко различают такие категории, как материальное и идеальное. Но так было не всегда. Человек средних веков «... был склонен к смешению духовного и физического планов и проявлял тенденцию толковать идеальное как материальное»<sup>2</sup>. Все это находило выражение и в словаре той эпохи. Латинское *honor* означало и ‘честь’, и ‘ленное владение’, *gratia* — и ‘милость’ (‘любовь’), и ‘подарок’, *beneficium* — и ‘благоденствие’, и ‘феодалное пожалование’. Известны попытки того времени связать *homo* ‘человек’ с *humus* ‘земля’. Возникает вопрос: осмысляя теорию литературных языков в средние века, обязан ли лингвист считаться с несомненными фактами подобного рода? Разумеется, обязан. Теория и в этом случае как бы вырастает из фактов. Она не имеет права не считаться с ними.

Здесь придется вернуться к вопросу, о котором уже шла речь в предшествующей главе, — о математических методах в лингвистике. Сейчас, однако, я должен показать другой аспект этой же

<sup>1</sup> См., например: *Ветров А.А.* Методологические проблемы современной лингвистики. М., 1973. С. 39. «Если слово имеет несколько значений, то для теории класса удобнее (? — *Р.Б.*) считать каждое такое значение отдельным словом, т.е. омонимизировать эти значения» (*Холодович А.А.* Опыт теории подклассов слов // *Вопр. языкознания.* 1960. № 1. С. 32–33). Об этом речь уже шла во второй главе.

<sup>2</sup> *Гуревич А.Я.* Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 264–265; см. также материалы в кн.: *Langlois Ch.* La vie en France au moyen âge. Paris, 1908. P. 342–353.

проблемы, весьма важный для истолкования самого понятия «современная лингвистика».

Очень часто утверждают, что современная лингвистическая теория — это теория, оперирующая математическими формулами и математическими знаками. Разумеется, и то и другое может быть полезным в известных случаях. Но здесь нельзя не напомнить слова одного из крупнейших физиков нашей эпохи М. Борна: «Любая книга по физике, химии, астрономии потрясает неспециалиста обилием математических и иных символов... Но разве в этом обилии формул найдешь живую природу? Неужели эти физические и химические символы связаны с испытанной на опыте реальностью чувственных восприятий?»<sup>1</sup> Применительно к лингвистике об этом же писал еще в 1911 г. Л.В. Щерба: «... опыт показывает, что всякие таблицы и схемы расплзаются по всем швам, как только попробовать вставить в них факты живой действительности»<sup>2</sup>. Еще в XIX в. в своей книге «Диалектика природы» Ф. Энгельс заключил размышления замечательным вопросом: «Мы, несомненно, “сведем” когда-нибудь экспериментальным путем мышление к молекулярным и химическим движениям в мозгу; но разве этим исчерпывается сущность мышления?»<sup>3</sup>

Формулы, схемы и символы не противопоказаны лингвистике. Я хочу только подчеркнуть, что понятие «современная лингвистика» нельзя отождествлять с подобными внешними атрибутами изложения. Существуют многочисленные современные исследования языка, вовсе лишенные подобных признаков изложения. Справедливо и противоположное заключение: во многих публикациях наших дней, буквально заполненных формулами, схемами и символами, трудно обнаружить новые идеи — истинный признак современности исследования. Нередко с помощью математических знаков передается то, что уже давно и хорошо известно в науке.

На мой взгляд, *подлинным признаком современности лингвистического анализа является категория значения*, точнее, то, как истолковывается категория значения в конкретном исследовании. Если ученый вовсе отказывается от этой центральной для

<sup>1</sup> Борн М. Моя жизнь и взгляды. М., 1973. С. 109. Аналогичные мысли неоднократно выражал и один из создателей кибернетики — Н. Винер (см. его блестящую кн.: Я — математик. М., 1964. С. 44, 274, 347 и др.). Необходимо «предостеречь, — пишет Винер, — от переоценки возможностей применения математики к изучению других наук» (с. 275).

<sup>2</sup> Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 246.

<sup>3</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 563.

лингвистики категории, то его работа не может быть современной. На мой взгляд, недопустимо вытеснять категорию значения неопределенным и неясным понятием «значимость» (соссюрвское *valeur*). Но и признание категории значения еще не выявляет методологических позиций лингвиста, если учесть, что многие ученые наших дней либо 1) совершенно неправомерно отождествляют категорию значения и категорию отношения (между тем это совсем разные категории), либо 2) не усматривают в категории значения отражения признаков предметов или явлений, которые именуются лексическая категория значения, либо, наконец, 3) отрицают наличие обобщенных значений у грамматических классов или типов (грамматическая категория значения)<sup>1</sup>.

Современность или несовременность исследования определяются: 1) отношением его автора к категориям значения в лексике и грамматике, 2) характером истолкования этой категории с определенных методологических позиций.

Подлинно современная лингвистика не может не считаться с традициями мировой науки о языке. Даже в тех случаях, когда современная лингвистика казалось бы порывает с этими традициями, защищая новые положения, она и порывает и зависит от подобных традиций одновременно. И в этом нет ничего удивительного. Чтобы сформулировать в науке о языке новое, надо знать старое, надо понимать, как решался аналогичный или сходный вопрос раньше. Вместе с тем и старое нередко приходится освещать с позиций нового. К. Марксу принадлежат замечательные слова о том, что «анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны»<sup>2</sup>. В свете достижений «современной лингвистики» легче понять условия, исторически определившие подобные достижения.

Нельзя забывать, что в лингвистике, как и в любой другой гуманитарной науке, имеются вечные, никогда не устаревающие истины и положения. К ним относятся прежде всего такие лингвистические аксиомы, как глубоко общественная природа язы-

<sup>1</sup> См.: Будагов Р.А. Категория значения в разных направлениях современного языкознания (Вопр. языкознания. 1974. № 4; особо хочу здесь выделить прилагательное *разный*: в *разных* направлениях). Утверждение М.И. Стеблина-Каменского (см. его кн.: Спорное в лингвистике. Л., 1974. С. 60) о том, что категорией значения в науке о языке «заниматься легче всего» и что для этого не нужны ни обширные знания, ни строгие методы, основано либо на явном недоразумении, либо на стремлении «огорошить» читателя парадоксом. В другой, более поздней своей публикации (Миф. М., 1976) этот же автор защищает противоположную точку зрения, подчеркивая решающую роль категории значения в гуманитарных науках нашей эпохи.

<sup>2</sup> Маркс К. К критике политической экономии. М., 1953. С. 219.

ка, его коммуникативная функция, его связь с мышлением людей, говорящих на данном языке. К ним же относится проблема взаимодействия содержания и формы в языке (в широком смысле). Язык всегда является нашим «практическим, реальным сознанием». Разумеется, каждая новая эпоха в науке может и должна углублять истолкование этих органических свойств языка, но она не может — к счастью и для самого языка, и для общества — ни «отменить» подобных свойств языка, ни объявить их устаревшими, несовременными. Нельзя забывать и об огромной роли интуиции ученого в такой области знания, как наука о человеческом языке. В подобной науке точные знания в сочетании с интуицией исследователя приобретают большую силу. «Язык человека, — замечает Э. Бенвенист, — настолько глубоко и органически связан с выражением личностных свойств самого человека, что, если лишить язык подобной связи, он едва ли сможет функционировать и называться языком»<sup>1</sup>.

Итак, «современная лингвистика» — понятие многоплановое, очень сложное, весьма неоднородное. В современной лингвистике борются разные направления, опирающиеся на разные теоретические концепции языка<sup>2</sup>. Отдельные направления науки имеют несомненные достижения. За последние годы исследуется, в частности, более подробно и пристально, чем это делалось раньше, общественная природа языка и его многообразные функции (хотя и с весьма различных методологических позиций). Много нового обнаружено в области фонологии, грамматики, лексики и, особенно, в лексикографии. Неизмеримо расширился и круг изучаемых языков.

И все же «современная лингвистика» остается понятием весьма сложным и в высшей степени неоднородным. Для одних ученых современная лингвистика — это языкознание наших дней, другие ученые современную лингвистику отождествляют с генеративной грамматикой Н. Хомского и его последователей, третья группа ученых современную лингвистику приравнивает к так называемой «лингвистической философии в духе Остина» или «в духе гипотезы Сепира — Уорфа» и т.д. Находятся и лица, для которых современная лингвистика — это собрание как можно

<sup>1</sup> Benveniste É. Problèmes de linguistique générale. Paris, 1966. P. 261.

<sup>2</sup> Любопытно, что даже такой ученый, как Э. Кассирер, который любил подчеркивать свою позицию «над партиями», писал еще в 1945 г., что «современная лингвистика характеризуется острой борьбой между материалистами и формалистами» (Cassirer E. Structuralism in Modern Linguistics // Word. 1945. N 2. S. 113). См. также его более раннюю кн.: Philosophie der symbolischen Formen. I. Berlin, 1923. S. 274–293.

большого количества математических понятий, формул, схем, а то, что ясно и бесхитростно, представляется подобным специалистам недостаточно научным, а поэтому и недостаточно современным. Весьма различных представлений о том, что такое «современная лингвистика», можно насчитать много.

Разумеется, «современная лингвистика» не может быть эклектическим соединением этих несходных, нередко взаимно исключаящих друг друга концепций. Вместе с тем языкознание обязательно внимательно оценивать все действительно новое, подлинно прогрессивное, серьезно обоснованное<sup>1</sup>.

Пусть разыскания ведутся разными путями в истолковании взаимоотношений между языком и обществом, в осмыслении социальной природы языка, проблем его развития и совершенствования. Расхождения по методологическим вопросам неизбежны в той мере, в какой существует глубоко различное понимание самой природы языка, его функций в обществе, его исторического развития и совершенствования.

---

<sup>1</sup> «Современная семиотика», с которой отдельные ученые все больше сближают лингвистику, тоже многолика. В 1974 г. канадский автор Ж. Натье, большой поклонник семиотики, в обзоре последних работ из этой области поставил такой вопрос: что объединяет семиологов наших дней друг с другом? Сам же Ж. Натье ответил на этот вопрос тоже с помощью вопроса: «Не объединяет ли разных семиологов только то, что все они называют себя семиологами?» (*Linguistics. An International Review*. 1974, 138. P. 124).

---

---

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В работе была сделана попытка показать на конкретном материале разных языков и представить органическую связь между понятием развития языка и понятием его совершенствования. Конечно, эту важнейшую для любого языка связь нельзя ни упрощать, ни вульгаризировать. Недопустимо считать, что любое изменение в языке сейчас же обуславливает процесс его совершенствования. Считать так — значит ничего не понимать в самой проблеме. В книге была сделана попытка показать совсем другое: «большие линии» развития языка в конечном счете и как общее правило обычно приводят к совершенствованию языка. При этом в истории разных языков подобный процесс протекал и сейчас протекает неравномерно: от сравнительно резких изменений в определенные эпохи (причем сама «резкость» обычно подготавливается предшествующей эпохой) до медленных и постепенных накоплений новых возможностей языка.

Неприемлемы, на мой взгляд, концепции: 1) язык либо совсем изолируется от действительности, 2) либо вульгарно отождествляется с действительностью. Как всегда в подобных случаях крайности сходятся: в обоих случаях грубо искажается сама природа языка.

Первая концепция получила распространение под воздействием печально-знаменитого тезиса Соссюра: «Единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассмотренный в самом себе и для себя»<sup>1</sup>. Между тем подлинная специфика языка обнаруживается в связи языка с мышлением людей, в связи языка с потребностями общества и с культурой народа. Специфику языка следует

---

<sup>1</sup> Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933. С. 207.

искать не в изоляции языка от общества данной эпохи, а во взаимодействии языка и общества. Тогда проясняется и другая проблема — проблема совершенствования языка в процессе его исторического развития.

Дополнительно к ранее уже приведенным примерам и доказательствам остановлюсь еще на двух положениях.

Хорошо известно, что во всех индоевропейских языках существует грамматическая категория глагольного времени. Не менее хорошо известно и другое: настоящее, прошедшее и будущее время в логике не всегда совпадают с соответствующими подразделениями в грамматике, в системе которой прошедшее время, например, иногда может употребляться в плане будущего времени, а будущее условное — в плане прошедшего и т.д. На основе подобных несовпадений теперь часто заключают, что грамматика совсем не соприкасается с реальной действительностью и что «мир грамматики» автономен и замкнут. Он будто бы не имеет никакого отношения к миру наших повседневных представлений.

Что можно ответить подобным скептикам, которые по существу убивают грамматику, лишают ее всякого общественного значения. Несомненно лишь одно: грамматика любого языка всегда располагает своими особенностями, но эти особенности не дают никаких оснований для превращения грамматики в мир «чистых» абстрактных отношений, будто бы никак не связанных с общественными функциями самого языка. В специальном разделе книги была сделана попытка показать общественную функцию грамматики. Что же касается категории грамматического времени, то и она имеет прямое отношение к тому, как человек «ощущает» себя во времени в ту или иную историческую эпоху. Случаи же несовпадения логического и грамматического времени обнаруживают лишь многоплановость отношений между логикой и грамматикой, между языком и действительностью, а не их автономность.

Чтобы еще больше изолировать язык от действительности, стало модным разбивать само понятие о действительности на различные подгруппы, молчаливо подразумевая, что действительности как целостного понятия будто бы и не существует вовсе. Стали говорить о «действительности слушателя», «действительности говорящего», «действительности контекста», даже о «действительности языка». Но если существует особая и самостоятельная «действительность языка», то создается впечатление, что подлинная действительность, объективная действительность к языку собственно и не имеет никакого отношения. Это, разумеется, неверно. Проблема соотношения языка и объективной



действительности остается и в наше время важнейшей теоретической проблемой лингвистики.

По свидетельству Черни, Бетховен сочинил знаменитый финал-рондо своей тридцать первой сонаты, слушая, как скачет лошадь. Многих исследователей творчества Бетховена это сравнение возмущало: гениальная музыка не может соотноситься с топотом копыт скачущей лошади. Но Р. Роллан, глубокий знаток творчества Бетховена, защитил мысль Черни. Действительность через множество нередко сложнейших звеньев всегда воздействует на великого художника<sup>1</sup>.

Разумеется, язык — это не музыка, но сравнение Черни целиком относится и к языку, а следовательно, и к теории языка. Любой живой язык человечества всегда — прямо или косвенно, нередко через посредство множества звеньев — соотносится с реальной действительностью, с реальными человеческими нуждами и устремлениями, радостями и горестями.

В этой связи вспомним ставшее классическим положение Ф. Энгельса: «Понятия числа и фигуры взяты не откуда-нибудь, а только из действительного мира»<sup>2</sup>.

Обратимся теперь ко второй концепции, упомянутой раньше. Если одни лингвисты так или иначе отрицают связь языка с реальной действительностью (они признают лишь особую «языковую действительность»), то другие ученые готовы защищать прямо противоположный, но столь же несостоятельный тезис: «язык — это часть самого производства».

С первого взгляда может показаться, что последний тезис звучит очень революционно и сближает язык с важнейшей областью человеческой деятельности — с производством. Между тем отождествлять язык с производством так же недопустимо, как недопустимо проводить подобные же отождествления производства с мышлением людей, производства — с искусством, производства — с наукой. Язык и мышление, разумеется, связаны с производством, но вместе с тем и «возвышаются» над ним, обобщают его опыт, приобретают большую силу абстракции. В одной из глав я стремился показать взаимосвязь языка и научно-технической революции. Но нельзя из одной крайности (отрицание связи языка и действительности) впасть в другую крайность

<sup>1</sup> См.: *Урицкая Б.* Ромен Роллан — музыкант. М.; Л., 1974. С. 229; ср. также замечание большого ученого: «Скажите мне, как народ жил, и я скажу вам, как он писал...» (*Веселовский А.Н.* Историческая поэтика. Л., 1940. С. 390).

<sup>2</sup> *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 20. С. 37. Ср. интересный опыт описания отличий мышления мифологического от мышления научного в кн.: *Мелетинский Е.М.* Поэтика мифа. М., 1976. С. 164–170.

(вульгарное толкование воздействия научно-технической революции на язык, отождествление языка и производства).

Мы, говорящие люди, часто не осознаем огромных возможностей любого развитого языка, его мощи и величия. Разумеется, когда мы просим дать нам «позавтракать или пообедать», когда утверждаем, что «дождь идет», а «завтра погода будет хорошей», нам не надо ни вспоминать о мощи языка, ни думать о его возможностях. Но когда мы готовим доклад о проделанной за год работе или пишем трактат о тех или иных языках и культурах, нам все чаще и чаще приходится задумываться над тем, насколько мы сами владем родным языком и каковы его подлинные возможности. Напомню здесь и о больших писателях, которые перед «листом белой бумаги» испытывают не только «муки творчества», но и «муки языка». И те и другие «муки» чаще всего неразделимы.

Язык может «работать» на разную степень мощности, но весьма важно, чтобы люди понимали, как складывалась подобная мощность и каковы ее возможности в наше время.

Надо всегда помнить завет М.В. Ломоносова, сформулированный в знаменитом предисловии к его же «Российской грамматике» (1757). Ученый прекрасно понимал, что не все языки в одинаковой степени способны передать все ясно и просто. Вместе с тем нередко сами люди, не овладевшие в должной мере ресурсами языка, виновны в своей же лингвистической неумелости. Поэтому во многих случаях «ежели чего точно изобразить не можем не языку нашему, но недовольному своему в нем искусству приписывать долженствуем»<sup>1</sup>. Здесь речь идет не только о степени развития языка, но и о степени владения возможностями данного языка. Понимание и осмысление обеих этих проблем сохраняет свое значение и в современную эпоху.

Проблема совершенствования языка в процессе его исторического развития — это не только проблема исторического языкознания, но и проблема науки, которая занимается языками и нашего и будущих поколений. И это вполне понятно: живые языки человечества никогда не останавливаются и не могут останавливаться в процессе своего постоянного и активного функционирования, в процессе своего непрерывного развития и совершенствования.

<sup>1</sup> Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 7. М.; Л., 1952. С. 392.

---

---

ПРИЛОЖЕНИЯ

---

---

---

---

ВОЗНИКНОВЕНИЕ  
ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ  
В РОМАНСКИХ СТРАНАХ

В 1956 г. на VI международном конгрессе лингвистов-романистов во Флоренции известный итальянский филолог Б. Террачини прочитал доклад на тему: «Анализ понятия литературного языка»<sup>1</sup>. В этом докладе наметилось весьма спорное и, на наш взгляд, неправомерное истолкование литературного языка. По мнению итальянского ученого, литературный язык в романских странах возникает раньше, чем появляются первые памятники на данном языке. Уже в средневековых текстах, написанных по-латыни, встречаются своеобразные вкрапливания — отдельные слова и выражения — на живых народных языках. Вот эти-то вкрапливания и рассматриваются исследователем как первые свидетельства литературного языка в романских странах. Такое истолкование литературного языка сразу же снимает проблему его специфики: литературный язык полностью отождествляется с письменным языком, в результате чего первые же свидетельства об этом последнем одновременно интерпретируются как проявления литературной традиции. Становится неясным, зачем науке нужно понятие литературного языка, если оно растворяется в понятии языка письменного, к тому же еще самого несовершенного и фрагментарного. Дальнейшие уточнения литературного языка более поздних эпох, сделанные Террачини, не меняют его исходных положений: своеобразие литературного языка на первой стадии его существования оказалось невыясненным.

В отличие от итальянского филолога, румынский лингвист акад. А. Граур всячески подчеркивает специфику

---

<sup>1</sup> *Terracini B.* Analisi del concetto di lingua letteraria. Cultura neolatina. Bolletino dell'Istituto di filologia romanza. 1956. XVI. Fasc. 1.

литературного языка как особого понятия, отличного от понятий общенародного языка и языка художественной литературы<sup>1</sup>. Вместе с тем, исследуя вопрос о времени появления литературного языка, А. Граур утверждает, что литературный язык отнюдь не всегда связан с письменностью. По его мнению, язык фольклора выступает как язык литературный. Поэтому А. Граур считает возможным говорить о литературном языке еще до появления первых памятников письменности. По отношению к Румынии, начало письменности которой датируется XVI в., литературный язык оказывается понятием более старым: его истоки связываются с фольклорными традициями XV в.

Едва ли возможно согласиться с такой постановкой вопроса. На наш взгляд, нельзя говорить о существовании литературного языка до появления письменности. В дальнейшем здесь будет сделана попытка уточнить это положение, сейчас же отметим, что защитники концепции большей древности литературного языка по сравнению с эпохой появления письменности обычно ссылаются на Гомера. Язык поэм Гомера действительно являлся литературным языком Греции определенной исторической эпохи<sup>2</sup>. Однако не следует забывать, что это был уже тщательно обработанный язык, органически объединявший в себе формы двух диалектов: эолийского и ионического. Язык «Илиады» и «Одиссеи» отличался известным единством и в той или иной степени связывался с личностью одного поэта — Гомера<sup>3</sup>. Поэтому нельзя проводить знака равенства между языком «Илиады» и «Одиссеи» и языком фольклора вообще.

Если Б. Террачини и А. Граур, хотя и в силу разных оснований, относят возникновение литературного языка к дописьменной эпохе (следует помнить, что в некоторых романских странах письменность появляется уже в IX–X вв.), то в науке была высказана и прямо противоположная точка зрения, согласно которой о литературном языке можно говорить лишь в эпоху формирования нации и национального языка. Эта концепция была изложена в ряде интересных статей акад. И. Иордана<sup>4</sup>. Он полагал, что литературный язык должен отличаться большим единством, четкостью и ясностью норм, выразительностью эстетических устремлений. Такой язык приобретает особый социальный престиж и особую роль в жизни всего данного общества. Исходя

<sup>1</sup> *Graur A.* Einige Fragen der Literatursprache. *Revue de linguistique*. Т. II. București, 1957. P. 47–67. *Idem.* Cum se studiază limba literară. București, 1957. P. 3–20.

<sup>2</sup> Ср.: *Meillet A.* Aperçu d'une histoire de la langue grecque. 4 éd. Paris, 1935. P. 178.

<sup>3</sup> *Scott J.* The Unity of Homer. L., 1921.

<sup>4</sup> *Iordan I.* Limba literară—privire generală. *Limba română*, 1954. N 6; *Idem.* Per marginea discuțiilor asupra limbii literare // *Gazeta literară*. București, 1955. N 28 (68).

из этих соображений, И. Иордан относит образование литературного румынского языка лишь ко второй половине XIX в.

Здесь нужно разграничить два момента — общероманский и конкретно-исторический — применительно к данной стране. Если сравнить такие две романские страны, как Францию и Румынию, то письменность первой относится к IX в., а письменность второй — к XVI в. Следовательно, при установлении времени появления литературных языков в романских странах вопрос сводится не столько к абсолютной, сколько к относительной хронологии — к соотношению между письменностью данной конкретной страны и ее литературным языком. Своеобразие исторических путей развития Румынии не могло не отразиться на своеобразии становления ее литературного языка. И. Иордан прав, выделяя позднее развитие национального румынского языка сравнительно с некоторыми другими романскими языками. И все же вряд ли можно согласиться с конечным выводом исследователя о появлении литературного языка в Румынии лишь во второй половине XIX в.

Следует различать понятие литературного языка и понятие языка национального<sup>1</sup>. Первый отнюдь не всегда является вторым. Национальный язык во Франции складывается в XVII–XVIII вв., тогда как памятники литературного языка в этой стране широко представлены уже в XI в. В Румынии литературный язык известен с XVII в. (хроники), хотя нормы национального языка действительно сложились только в XIX столетии. Что же касается истоков литературного языка, то они могут уходить в глубокую древность. Вместе с тем национальный язык не дублирует старый литературный язык, а поднимает этот последний на новую, более высокую ступень.

Итак, вопрос о времени возникновения литературных языков в романских странах имеет две полярные концепции: одни исследователи относят эту эпоху к дописьменному периоду или к моменту появления первых письменных строк на данном языке (совершенно независимо от характера этих строк и степени их литературной обработки), другие, напротив того, отчетливо отделяют понятие письменного языка от понятия языка литературного, считая, что о последнем можно говорить лишь с той поры, когда письменный язык получает «твердые» нормы и отличную обработку, зафиксированную в различных и многообразных

<sup>1</sup> Во многих направлениях языкознания эти понятия смешиваются. Так, Мейе пишет о «национальном языке древней Греции» (*Meillet A. Les langues dans l'Europe nouvelle. Paris, 1928. P. 148*). Иначе вопрос освещается см.: *Жирмунский В.М. Национальный язык и социальные диалекты. Л., 1936. С. 40 и сл.*

литературных жанрах. Чтобы разобраться в этих доктринах, посмотримся к некоторым фактам.

Обратимся к таким известным литературным памятникам романских языков, как французская «Песнь о Роланде» (конец XI в.) или испанская «Песнь о Сиде» (1140 г.). Вопрос о том, на каком языке они написаны — на литературном или «долитературном» — решается сравнительно просто, если исходить из приведенного ранее определения литературного языка. Хотя нормы языков (фонетики, грамматики и лексики), на которых созданы эти произведения, еще не вполне устойчивы и допускают многочисленные колебания, тем не менее «Песнь о Роланде» и «Песнь о Сиде» выступают как замечательные памятники *литературных* языков (французского и испанского), так как форма этих языков оказывается «обработанной», а нормы их, несмотря на значительные колебания, все же обнаруживают тенденцию к единству. Разумеется, если нормы языков этих двух памятников сравнить с нормами тех же языков, памятники которых относятся к XVII или соответственно XX в., то устойчивость языковых норм в последующих двух случаях будет пропорционально возрастать, однако данный факт сам по себе отнюдь не сводит к нулю *тенденцию* к единству норм в интересующих нас памятниках XI–XII вв.

Приведем два примера. В эпоху сложения «Песни о Роланде» во французском языке четко различались два падежа имен существительных — прямой и косвенный. Равносложные имена мужского рода дифференцировались с помощью конечного *s* (*murs*, стена — прямой падеж; *mur* — косвенный падеж), неравносложные — с помощью особого окончания в косвенном падеже (*ber*, храбрый человек; *baron*, храброго человека, храброму человеку и пр.). В тексте «Песни» прямой падеж *ber* встречается в двух видах: не только *ber*, но *bers*. Последняя форма возникла по аналогии с формами типа *murs*. Колебания *ber—bers* в памятнике налицо. Однако общая тенденция языка памятника в целом не противоречит общей тенденции языка эпохи, который разграничивал прямой и косвенный падежи. Дублетные формы (*ber—bers*), правда, придавали этой общей закономерности языка некоторую внешнюю пестроту, но не нарушали самой данной закономерности (падежное противопоставление *ber—baron* сохранялось и при *ber* и при *bers* в номинативе). Дублетные формы как бы скользили по поверхности языка. В самом же языке нормы, хотя и находились в ту эпоху в более интенсивном движении, чем теперь, — язык тогда только складывался, — но все же были достаточно ясно выражены. Да иначе и быть не могло: язык всегда служит средством общения и выражения мысли. Вот почему главное (в

смысловом и грамматическом отношениях) разграничение *ber—baron* в «Песне» почти не нарушается, тогда как побочная для языка линия представлена дублетными формами (*ber, bers*).

Колебания языковой нормы обнаруживаются и в «Песне о Сиде». Так, в староиспанском могли конкурировать между собой в придаточном предложении и будущее время индикатива и имперфективное будущее конъюнктива: *quando los gallos cantarán*, когда петухи запоют, и *quando fuere la lid*, когда разразится бой. Однако и в том и в другом случае смысл передавался достаточно ясно, хотя тогда еще не существовало столь строгих правил употребления конъюнктива в придаточном предложении, как в современном испанском языке<sup>1</sup>.

Однако это не означает, что ясность выражения и строгие грамматические правила не находятся между собой в зависимости. Зависимость здесь бесспорная. Примеры лишь показывают, что грамматические правила — категория историческая и что определенные колебания в сфере некоторых грамматических отношений до поры до времени могут не мешать выражению мысли в ту или иную историческую эпоху. Весь вопрос в том, что это за правила и какого рода колебания они допускают. Нельзя забывать, что и современные романские национальные литературные языки — в том числе и наиболее «кодифицированный» среди них французский язык — допускают известные колебания нормы, причем не только в области лексики, но и в системе грамматики и фонетики, о чем свидетельствуют, в частности, многочисленные справочники типа «словарей трудностей». Все это лишний раз подтверждает историческую подвижность норм литературного языка не только на его ранних этапах становления, но и в последующие эпохи, вплоть до современности.

Было бы грубой ошибкой на этом основании сделать вывод о несущественности норм литературного языка. Для последнего норма — важнейшее понятие. Вопрос, однако, заключается в том, чтобы правильно интерпретировать это понятие, учитывая историческую изменчивость норм литературного языка и известную их относительность в каждую историческую эпоху.

Таким образом, при определении степени устойчивости норм литературного языка следует учитывать характер самой *тенденции* к устойчивости. В противном случае за пределами литературных языков окажутся крупнейшие памятники романского средневековья, сыгравшие выдающуюся роль не только в формировании

<sup>1</sup> Характеристику языка «Песни о Сиде» дают: *Lapesa R. Historia de la lengua española*. 2 ed. Madrid; Buenos Aires, 1950. P. 152–161; *Menéndez Pidal R. La forma épica en España y en Francia*. Revista de Filología Española. Madrid, 1933. XX.



литератур этих народов, но и в развитии их языков. Поэтому нельзя согласиться с теми исследователями, которые, опираясь на значение «четких норм» в литературном языке, склонны считать, что язык «Песни о Роланде» литературным будто бы не является<sup>1</sup>. На наш взгляд, такая точка зрения лишена историчности и неправильно ориентирует читателя и исследователя.

В «Песне о Роланде», как и в «Песне о Сиде», можно обнаружить не только определенные языковые нормы, но и известную литературную обработку языка. Хотя стиль французского эпоса о Роланде часто характеризуется как «простой и грубый», но в подобной простоте и кажущейся «грубости» нельзя не обнаружить разнообразных средств воздействия на читателя, типичных для средневековой поэтики. Б.И. Ярхо, в частности, насчитывал «800 несомненных поэтических фигур» в тексте сказания о Роланде, не говоря уже о других признаках литературной «обработки»<sup>2</sup>. О художественных особенностях языка и стиля испанского эпоса о Сиде сообщает другой исследователь<sup>3</sup>.

Литературный язык — это понятие прежде всего историческое. Литературный язык характеризуется известной «обработанностью» и тенденцией к фиксации письменных норм. Поэтому нельзя говорить о литературном языке до появления письменности. Вместе с тем не всякая письменность, в особенности письменность древнейших эпох, предстает перед нами в той или иной степени обработанной. Отдельные вкрапления народных слов в латинские тексты средневековья литературных романских языков, конечно, еще не создавали.

Не всякий письменный памятник является памятником литературного языка. В Италии древнейшие тексты, составленные на «родном» языке, восходят к IX–XI вв., но памятниками литературного языка они еще не являются. Это деловые записи торгового и юридического характера, в большинстве случаев отрывочные и незаконченные. Их итальянский язык еще наполовину смешан с латынью. Они не сохранили следов хоть какой-то литературной обработки. Во всяком случае современный филолог

<sup>1</sup> См.: Доза А. История французского языка. М., 1956. С. 406. Автор не случайно здесь же сочувственно вспоминает ошибочную теорию монастырьско-жонглерского происхождения французского эпоса, изложенную Ж. Бедье. Доза «снижает» язык «Песни о Роланде» так же, как снижал содержание этого замечательного эпоса Бедье. Критику доктрины Бедье см.: История французской литературы. Т. I. М.; Л., 1946. С. 49–50.

<sup>2</sup> Песнь о Роланде / Пер. со старофранцузского; вступ. статья и прим. Б.И. Ярхо. М.; Л., 1934. С. 85.

<sup>3</sup> См.: Смирнов А.А. Песнь о Сиде как литературно-исторический и художественный памятник // Песнь о Сиде. Староиспанский героический эпос, пер. текстов Б.И. Ярхо и Ю.Б. Корнеева, изд. подготовил А.А. Смирнов. М.; Л., 1959. С. 214–226.

не может обнаружить этой обработки. И хотя язык данных памятников уже располагает известными нормами — в противном случае их нельзя было бы прочитать, — эти нормы еще настолько неопределенны в своих основаниях, что упомянутые памятники приходится не столько читать, сколько расшифровывать современным исследователям<sup>1</sup>.

То же следует сказать и о румынских текстах XVI в. Это прежде всего переводы славянских религиозных сочинений на румынский язык, различные записи делового характера. Подчеркивая большое значение первых письменных источников румынского языка, крупнейший знаток истории своего родного языка О. Денсушану вместе с тем замечает, что было бы тщетно «искать в текстах XVI в. хоть какие-либо следы их литературной обработки»<sup>2</sup>. Тексты эти обычно составлялись людьми малообразованными, которые испытывали огромные трудности от самого процесса переложения на пергамент слов и выражений, прочитанных на другом языке и переведенных на родной или просто услышанных из уст собеседников. Подобные трудности поглощали все силы первых переводчиков и писцов. На минимальную «обработку» текстов, по-видимому, не хватало ни сил, ни знаний, ни времени.

Иное дело тексты XVII в., в особенности такие, как хроники Уреке и Костина. Исследователи отмечают богатство их языковых ресурсов, стремление воздействовать на читателя, привлечь его на свою сторону самим характером изложения фактов и событий<sup>3</sup>. Поэтому, хотя древнейшие тексты румынского языка относятся к XVI в., литературный язык формируется лишь в следующем столетии.

Из кн.: Будагов Р.А. Проблемы изучения романских литературных языков. М., 1961. С. 7–14. Развитие идей см.: Он же. Литературные языки и языковые стили. М., 1967.

<sup>1</sup> Эти тексты собраны: *Monaci E. Crestomazia italiana dei primi secoli*. Nuova ed. Roma, 1955. P. 1–11. Их характеристику дает: *Гаспари А.* История итальянской литературы. Т. 1. Итальянская литература средних веков / Пер. К. Бальмонта. М., 1895. С. 40 («Старания найти литературные памятники итальянского языка, которые были бы древнее начала XIII в., до сих пор были тщетными, и все мнимые открытия в этом роде оказались иллюзиями»). С тех пор положение почти не изменилось.

<sup>2</sup> *Densusianu O. Histoire de la langue roumaine*. Vol. II. Paris, 1914. P. 11.

<sup>3</sup> *Istoria literaturii române*. I. Redactat de G. Gălinescu, J. Vitner, O. Crohmălniceanu. București, 1954. P. 35. О развитии этих тенденций в языке XVIII в. см.: *Лазарева А.* Из наблюдений над языком летописи Иоана Некулче // Уч. зап. Молдавского филиала АН СССР. Институт истории, языка и литературы. 1958. Т. VII–VIII. С. 139–150.

---

---

ОБЩЕНАРОДНЫЕ  
И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЯЗЫКИ

Вынесенное в заголовок разграничение относится к числу трудных теоретических проблем. В самом деле, где «начинается» литературный язык и где «кончается» язык общенародный? В каком взаимоотношении находятся эти понятия? Проблема осложняется еще и тем, что в эпоху формирования романских общенародных языков (и позднее) литературным языком во многих западных странах была, как известно, латынь. Еще в XVI в. во Франции и Италии количество литературных произведений, написанных по-латыни, превышало количество произведений, изложенных на родном языке<sup>1</sup>. Монтень с детства, прежде чем приступить к языку французскому, изучал латынь как родной язык. С этой целью его родители и их слуги говорили в доме только по-латыни. Аналогичная картина наблюдалась и в Италии, где дети богатых людей с самых ранних лет учились говорить по-латыни. Несколько раньше латынь начинает вытесняться в Испании, но и здесь до IX в., как показал в свое время Меллер, еще не различались такие понятия, как *lingua latina* и *lingua romana*<sup>2</sup>. Поэтому впоследствии в связи с возникновением новой категории — понятия *romance* — *romance* рассматривалось как общенародный язык вообще, без всякой диалектной локализации<sup>3</sup>.

Есть поэтому все основания предполагать, что в сознании теоретиков языка в эпоху Возрождения (в Италии,

---

<sup>1</sup> См.: Ольшевская Л. История научной литературы на новых языках / Рус. пер. Т. II. М.; Л., 1934. С. 44.

<sup>2</sup> Muller H.J. On the Use of the Expression «Lingua Romana» from the First to the Ninth Century // Zeitschrift für Romanische Philologie. 1923. Bd XLIII. S. 9–19.

<sup>3</sup> Bahner W. Beitrag zum Sprachbewusstsein in der Spanischen Literatur des 16 und 17 Jahrhunderts. Berlin, 1956. S. 13.

---

---

Испании и во Франции) разграничение «общепародный язык — литературный язык» проводилось совсем иначе по сравнению с тем, как это делается современными филологами. В ту эпоху отмеченное разграничение выступало прежде всего как разделение между *разными* языками (родным и латынью), а не как дифференциация в пределах *единого* языка<sup>1</sup>. И хотя современные лингвисты отнюдь не одинаково истолковывают дифференциацию единого языка, все же можно утверждать, что разграничение «народный язык — литературный язык» теперь не может рассматриваться как категория межъязыковая. Для современных романских языков эта категория уже всегда внутриязыковая. Такой поэтому она является и в науке. Попробуем разобраться в каждом компоненте формулы «общепародный язык — литературный язык».

Уже в эпоху Возрождения понятие литературного языка не было единым в романских странах. Это определяется прежде всего тем, что в разных романских странах литературный язык находился в неодинаковых отношениях к диалекту столицы. В то время, как самые древние письменные памятники румынского языка уже с самого начала отличались некоторым диалектным единством<sup>2</sup>, во Франции, Италии и Испании картина была иной. Хотя центральный диалект столицы Франции начинает выдвигаться с XII в., вся богатейшая старофранцузская литература вплоть до XIV в. слагается еще на разных диалектах. О том, что представлял собой диалект Парижа, точнее Иль-де-Франса, в X—XII вв., нам мало что известно. Между тем именно на основе этого диалекта формируется впоследствии литературный и национальный язык всего государства.

Что же представлял собой литературный язык более ранней поры?

Хотя литературные произведения X—XII вв. во Франции и были написаны на различных диалектах, все же локальные языковые отличия между ними не были очень резкими. Поэтому такие памятники, как «Песнь о Роланде» или романы Кретьена де Труа, выступали как памятники *литературного* языка своей эпохи. Разумеется, этот литературный язык еще не мог отличаться чертами

<sup>1</sup> Данте склонен был отождествлять грамматику с литературным языком вообще (см.: Будагов Р.А. Трактат Данте «О народном красноречии» и его значение для современности // Науч. докл. высшей школы. Филологические науки. 1960. № 2. С. 3—14). Для испанского языка: Buceta E. La tendencia a identificar el español con el latin. Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal. Vol. 1. Madrid, 1925. P. 88.

<sup>2</sup> Во всяком случае сравнительно с другими романскими языками: Densușianu O. Histoire de la langue roumaine. Vol. II. P. 12.

того единства, которое станет для него характерным значительно позднее, в XVII в., но понятие литературного языка всегда является понятием историческим.

В Испании соотношение центробежных диалектных тенденций складывается иначе. Хотя крупнейший памятник средневековой испанской литературы «Песнь о Сиде» написан в основном уже на кастильском наречии лишь с незначительными вкрапливаниями из других диалектов<sup>1</sup>, испанская литература не сразу приобретает языковое единство. Эпические произведения слагаются на кастильском диалекте, тогда как лирическая поэзия средних веков прибегает в основном к галисийскому наречию. В Каталонии поэты обращаются к провансальскому языку — средству выражения чувств и раздумий трубадуров. Кастильский диалект прочно обосновывается лишь к XVI в.

Еще более пестрая картина диалектных переплетений открывается перед взором исследователя в Италии. Здесь на протяжении многих столетий, начиная с эпохи Данте, ведутся горячие споры о диалектной основе итальянского литературного языка. Литературные произведения, в особенности стихотворные, написанные на различных диалектах, до сих пор продолжают издаваться в Италии. В Пьемонте, например, только в середине XIX в. стало развиваться движение в пользу общелитературного итальянского языка. До тех пор образованные пьемонтцы говорили по-французски, тогда как народ владел лишь своим местным диалектом. Даже в наше время культурные венецианцы в домашнем быту обращаются к родному наречию и сравнительно редко говорят на литературном языке. То же наблюдается во многих других областях Италии<sup>2</sup>. Однако престиж литературного языка все же неуклонно возрастал.

Выдвижение того или иного диалекта как основы литературного языка в разных романских странах определялось не всегда одинаковыми причинами. Фосслер утверждал, что в то время как во Франции выдвижение центрального диалекта как основы литературного языка более позднего периода было определено прежде всего политическими причинами (Париж — экономический и политический центр страны), в Италии аналогичное выдвижение тосканско-флорентинского диалекта оказалось обусловленным чисто литературными причинами: Данте, Боккаччо и Петрарка писали на нем, и их исключительный авторитет спо-

<sup>1</sup> *Lapesa R.* Historia de la lengua española. Madrid; Buenos Aires, 1950. P. 141; *Hanssen F.* Spanische Grammatik auf historischer Grundlage. Halle, 1910. S. 11.

<sup>2</sup> См.: *Шушмарев В.Ф.* У истоков итальянской литературы // Изв. АН СССР. Отд. лит-ры и яз. 1941. № 3. С. 73.

собствовал сублимации самой тосканско-флорентинской нормы<sup>1</sup>. Фосслер правильно отметил различие условий в двух странах, но он слишком резко противопоставил политические и литературные мотивы выдвижения одного из диалектов. Не следует забывать, что с конца XIII в. Флоренция стала развиваться как независимый свободный город. Республика Флоренция вела широкую торговлю и являлась вместе с тем центром умственного движения Италии вплоть до середины XVI в. Все это не могло не увеличивать ее престижа и ее языковой нормы. Быть может, впрочем, в определенный древний исторический период сознание необходимости единства языка в Италии в какой-то мере стимулировало аналогичное сознание необходимости политического единства страны<sup>2</sup>. Эту зависимость понимали уже выдающиеся деятели эпохи Возрождения, как и последующих столетий. Испанский филолог А. Небриха (1441–1522) утверждал, что авторитет того или иного наречия находится в прямой зависимости от «власти империи» и что само это наречие выступает как «спутник империи» (*compañera del imperio*)<sup>3</sup>. Значительно позднее аналогичные мысли высказывал во Франции К. Вожа (1585–1650), считавший, что престиж двора и престиж города имеют исключительно большое значение для престижа языковой нормы, которую они представляют<sup>4</sup>.

Конкретно-исторические условия развития страны в определенную историческую эпоху придавали борьбе за единый язык известный отпечаток. Так, то обстоятельство, что формирование единого испанского языка на основе кастильского диалекта проходило в период реконквисты (обратного отвоевания испанских земель в X–XV вв.), придавало проблеме единого языка в Испании более широкий народный резонанс, чем в этот же период в Италии или во Франции. Вместе с тем более «массовый» характер гуманизма эпохи Возрождения в Италии по сравнению с Испанией определил и более острые дебаты по теоретическим вопросам литературного языка в первой стране по сравнению со второй. Все это подтверждает общественное значение проблемы литературного языка вообще, в романских странах — в частности и особенности.

<sup>1</sup> *Vossler K. Südliche Romania. Leipzig, 1950. S. 10.* Эту же точку зрения защищал Л. Ольшки (*Olschki L. Struttura spirituale e linguistica del mondo neolatino. Bari, 1935. P. 40.*)

<sup>2</sup> *Migliorini B. Lingua e cultura. Roma, 1948. P. 11.*

<sup>3</sup> *Bahner W. Op. cit. S. 101.*

<sup>4</sup> См.: *Гуковская З.В. Заметки о французском языке Вожа и проблема французского литературного языка XVII в. // Уч. зап. ЛГПИ. 1957. Т. XXVIII. Вып. 2. С. 236.*

Проблема «общенародный язык — литературный язык» иногда осложняется третьим компонентом — диалектом, в результате чего в определенный период развития литературных языков возникает проблема «общенародный язык — один из его диалектов — литературный язык». В эпоху, когда литературный язык начинает прочно опираться на один из диалектов, проблема формулируется опять двузначно: общенародный язык — литературный язык.

История большинства романских литературных языков подразделяется на *три периода*: первый характеризуется тем, что литературный язык, получая уже известную «обработку» и обнаруживая тенденцию к установлению некоторых норм, еще не опирается на один диалект исключительно и еще не знает достаточно четких языковых норм; второй период начинается с эпохи явного превалирования одного из диалектов, который выступает как основа литературного языка, нормы которого постепенно делаются все более строгими и степень «обработки» все более высокой. Наконец, третий период относится к эпохе, когда литературные языки превращаются в языки национальные, когда создаются литературные национальные языки. Такие памятники романских языков, как, например, «Песнь о Роланде» или «Песнь о Сиде», являются произведениями, созданными на литературных языках первого периода.

В отдельных романских странах могли быть отклонения от этой периодизации. Так, в Румынии, письменность которой возникает только в XVI в. и сразу же обнаруживает известное диалектное единство, трехступенчатая периодизация превращается в двухступенчатую: от первых литературных памятников XVII в. до образования литературного национального языка в XIX в.

Нельзя считать, что отличия литературных языков от общенародных будто бы всегда сводятся лишь к второстепенным деталям словаря и фразеологии, тогда как во всем существенном между ними различий не обнаруживается. Такая точка зрения<sup>1</sup> не может быть признана правильной. Хотя подразделения внутри целостного понятия «языка» действительно обычно не могут разрушить его единства — иначе язык перестает выполнять свои функции, — все же нельзя не учитывать, что язык способен выступать (особенно в определенные периоды своего развития) в очень многообразных формах. Приведем здесь только один при-

<sup>1</sup> Она иногда защищается (см., например: *Niculescu Al. Les problèmes de la langue littéraire discutés au cours du VIII congrès international d'études romanes. Revue de linguistique. Vol. I. București, 1956. P. 124.*

мер глубокого отличия литературного языка от языка общепародного.

Одна из самых характерных особенностей старофранцузского языка заключалась, как мы уже знаем, в том, что в системе его склонения имелось четкое противопоставление двух падежей (прямого и косвенного).

Эта грамматическая особенность типична для памятников французской письменности IX–XIII вв. Между тем общепародный язык этой эпохи не знал отмеченной грамматической особенности литературного языка, унаследованной от латыни. Общепародный язык как бы обогнал литературный язык на несколько столетий: в литературных памятниках двухпадежная система склонения вытесняется только в XIV–XV вв. Таким образом, в важнейшей черте грамматического строя между литературным и общепародным языком определенной эпохи существовало явное несходство<sup>1</sup>. И хотя впоследствии это несходство было сведено на нет (общепародный язык только показал путь языку литературному), сама возможность подобного глубокого различия должна учитываться исследователями.

Все это подтверждает, что, несмотря на постоянное и непрерывное взаимодействие общепародного и литературного языков, эти понятия остаются различными, хотя и взаимообусловленными (влияние общепародного языка на литературный чаще всего бывает сильным и постоянным, тогда как противоположное воздействие возможно, но спорадично).

Отношения между общепародным и литературным языками нельзя смешивать с отношением литературного языка к местной народной речи. Первая проблема не только шире, но и существеннее второй. В первом случае анализируются постоянные отношения, во втором — временные, преходящие. Язык, пока жив его носитель — народ, всегда имеет общепародный характер, поэтому отношения первого типа всегда существенны. Отношения же литературного языка к тем или иным локальным особенностям народной речи исторически всегда преходящи и могут решаться по-разному. Постараемся разобраться в этом.

Нельзя считать, что чем прогрессивнее писатель, тем чаще у него встречаются местные народные слова и выражения. Как и в других аналогичных случаях, и к этой постановке вопроса следует подходить исторически. Румынский и молдавский писатель

<sup>1</sup> Фуле даже утрировал это несходство, считая, что «обычный французский язык XVII века уже заключен в народной речи XII и XIII веков» (*Foulet L. Petite syntaxe de l'ancien français. Nouvell éd. Paris, 1958. P. 355*).



классик И. Крянгэ (1837–1889) широко употреблял народные слова и выражения. Выходец из Молдавии, он любил особенности своей родной речи. Демократические устремления писателя нашли свое выражение и в языке; для народа он умел писать языком народа, одновременно «обрабатывая» этот язык и поднимая его до уровня литературного<sup>1</sup>.

Но вот совсем другой пример. Испанская мистическая писательница, известная под именем Тересы-де-Хесус (1515–1582), умышленно отказывалась от некоторых выработанных средств испанского литературного языка, нарочито употребляя лексикон и конструкции либо узко диалектного, либо архаического характера. Эти «народные» элементы языка уживались у Тересы с различного рода литературными деформациями слов и вульгаризмами<sup>2</sup>. В этом случае как бы преднамеренный частичный отказ от завоеваний литературного языка вполне соответствовал общей позиции писательницы, уводившей читателя в сторону от реальной жизни.

Таким образом, народный язык народному рознь. Следует поэтому, во-первых, различать понятия общенародного и народного (местного) языка и, во-вторых, понимать, что обращение к народной речи обуславливается разными причинами.

\* \* \*

Новые проблемы литературного языка возникают в странах Латинской Америки. Самая существенная из них заключается, на наш взгляд, в том, что испанский и португальский общенародные языки остаются в основных своих чертах теми же общенародными языками в странах Латинской Америки, тогда как литературная норма этих языков в каждой из данных стран приобретает свои характерные особенности. Испанский язык Аргентины, например, имеет свои литературные особенности, отличающие его от испанского языка Уругвая, Венесуэлы, Мексики или Чили.

Приведем два—три примера. Обращение на *вы* (vos) в Мексике распространено лишь среди культурных слоев населения, тогда как это же обращение в Чили характерно для народного языка и эквивалентно «вульгарному» ты. Если мексиканец, приезжая в Чили, не посчитается с этой особенностью местной нормы, то

<sup>1</sup> Корлэтяну Н.Г. Дикционарул лимбий луй Крянгэ // Ниструл. 1958. № 8. С. 116–124.

<sup>2</sup> Menéndez Pidal R. El estilo de Santa Teresa // La lengua de Cristóbal Colón. Madrid, 1942. P. 152 (где одновременно отмечается техническое мастерство Тересы).

он попадет в неловкое положение. Уругвайцы произносят с сильной аспирацией *s* в словах типа *mosca* (мука), причем это произношение является у них литературным. Но в других странах Латинской Америки подобное звучание считается признаком нелитературного языка и свидетельствует о необразованности говорящего<sup>1</sup>.

К числу особенностей испанской речи в Латинской Америке относится и явление, которое некоторыми исследователями именуется «злоупотреблением уменьшительными образованиями» (*abuso de diminutives*). Здесь часто образуются такие эмоционально-экспрессивные ряды слов, как, например, *chico* ‘мальчик’, *chicuelo* ‘мальчуган’, *chiquiticuelo* ‘мальчугашка’, *chiquitiquiracuela* ‘мальчуганчишечка’. Подобные образования, звучащие аффективно в самой Испании, воспринимаются как более «стертые», более обычные в испанской речи Латинской Америки. Быть может, различие *норм языка* объясняется тем, что в Латинской Америке в течение долгого времени после колонизации «господствовала разговорная форма испанского языка» метрополии<sup>2</sup>. Но так или иначе следует считаться с тем, что испанский язык может иметь разные варианты своей литературной нормы. Это объясняется тем, что испанский язык в странах Латинской Америки (resp. португальский в Бразилии) в целом остается тем же языком, но приобретает многие специфические особенности. Эти особенности, в частности, находят свое выражение в *вариантах нормы* литературного языка в разных странах.

Таким образом, развитие романских литературных языков в странах Латинской Америки ставит перед исследователем новую проблему: в целом единому общепародному языку могут соответствовать если и не различные литературные языки, то по крайней мере различные нормы литературного языка. Другими словами, общепародный язык имеет здесь как бы несколько литературных «отражений», несколько литературных «обработок» в зависимости от того, в какой стране функционирует данный язык и как складывались условия его исторического формирования. Таким образом, проблема литературного языка всякий раз должна решаться конкретно-исторически. Обратим теперь внимание на то, насколько удавалось различным ученым

<sup>1</sup> *Pedro Rona J.* Aspectos metodológicos de la dialectología hispanoamericana. Montevideo, 1958. P. 12; *Gonzales Moreno J.* Manual elemental de gramática histórica hispano-mexicana. México, 1926. P. 180.

<sup>2</sup> *Степанов Г.В.* Об одной особенности испано-американской речи // Науч. докл. высшей школы. Филологические науки. 1958. № 1. С. 38; *Alonso A.* El problema de la lengua en America. Madrid, 1935. P. 13.

практически разграничить историю общенародного и историю литературного языка.

Если обратиться к известным монографиям по истории разных романских языков, то нельзя не поразиться разнообразию в этом отношении. Исследователи, которые создавали научные курсы по истории общенародного языка, иногда широко включали в эти курсы и историю литературного языка. Например, книги Брюно<sup>1</sup>, Фосслера<sup>2</sup>, Вартбурга<sup>3</sup>, Росетти<sup>4</sup>, Лапеса<sup>5</sup> и других. Напротив того, ученые, работавшие над созданием исторических грамматик отдельных романских языков, вопросами литературного языка, как правило, не интересовались. Таковы, например, известные труды Мейер-Любке<sup>6</sup> и Рольфа<sup>7</sup>. Однако это, казалось бы, естественное разграничение далеко не всегда соблюдается. В шеститомной французской исторической грамматике датского романиста К. Нюропа даны не только общий очерк литературного языка, но и подробная семасиология<sup>8</sup>. В другие же исторические грамматики обычно не включаются ни сведения о литературном языке, ни специальные исследования в области семасиологии.

Все это говорит о том, что неясность в разграничении «общенародный язык — литературный язык» обычно соприкасается с такой же неясностью в разграничении других понятий — «история языка — историческая грамматика языка». Если бы два последние понятия были достаточно четко разграничены, то это не могло бы не отразиться на дифференциации первых двух понятий: история языка отличается от исторической грамматики данного языка прежде всего своим более широким содержанием. В историю языка непременно должны входить и история литера-

<sup>1</sup> *Brunot F.* Histoire de la langue française. Vol. I. Paris, 1905; с 1905 по 1953 г. вышло 13 томов этой монументальной работы. Последний (13-й) том, написанный Шарлем Брюно, был опубликован в 1953 г. Следует отметить, что для других романских языков подобного исследования не существует; см. сноску 1 на стр. 245 о замечаниях Гийана на 13-й том.

<sup>2</sup> *Vossler K.* Frankrechs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung. Heidelberg, 1913. Во втором издании книга называется иначе: Frankrechs Kultur und Sprache. Heidelberg, 1929 (имеются итальянский и французский переводы этой работы).

<sup>3</sup> *Wartburg W.* Evolution et structure de la langue française. 5 éd. révisée. Bern, 1958.

<sup>4</sup> *Rosetti Al.* Limba română în secolele al XII-lea-al XVI-lea. București, 1956.

<sup>5</sup> *Lapesa R.* Historia de la lengua española. Madrid; Buenos Aires, 1950.

<sup>6</sup> *Meyer-Lübke W.* Historische Grammatik der französischen Sprache. Bd I. 2 Aufl. Heidelberg 1913; Bd II. 1921. .

<sup>7</sup> *Rohlf's G.* Historische Grammatik der italienischen Sprache. Bd I. Bern, 1949; Bd II. 1949; Bd III. 1954.

<sup>8</sup> *Nyrop K.* Grammaire historique de la langue française. Vol. 1–6. Copenhagen; Paris, 1914–1930. 4-й том целиком посвящен семасиологии.

турного языка, и история взаимоотношений между языком и обществом в разные периоды их развития, и история словаря, и история языковых стилей. Историческая же грамматика имеет дело только с фонетикой (фонологией), морфологией и синтаксисом. Ясность в освещении этого вопроса внесла бы и известную ясность в более сложное разграничение «общепародный язык — литературный язык».

Отметим, как решен вопрос о соотношении истории общепародного языка и истории языка литературного в самом большом исследовании на эту тему, выполненным Ф. Брюно и некоторыми его учениками. В томах, в которых анализируется материал с древнейших времен до конца XVII в., история общепародного языка дается в тесном взаимодействии с историей языка литературного. Но с момента, когда в основных чертах устанавливается «современный язык» (начало XVIII в.), авторы все более и более обращаются к истории языка литературного, с тем чтобы с начала XIX в. перейти от анализа литературного языка к анализу языка больших и малых писателей. Поэтому тома «Истории», посвященные французскому языку XIX в., почти полностью превращаются в исследование языка писателей этой эпохи. Возникает двойное смешение — истории общепародного языка и истории литературного языка, истории литературного языка и истории языка художественной литературы<sup>1</sup>.

Это объясняется, конечно, не произволом ученых, а трудностью самого объекта изучения. Чем менее язык изменяется внешне, тем более внимание исследователя переносится с одной стороны на его «внутреннюю» сторону, а с другой — на его отношения к другим «социальным институтам», на его положение в обществе. Вместе с тем именно новое и новейшее время выдвигает проблему словесного мастерства писателей. Поэтому исследователь оказывается между Сциллой и Харибдой: история языка незаметно превращается в историю литературного языка, а эта последняя в историю литературных стилей и очерки языка об отдельных писателях<sup>2</sup>.

Несмотря на самые различные подходы к интересующей нас здесь проблеме, все же можно утверждать: 1) понятия «общепародный язык — литературный язык» — это понятия глубоко соотносительные, но не тождественные; 2) литературный язык возникает

<sup>1</sup> Ср. острую рецензию Гийана на 13-й том «Истории» Брюно, опубликованную в журнале: *Language*. 1954. Vol. XXX. N 2. P. 313–338 (*L'ère réaliste. Première partie: fin du romantisme et parnasse*. Paris, 1953).

<sup>2</sup> В области славянских языков так построена, например, кн.: *Лер-Славинский Т.* Польский язык / Рус. пер. М., 1954.

на основе общенародного языка, но представляет собой особую, письменно зафиксированную и в большей или меньшей степени обработанную форму этого последнего; 3) возникнув сначала в письменной традиции, литературный язык может затем функционировать как «готовая система» в форме речи разговорной, что не уменьшает значения письменной традиции для формирования литературного языка; 4) в отдельных случаях одному общенародному языку могут соответствовать несколько разновидностей литературных языков, функционирующих в разных странах (испанский и португальский языки в странах Латинской Америки); 5) история большинства литературных языков в романских странах подразделяется на три периода: первый охватывает эпоху от первых «обработанных» письменных памятников до победы одного из диалектов как основы литературного языка, второй — от победы одного диалекта до создания литературного национального языка и третий — со времени создания этого последнего до наших дней.

Процесс непрерывного развития и совершенствования литературного языка не прекращается до тех пор, пока существует народ, создатель и носитель данного языка.

Из кн.: *Будагов Р.А.* Проблемы изучения романских литературных языков. М., 1961. С. 14–24. Развитие идей см.: *Он же.* Литературные языки и языковые стили. М., 1967.

---

---

ПОНЯТИЕ  
О ЛИТЕРАТУРНОМ  
ЯЗЫКЕ  
И ЕГО СПЕЦИФИКА

Литературный язык — это обработанная форма общенародного языка, обладающая в большей или меньшей степени письменно закрепленными нормами. В этом определении необходимо подчеркнуть: 1) историческую изменчивость самого понятия «обработанной формы» (в разные эпохи и у разных народов); 2) известную относительность представления о «закрепленности» норм литературного языка (при всей важности нормы — она подвижна во времени).

Трудно представить себе развитую и богатую культуру народа без развитого и богатого литературного языка. В нем она как бы «фиксируется». С его помощью выражается. В этом смысле проблема литературного языка имеет огромное общенародное значение. И тем не менее интерес к литературным языкам возник в лингвистике сравнительно недавно. Каковы же причины столь парадоксального положения?

Дело в том, что ученые XIX и начала XX столетия обычно рассматривали литературный язык как нечто искусственное, «сделанное», как явление, будто бы противоречащее естественному ходу развития языка. В 70-х и 80-х гг. XIX в. эту точку зрения на литературный язык особенно поддерживали младограмматики. Задача лингвистики, рассуждали они, заключается в том, чтобы изучать живые народные языки и их диалекты; литературный же язык создается самими людьми сознательно и поэтому представляется образованием искусственным. Эта ошибочная концепция литературного языка не только продолжала господствовать и позже, но и разделялась многими учеными и в XX в.

---

---

Иронически оценивал проблему литературного языка Б. де Куртенэ<sup>1</sup>. Не представлялась она существенной и Соссюру, который выводил ее за пределы «внутренней лингвистики». Он прямо призывал «отличать естественное, органическое развитие языка от таких его искусственных форм, как литературный язык»<sup>2</sup>. Швейцарский лингвист решительно сводил на нет роль сознательного фактора в языке. Литературный же язык казался ему результатом действия именно такого фактора.

Представление о литературном языке, как об искусственном, «оранжерейном» образовании, глубоко проникло даже в сознание тех лингвистов, которые сами изучали литературные языки. «Народные наречия и говоры... — писал, например, Пешковский, — составляют главный объект исследования лингвиста... подобно тому, как ботаник всегда предпочитает изучение луга изучению оранжерей»<sup>3</sup>. Споры нет, исследование народных языков и говоров было и остается одной из важнейших задач лингвистики. И тем не менее само сравнение Пешковского невозможно признать правильным.

На литературных языках говорят в мире сотни миллионов людей, тогда как услугами оранжерей — если уж сохранить сравнение Пешковского — пользуются лишь в определенных случаях. Еще важнее другое. Оранжерейный плод всегда находится в искусственных условиях: литературный язык, напротив того, как правило, тесно связан с общенародным языком и питается на общей с ним почве.

Периоды (сколь бы длительными они ни были), когда литературный язык оказывается чужим для народа, всегда справедливо рассматриваются как «особые случаи», а поэтому и признаются нехарактерными для обычных взаимоотношений между общенародным и литературным языками. Нельзя забывать, наконец, и того, что формирование литературного языка чаще всего является результатом закономерного развития самого общенародного языка. Поэтому, если и признать известный элемент искусственности в литературном языке (о чем дальше), то сама эта искусственность обусловливается ходом естественного развития общенародного языка: на определенном «высоком» этапе бытования он как бы способствует формированию литературной нормы. Возникнув на общенародной основе, литературный язык впоследствии сам выступает в функции катализатора дальнейшего

<sup>1</sup> См.: *Бодуэн де Куртенэ И.А.* Избр. труды по общему языкознанию. Т. 1. М., 1963. С. 51.

<sup>2</sup> *Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики. М., 1933. С. 44.

<sup>3</sup> *Пешковский А.М.* Сб. статей. Л., 1925. С. 111.

движения общенародного языка, обогащает его стили, совершенствует его выразительные возможности.

Каковы же особенности литературного языка, определяющие и особенности методов его анализа?

Специфику литературного языка обычно видят в отборе, в том, что одни языковые факты принимаются, а другие — отвергаются, не допускаются. Литературный язык своеобразно группирует категории, отбирает их для определенных целей<sup>1</sup>. При этом некоторые филологи противопоставляют принцип отбора принципу внутреннего развития языка. «Отбор и регламентация, а не внутреннее развитие — в этом... специфика развития литературного языка»<sup>2</sup>.

Вряд ли, однако, правомерно подобное противопоставление отбора и регламентации, с одной стороны, и внутреннего развития — с другой. Литературные языки действительно формируются и шлифуются в процессе отбора и регламентации, но ни отбор, ни регламентация обычно несколько не мешают их своеобразному внутреннему развитию. Было бы правильнее, на наш взгляд, говорить о специфике внутреннего развития литературных языков по сравнению с аналогичным развитием языков общенародных, чем вовсе лишать первые их внутреннего движения. Сама специфика отбора и регламентации, характерная для литературного языка, определяет и своеобразие его внутреннего развития.

Забегая несколько вперед, отметим, что развитие литературных языков гораздо прямее и непосредственнее связано с процессом их совершенствования по сравнению со связью этих же явлений в общенародном языке. В сфере последнего развитие и совершенствование — тоже, безусловно, взаимодействующие факторы — выступают в более сложных, опосредствованных и порою противоречивых отношениях, чем в сфере литературного языка.

<sup>1</sup> См.: *Аванесов Р.И.* О некоторых вопросах истории языка // Академику В.В. Виноградову. К его шестидесятилетию. М., 1956. С. 16. Сходные мысли развивает и Э. Ауэрбах: *Auerbach E.* Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spätantike und Mittelalter. Bern, 1958. S. 187. А.В. Исаченко перечисляет следующие признаки литературного языка: 1) литературный язык может быть использован во всех областях общения; 2) он регулируется определенной нормой; 3) он обязателен для всех, говорящих не на диалектах; 4) он стилистически дифференцирован (Сб. ответов на вопросы по языкознанию. К IV Международному съезду славистов. М., 1958. С. 124). Этот последний признак литературного языка в свое время описывал Г. Пауль (см.: *Пауль Г.* Принципы истории языка / Рус. пер. М., 1960. С. 301).

<sup>2</sup> *Аванесов Р.И.* Указ. соч. С. 18.



Отбор, регламентация и своеобразное внутреннее развитие — таковы самые общие особенности литературного языка.

Литературный язык — и это следует из его определения — всегда предполагает известную степень обработанности. Так возникает понятие «обработанного языка», об истории которого даже пишутся специальные книги<sup>1</sup>. Но «обработанный язык» тесно связан с такими его манифестациями, как словари, грамматики, орфографические и орфоэпические трактаты, учебники версификации, разыскания в области стилистики и т.д. Между тем разговорный литературный язык всего этого непосредственно не требует. Он меньше считается со строгими нормами письменного литературного языка. Так, внутри, казалось бы, единого понятия литературного языка возникают внутренние подразделения: письменный и разговорный «языки». Выход из затруднения может быть решен терминологически: письменный и разговорный стили единого литературного языка (две формы его существования).

Как бы ни были существенны расхождения между стилями единого языка, общность последнего безусловно сохраняется: обработанными оказываются оба стиля, хотя и в разной степени и в разном ракурсе. Без обработки разговорный стиль совпал бы с просторечием или, в известных случаях, — с диалектной речью.

## 2

Специфику литературных языков часто стремятся выявить в противопоставлениях, причем у разных ученых они получаются различными. Уже были отмечены противопоставления, в которых фигурируют литературные языки и диалекты. Нередко в подобных противопоставлениях участвуют совсем другие компоненты.

Л.В. Щерба, например, считал «самым глубоким» — противопоставление литературного и разговорного языков. В основе первого он усматривал монолог, в основе второго — диалог. Изменения в языке обычно возникают в процессе диалога, следовательно, в сфере разговорной речи. Она-то и оказывается первичной, тогда как литературный язык — вторичен и в известной мере условен (монолог искусственнее диалога).

В этих суждениях Щербы<sup>2</sup> не все представляется ясным. Как ни существенно противопоставление монолога и диалога, оно оказывается во многом иным по сравнению с противопоставле-

<sup>1</sup> См., например: *François A. Histoire de la langue française cultivée des origines à nos jours. Vol. 1, 2. Genève, 1959.*

<sup>2</sup> См.: *Щерба Л.В. Избр. работы по русскому языку. М., 1957. С. 115.*

нием литературного языка и разговорной речи. Хорошо известно, что и разговорная речь может быть разновидностью литературного языка и протекать по его законам. Следовательно, господство диалога в сфере разговорной речи (что безусловно верно) еще не определяет ее безоговорочной оппозиции по отношению к литературному языку.

Уязвимость тех или иных противопоставлений, в которые попадает литературный язык, обнаруживается в том, что они представляются как универсальные схемы, годные для всех языков и всех времен. Между тем это не так. Типологическое здесь переплетается с историческим. Оппозиция «литературный язык — диалекты», верная для одной эпохи, может оказаться совсем неверной для другой. Рядом с диалектами иногда выступает особая городская речь. Разговорная речь, звучащая на диалекте или частично использующая диалектные формы, действительно будет противостоять литературному языку. Но та же разговорная речь, произносимая со строгим учетом всех норм литературного языка, скорее, окажется не его антагонистом, а его союзником. Хотя и в этом случае различие монолога и диалога сохраняется, но оно будет очерчено уже не за пределами литературного языка, а внутри сферы его распространения<sup>1</sup>.

Наконец, постоянно возникает еще одно противопоставление: литературный язык — язык художественной литературы. Это, как известно, разные, хотя и взаимодействующие понятия. Литературный язык — достояние всех, кто владеет его нормами — может функционировать не только в письменной, но и в разговорной форме. Язык же писателей (язык художественной литературы), хотя обычно и ориентируется на те же нормы, включает в себе и много нового. Кроме того, язык художественной литературы преследует не только коммуникативные, но и эстетические цели. В этом отношении он представляет собой более свободную систему, чем язык литературный. И хотя разграничение литературного языка и языка художественной литературы в разные эпохи обозначено неодинаково, в целом это отнюдь не тождественные, хотя и соотносительные понятия.

При разграничении литературного языка и языка художественной литературы тоже следует иметь в виду не только типологический, но и исторический аспекты. Типологически эти понятия гетерогенны (различны функции того и другого языка, сферы их

<sup>1</sup> См. материал в кн.: *Шведова Н.Ю.* Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960; *Шапиро А.Б.* Очерки по синтаксису русских народных говоров. М., 1953.

распространения и т.д.), исторически, однако, они могут не только удаляться друг от друга, но и сближаться. В средние века, например, когда язык художественной литературы был гораздо меньше индивидуально окрашен, чем в наше время, он соответственно оказывался ближе к «среднему уровню» литературного языка, чем теперь. Немаловажную роль при этом играют и такие факторы, как наличие или отсутствие речевой характеристики персонажей в литературе тех или иных эпох и т.д.

Исторические факторы, осложняющие разграничение литературного языка и языка художественной литературы, могут быть самого разнообразного характера.

Литературный провансальский язык XI–XII вв. применялся почти только в поэзии. Его крупнейшие представители — трубадуры, которым подражали в те времена во многих странах Европы, были, как известно, поэтами. Научные сочинения писались по-латыни. Когда же проза появилась на севере Франции (с конца XII в., а затем в XIII–XIV вв.), провансальский уже перестал существовать как литературный язык большой культуры. Период расцвета провансальского литературного языка оказался эпохой расцвета провансальской куртуазной поэзии. О провансальском языке, на котором в то время говорили необразованные провансальцы, мы почти ничего не знаем. Поэтому наши представления о провансальском литературном языке средних веков полностью совпадают с представлением о языке провансальской художественной литературы, точнее — ее поэзии. Так исторически могут сближаться понятия, которые типологически и синхронно (в современную эпоху) обычно являются различными.

Хотя литературный язык нельзя смешивать, как отмечалось, с языком художественной литературы (прилагательное *литературный* первого понятия и существительное *литература* второго понятия иногда способствуют подобному смешению), тем не менее нельзя забывать и другого — на фоне богатой и разнообразной художественной литературы, представленной выдающимися писателями, литературный язык становится богаче, выразительнее и разнообразнее. В этом смысле между литературным языком и языком художественной литературы существует постоянное и непрерывное взаимодействие.

Новое значение прилагательного *литературный* уже почти не имеет ничего общего с его первоначальным осмыслением. И все же исторический экскурс облегчит понимание синхронных и диахронных отношений в сфере самого этого понятия.

У древних римлян *litteratus* — это «тот, кто знал буквы» (*litterae*), т.е. «был грамотным». *Litteras scire* «уметь читать», *litteras nescire*

«не уметь читать»; *illiteratus* «неграмотный»<sup>1</sup>. Соответственно *litteratura* — латинский эквивалент греческого *grammatica* — означало «умение писать и читать». Квинтилиан определял грамматику как «науку о правильном говорении и умении толковать поэтов» (*recte loquendi scientiam et poetarum enarrationem*). Несколько позднее *litteratus* приобретает новый оттенок значения. Это не только «умеющий читать и писать», но и «высокообразованный». В этом применении слово уже ближе к будущему общеевропейскому значению — «обработанный»<sup>2</sup>.

На основании приведенных данных можно было бы предположить, что в прилагательном *litteratus* постепенно зрели его современные осмысления. В действительности это не так. В средние века во многих европейских странах, где латынь на протяжении ряда веков сохраняла положение языка науки, прилагательное *litteratus* резко изменило свое значение. Теперь это отнюдь не просто грамотный и даже не высокообразованный, а знающий по-латыни, т.е. грамотный на другом («ученом») языке.

Уже у Данте в «Новой жизни» (гл. 25) противопоставляются поэты, пишущие по-латыни (*litteraripoeti*) и поэты, слагающие стихи на родном («вульгарном») языке (*volgari poeti*). *Litteratus* оказывается закрепленным за латинским языком. Из внутриязыкового противопоставления литературный — нелитературный, что наблюдалось в эпоху «античности, данная оппозиция в средние века перекочевала в сферу межъязыковых отношений. Именно теперь стало возможным такое парадоксальное с современной точки зрения словосочетание, как *Illiteraten—Literatur*<sup>3</sup>, буквально «нелитературная литература», т.е. литература не на латинском, а на родном, местном, так называемом вульгарном языке.

Новый этап в осмыслении прилагательного *литературный* наступает в эпоху Возрождения и позднее в XVII и XVIII вв., когда латынь, как язык науки, постепенно уступает место будущим национальным языкам. Соответственно и понятие *литературный* возвращается в лоно внутриязыковых категорий и вступает в область сложных членений и противопоставлений.

Не случайно поэтому, что именно в эпоху Возрождения литературный язык втягивается в орбиту филологического изучения. Еще одно значительное обстоятельство способствовало этому.

<sup>1</sup> Grundmann H. *Litteratus — illiteratus. Der Wandel einer Bildungsnorm vom Altertum zum Mittelalter* // Archiv für Kulturgeschichte. 1958. N 40. S. 3. Заметим, во Франции *litterature* в смысле «художественная литература» принято выделять только с 1782 г.

<sup>2</sup> Curtius E. *Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter*. Bern, 1948. S. 50–53.

<sup>3</sup> Grundmann H. *Op. cit.* S. 57.

Как и на предшествующих этапах развития, в эпоху Возрождения не существовало исторической точки зрения на язык и на другие общественные явления. Известно, что историческая концепция общественных явлений возникает значительно позднее — в самом конце XVIII и в начале XIX столетия. Но многочисленные европейские филологи эпохи Возрождения не могли не заметить, что живые языки как-то изменяются, как-то «движутся». Не умея объяснить эти изменения исторически, мыслители той эпохи выдвинули теорию «порчи языка». Живые языки изменяются, следовательно, портятся. Эта наивная, но в тех условиях легко объяснимая доктрина была уже сформулирована Данте в трактате «О народном красноречии» в начале XIV в., а затем повторялась многими законодателями языка в XVI и XVII столетиях.

Но если общенародный язык «портится», причем его теоретики не могут предотвратить этот неизбежный и «роковой» процесс, то литературный язык, в создании которого участвуют и сами филологи, может быть «фиксирован» и тем самым застрахован от порчи. Отсюда огромный интерес к проблеме литературного языка в эпоху Возрождения и в последующее за ней столетие.

В этом отношении весьма интересна позиция Данте. Поэт высоко ценил и народный язык («язык кормилицы», по его толкованию), и литературный язык (язык грамматически и стилистически обработанный). В разных своих сочинениях эпитетом *nobilis* «славный» он характеризовал обе эти разновидности итальянской речи. Среди дантеведов возник спор: как следует понимать подобную непоследовательность Данте, который одно и то же определение относил к разным понятиям (ср., например, «*De vulgari eloquentia*», I, 1 и «*Convivio*», I, 6). Было высказано предположение, что *nobilis* в значении «славный» относится лишь к народной речи, тогда как применительно к «обработанному языку» это определение выступает в «неопределенно расплывчатом значении». Была сделана попытка доказать, что «язык кормилицы» был Данте дороже языка обработанного, а, следовательно, в какой-то мере и «искусственного»<sup>1</sup>.

Едва ли такое толкование может быть принято. Данте не был бы одним из создателей итальянского литературного языка, если бы к грамматике («обработанной речи») он относился отрицательно. Для Данте *славными* были и народный язык и его грамматика, т.е. обработанная писателями речь. Вопрос лишь в том, что эти разновидности языка оказывались славными по-своему: народный язык славен (*nobilis*) потому, что на нем говорят все, а

<sup>1</sup> См., например: *d'Ovidio F. Saggi critici*. Napoli, 1878. P. 357–359.

грамматику (обработанную речь) делают славной (*nobilis*) выдающиеся писатели. Они препятствуют «таким изменениям в языке, которые подчиняются произволу» («*De vulgari eloquentia*», I, 9). Они сублимируют и улучшают язык. Данте начинает с восхваления «языка кормилицы», а оканчивает признанием огромного значения грамматики — литературно обработанной речи. Противоречия в самом истолковании понятия *nobilis* по отношению к общенародному и литературному языкам у Данте не было.

Интерес писателей и филологов XIV–XVIII вв. к литературному языку определялся, таким образом, мотивами, которые в XIX и в начале XX в. послужили основанием для изгнания литературного языка за пределы лингвистики: сознательное вмешательство человека в процесс становления норм литературного языка некогда явилось отправной точкой для его «возвеличивания» и тщательного анализа, тогда как на основе почти этих же соображений в XIX и в начале XX в. ученые стремились снять проблему литературного языка, объявить ее несущественной.

Как это и ни парадоксально, антиисторическая концепция языка в эпоху Возрождения помогала изучению литературных языков. Впоследствии ее антипод — историческая концепция, неправильно примененная к литературным языкам, резко уменьшила к ним интерес. И только начиная с 20-х гг. XX столетия наступает новый этап в исследовании литературных языков.

Историческая концепция теперь не может и не должна препятствовать разысканиям в сфере литературных языков. Больше того, подлинно историческое понимание природы языка выявляет истинное назначение литературного языка, который сам является категорией последовательно исторической. Вместе с тем диахронное истолкование литературного языка проясняет и специфику синхронных «срезов» в различные эпохи его бытования<sup>1</sup>.

С одной стороны, литературными языками занимаются филологи, которые работают над проблемами нормы и лингвистической стилистики, а с другой — литературные языки привлекают внимание последовательных структуралистов, стремящихся создать модели искусственных языков. Литературные языки подвержены нормализации в большей степени, чем общенародные языки, поэтому они и представляются более пригодными для подобного рода экспериментов.

Итак, типологические элементы литературного языка — это все то, что выделяет его из тех многочисленных перекрестных

<sup>1</sup> См. об этом: *Будагов Р.А.* Проблемы развития языка. М., 1965.

функциональных противопоставлений, в которые он сам попадает. Иначе определяются исторические элементы литературного языка. Они обычно выдвигают на передний план одно из возможных противопоставлений, отодвигая на задний план другие возможные противопоставления. Этим во многом обуславливается специфика одного литературного языка в отличие от специфики других литературных языков. Этим же детерминируются и различия в едином литературном языке в разные эпохи его исторического существования.

Из кн.: *Будагов Р.А.* Язык и культура. Хрестоматия: В 3 ч. Ч. 3. М., 2002. С. 11–21. Развитие идей см.: *Он же.* Литературные языки и языковые стили. М., 1967.

---

---

ОПРЕДЕЛЯЕТ ЛИ  
ПРИНЦИП ЭКОНОМИИ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
И РАЗВИТИЕ  
ЯЗЫКА?

**Постановка вопроса**

Само понятие об «экономии языка» возникло давно. Его широкое применение наблюдается особенно у тех представителей науки, которые занимаются разработкой методики «подачи языка на приборы», методикой чисто количественного изучения языковых категорий. Не менее широко словосочетание «экономия языка» встречается и у ученых, озабоченных созданием всевозможных искусственных языков для тех или иных целей. Об «экономии языка» стали писать и лингвисты, исследующие естественные языки народов мира. Все это говорит о том, что понятие об «экономии» нуждается в лингвистическом анализе.

С самого начала следует расчлнить проблему. Речь будет идти не о том, насколько «экономны» отдельные слова, словосочетания или предложения в отдельных языках, а об «экономии» как об общем понятии, на основе которого стремятся объяснить важнейшие процессы развития и функционирования языка. Различие между двумя видами «экономии» надо подчеркнуть тем сильнее, чем чаще они практически смешиваются и даже отождествляются. Говорят, например, — «вот это аббревиатура такого-то слова или выражения», следовательно, язык действует по принципу «экономии». Между тем подобное заключение несостоятельно. «Сокращаясь» в одних своих сферах, язык обычно «расширяется» в других своих сферах. Поэтому отмеченное заключение — результат антисистемного понимания языка.

Расчлнить проблему необходимо и по другим соображениям.

Нередко приходится слышать, что разговорный стиль языка «экономнее»

---

---



письменного стиля. Язык газеты «экономнее» языка журнала. Телеграфное сообщение «экономнее» сообщения, посланного простым или заказным письмом. Диалог «экономнее» монолога, язык хорошего стилиста «экономнее» языка плохого стилиста и т.д. Все эти суждения, сами по себе часто справедливые, не имеют отношения к общей проблеме экономии. В только что приведенных разграничениях речь идет о различных жанрах и стилях, о различных условиях, в которых протекает коммуникация, наконец, о различных способностях и о различной профессиональной «умелости» людей, прибегающих к тому или иному виду коммуникации. Материалы такого рода не могут, однако, помочь решить более общий вопрос об «экономии» как источнике, будто бы определяющем функционирование языка вообще. Сторонники подобных рассуждений сами невольно противопоставляют «экономные» стили и «экономные» коммуникации стилям и коммуникациям «неэкономным», теоретически не осмысляя при этом вопроса о том, что же типично для языка и как следует отличать «экономия» данной ситуации от «экономии» общих ресурсов и общих возможностей языка.

В чем все же трудность постановки вопроса об «экономии языка»? В свое время Л.В. Щерба, вслед за многими другими выдающимися лингвистами, анализируя «сравнительное достоинство отдельных литературных языков», отмечал свойственное им «богатство наличных средств выражения как для общих, так и для частных понятий»<sup>1</sup>. Именно это богатство определяет «достоинство» любого развитого литературного языка: чем богаче язык, тем очевиднее и его достоинство. Эту особенность литературного языка можно распространить и на язык в целом, хотя в общенародной речи подобное богатство обычно выступает в менее кодифицированном, в менее «обработанном» виде, чем в языке литературном. Возникает вопрос о том, как же богатство языка сочетается с его «экономией» и как теоретически следует осмыслить сочетание такого рода?

#### Из истории вопроса

Мысль о том, что языковая структура должна определяться «экономным распределением» между ее частями получила достаточно широкое распространение уже в XVII–XVIII вв. в связи с обсуждением различных проектов создания искусственных языков. В 1629 г., в частности, Р. Декарт писал аббату Мерсеню, что

<sup>1</sup> Щерба Л.В. Избр. работы по русскому языку. М., 1957. С. 121–122.

искусственный язык должен иметь лишь «... один способ спряжения, склонения и построения слов». Такой язык «... вовсе не имел бы форм... неправильных, возникающих вследствие привычки к искажению. Изменения глаголов и форм словообразования производились бы при помощи приставок, добавляемых к началу или концу коренных слов. Эти приставки должны находиться в общем словаре. Средние люди (*les esprits vulgaires*), пользуясь этим словарем, смогут свободно овладеть подобным языком в течение шести месяцев»<sup>1</sup>. Идея создания искусственного языка, свободно овладеть которым смогут все за несколько месяцев, очень интересовала мыслителей XVII—XVIII вв. Эта идея оказалась настолько заманчивой («язык без слез и без мучений»), что позднее, уже в XIX в., ее частично стали распространять и на языки естественные, стремясь «упростить» их, доказать возможность аналогичных операций и над ними. При этом начали ссылаться на «природу самого языка».

Особенно любопытны в этом отношении усилия английского философа и социолога Г. Спенсера (1820—1903). Он рассуждал так: в процессе развития по «естественным законам эволюции» язык движется от сложного к простому. Длинные слова становятся короткими, «многословные предложения — предложениями однословными». Англичане когда-то прибегали к построениям типа *we tellen*, теперь же — *we tell* «мы говорим» (окончание утрачено)<sup>2</sup>. Если же сам язык, как предполагал Спенсер, стремится к упрощениям, то люди, активно воздействуя на язык, могут ускорить этот процесс. Поэтому в области стилистики аналогичный процесс дает о себе знать особенно настойчиво. Хороший стиль — это умение «... представить идеи так, чтобы они могли быть понятны с возможно меньшим умственным усилием»<sup>3</sup>.

Здесь смешаны самые различные понятия. Умение излагать идеи простым и ясным языком («с возможно меньшим усилием») само по себе действительно свидетельствует об отличном искусстве говорящего или пишущего. Больше того. Подобное искусство обнаруживает не только высокую культуру человека, но и высокий уровень развития того языка, которым пользуются

<sup>1</sup> Цит. по кн.: Дрезен Э. В поисках всеобщего языка. М.; Л., 1925. С. 26.

<sup>2</sup> См.: Спенсер Г. Основные начала. Киев, 1886. С. 171—172 (первое издание книги на английском языке было опубликовано в 1862 г.).

<sup>3</sup> Спенсер Г. Соч. Т. II. СПб., 1900. С. 126. Принцип «экономии» Спенсер переносил и в сферу художественной литературы. Острая и яркая критика этого принципа в художественном творчестве нашего времени дана в кн.: Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1968. С. 254—258, а также в ст.: Тимофеев Л.И. Художественный прогресс // Новый мир. 1971. № 5. С. 240—242.

говорящие. Все это бесспорно. Но все это не имеет отношения к процессу превращения длинных слов и длинных предложений в короткие слова и короткие предложения, процессу, который будто бы наблюдается в истории языков мира.

В одних современных языках односложных слов может быть сравнительно много (например, в английском), в других — сравнительно очень мало (например, в итальянском)<sup>1</sup>. Но даже в тех случаях, когда в отдельных языках, в определенные периоды их исторического бытования наблюдается процесс превращения многосложных (точнее многослоговых) слов в двусложные или односложные, подобный процесс, во-первых, обычно ограничен во времени (совершается в одну эпоху и может не совершаться в другую эпоху), и, во-вторых, часто сопровождается противоположным процессом — появлением многосложных (многослоговых) слов.

Так, например, уже в предыстории французского языка совершился процесс редукции атонических гласных, следующих за ударением (лат. *tabula* > фр. *table* «стол», лат. *prehendere* > фр. *prendre* «брать» и т.д.). Многие слова действительно стали короче. Завершившись рано, этот процесс не только полностью прекратился в исторический период жизни языка, но позднее стал «перекрываться» в литературной норме, в которой возникли многочисленные этимологические дублиеты, располагающие по одному «короткому» и по одному «длинному» слову (*raide* «жесткий» — *rigide* «твердый», *le moule* «форма» — *le module* «единица измерения» и пр.). Разумеется, тонкая дифференциация этимологических дублиетов наблюдается лишь в литературной норме, но и для французского языка в целом односложные слова не характерны: они встречаются значительно реже, чем слова многосложные и, особенно, двусложные<sup>2</sup>.

Проблему «экономии» языка иначе и интереснее ставили младограмматики.

В книге Г. Пауля «Принципы истории языка» (1880) находим специальную главу «Экономия языковых средств». Однако основные мысли автора на эту тему изложены в другой главе под названием «Дифференциация значений»<sup>3</sup>. Пауль расчленяет проблему. Он допускает существование «всякого рода излишеств» в литературном языке, противопоставляя ему наш «повседневный язык», который стремится избавиться от подобных излишеств. Именно в повседневном языке, как и в общенародной речи, гиб-

<sup>1</sup> Battaglia S., *Pernicone V.* La grammatica italiana. Torino, 1951. P. 39.

<sup>2</sup> Wartburg W. von. *Problemes et methodes de la linguistique.* Paris, 1963. P. 195–197.

<sup>3</sup> См.: Пауль Г. *Принципы истории языка.* М., 1960. С. 301–315.

нут дублетные образования и устанавливается дифференциация между параллельными формами.

При всей важности отдельных наблюдений и суждений Пауля (нельзя не видеть, как далеко ушел создатель «Принципов» от безапелляционных заявлений Спенсера), все же трудно согласиться с автором в его стремлении резко противопоставить «повседневный язык» и язык литературный. Основа деления оказалась зыбкой. Хорошо известно, что именно литературный язык стремится к более четкой дифференциации категорий, чем язык повседневный, для целей которого иногда достаточна и приближенность. Между тем у Пауля получалось, что дифференциация форм и категорий больше характерна для языка повседневного, нежели для языка литературного. Вместе с тем проблема дифференциации форм и категорий в языке — это уже совсем другая проблема по сравнению с проблемой сокращения длинных слов и длинных предложений.

Будучи широко образованным лингвистом и тонким знатком индоевропейских языков, Пауль под влиянием самого материала по существу отходит от проблемы «экономии» языка в ее чисто количественном выражении. Смело и по-новому ставил старую проблему А.А. Потебня, который уже в 1874 г., за шесть лет до Пауля, писал: «... чтобы доказать, что число форм уменьшается, нужно... считать формальные оттенки значений — труд не столь легкий, как счет окончаний». И несколько дальше: «... новые языки вообще суть более совершенные органы мысли, чем древние, ибо первые заключают в себе больший капитал мысли, чем последние»<sup>1</sup>.

Хотя Потебня иногда ссылаясь на стремление языка к «экономии», он совершенно иначе истолковывал это понятие, чем, например, тот же Спенсер<sup>2</sup>. Нельзя не удивляться, что уже в 1874 г. великий лингвист подчеркивал, насколько сложнее считать «формальные оттенки значений», чем выводить простое число форм. При такой постановке вопроса Потебня не мог усматривать экономию языка в сокращении длины слов или длины предложений, как это делали до него и как это нередко делают и в наши дни.

Любопытно, что в начале XX столетия В. Вундт критиковал Пауля и других младограмматиков за их, как ему казалось, одностороннюю попытку свести импульсы развития языка к удобству,

<sup>1</sup> *Потебня А.А.* Из записок по русской грамматике. Т. I—II. 2-е изд. Харьков, 1888. С. 55—57.

<sup>2</sup> По другому поводу прямой полемикой с Г. Спенсером начинается третий том замечательного исследования А.А. Потебни («Из записок...»). Т. III. Харьков, 1899. С. 2—3).

к упрощению, к «экономии речевых усилий». Вундт обнаруживал в истории языка и противоположные силы, постоянно осложняющие структуру и «психологию языка»<sup>1</sup>. И все же, несмотря на отдельные протесты, младограмматическая концепция «экономии» языка продолжает сохранять свою популярность вплоть до наших дней, хотя в эту концепцию иногда вносятся те или иные поправки и уточнения.

Особую известность принцип «экономии» языка получил в фонетике, а позднее и в фонологии. П. Пасси в 1890 г., имея в виду звуковую систему французского языка, заявлял: «Язык постоянно стремится освободиться от того, что является лишним и выделить то, что оказывается необходимым». Вслед за Суитом, Пасси называл первую тенденцию «законом наименьшего усилия», а вторую — «принципом экономии»<sup>2</sup>. Обе эти тенденции Пасси хотел обнаружить в фонетике. Ученый воздерживался от более широкого истолкования самого принципа «экономии».

В 1955 г. с аналогичным истолкованием выступает А. Мартине. Французский ученый отмечает, что язык постоянно подвергается действию двоякого рода сил: с одной стороны, язык изменяется, так как потребности людей в выражении различных мыслей и чувств все время увеличиваются и усложняются, а с другой — язык не изменяется, так как сказывается инерция этих же людей, приводящая к общему ограничению лингвистических средств выражения. «Языковое поведение» регулируется, таким образом, принципом наименьшего усилия или принципом экономии. Поясняя свой тезис, Мартине пишет: «Термин экономия включает все: и ликвидацию бесполезных различий, и появление новых различий, и сохранение существующего положения. Лингвистическая экономия — это синтез действующих сил»<sup>3</sup>.

Нет никаких оснований придавать подобное всеобъемлющее значение «экономии». Если «экономия» — это термин, то он не может «включать все» уже в силу самого своего терминологического характера. Еще важнее другое, почему «появление новых различий» в языке должно относиться к «экономии»? Ведь возникновение новых дифференциальных признаков на любом уровне языка, в любой его сфере, приводит не к уменьшению, а к увеличению числа категорий, форм, слов, которыми оперирует язык. Подобные единицы бывают не только количественными,

<sup>1</sup> Wundt W. *Volkerpsychologie*. 1. 4 Aufl. Stuttgart, 1921. S. 31.

<sup>2</sup> Passy P. *Etudes sur les changements phonétiques et leurs caracteres généraux*. Paris, 1890. P. 227–228.

<sup>3</sup> См.: Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях. М., 1960. С. 126 (французское изд. книги вышло в 1955 г.).

но гораздо чаще качественными (число значений и оттенков значений). Как и Пасси, Мартине ставит в один ряд и процесс отмирания «лишнего» и процесс появления нового, сводя тем самым «экономии» к какому-то всеобъемлющему понятию, которое «включает все». Едва ли, однако, языкознание нуждается в подобного рода всеобъемлющем понятии.

Важен и другой вывод. Стоит только отказаться от количественного истолкования лингвистической «экономии», как сам термин «экономия» начинает смешиваться с разнообразными другими терминами и понятиями, которыми оперирует лингвистика (например, такими, как дифференциация языковых значений, появление новых различий в языке, устойчивость старых значений и т.д.). Мартине невольно сам подтвердил подобное смешение, предложив включить в «экономии» все наличные в языке силы и тенденции.

Шаг назад в сторону количественной интерпретации «экономии» был сделан американским лингвистом Л. Блумфилдом в его книге «Язык» (1933). Подводя итоги всего своего исследования, он писал: «Даже сейчас ясно, что изменения в языке направлены в сторону укорочения слов и упорядочения их построения: звуковые изменения делают слова более короткими, а изменения по аналогии заменяют нерегулярные образования регулярными»<sup>1</sup>. Как видим, Блумфилд возвращается к Г. Спенсеру, сводившему проблему экономии к укорочению слов и к вытеснению нерегулярных образований регулярными. Блумфилд не считался с той критикой подобной концепции, которую развернули уже младограмматики. Он прямо связывает «упрощение языка» с построением будущего искусственного языка. Этот последний представляется ученому как бы упрощенным естественным языком<sup>2</sup>. Глубокое качественное различие между любым естественным языком и любым искусственным языком, созданным для определенных целей, не принималось во внимание американским лингвистом.

Если в прошлые времена мысль о возможном «упрощении языка» обычно связывалась с разными проектами создания искусственного языка, то в наши дни аналогичная мысль поддерживается не только подобными проектами, но и опытами машинного перевода с одного языка на другой. Известно, что для осуществления таких опытов оба языка (с которого переводят и на который переводят) должны быть предельно простыми. Со

<sup>1</sup> Блумфилд Л. Язык. М., 1968. С. 559.

<sup>2</sup> Там же. С. 556–558.

сходными требованиями к языку выступает и кибернетика. Ее постулаты не допускают сосуществования разных значений в пределах одного слова, разных функций в пределах одной конструкции. Понятие различия оказывается «самым фундаментальным понятием кибернетики»<sup>1</sup>.

В прошлые годы предпринималась еще одна попытка обосновать принцип «экономии» языка ссылками на... человеческую лень. В 1931 г. Е. Поливанов, анализируя разнообразные причины развития языка, писал: «И вот, если попытаться одним словом дать ответ относительно того, что является общим во всех этих тенденциях разнообразных..., то лаконичный ответ... будет состоять из одного, но вполне неожиданного для нас на первый взгляд слова: *лень*»<sup>2</sup>. Лень оказывается у Поливанова не только в основе «экономии» языка, но и в основе развития языка вообще. Люди ленятся говорить «по-настоящему», в результате чего язык упрощается. Как ни отлична аргументация Поливанова от аргументации Мартине, оба ученых выдвигают универсальное понятие, которое будто бы и объединяет и объясняет все тенденции языка. У Поливанова это понятие называется ленью, у Мартине — экономией.

Со сходной аргументацией выступил и германский филолог Г. Вайрх. В книге под странным названием «Лингвистика лжи»<sup>3</sup> он стремится доказать, будто язык, вследствие полифункциональной своей грамматической системы и многозначности своей лексики, не может адекватно выражать мысли и чувства людей. Поэтому и наука, изучающая естественные языки мира, оказывается «лингвистикой лжи»<sup>4</sup>.

Вопрос об экономии в языке вновь широко обсуждался в конце XX в. в связи с различными опытами применения математических методов в лингвистике. Об этом, в частности, писал бельгийский лингвист Бюиссанс<sup>5</sup>. Для представителей количественной лингвистики идеалом всякого естественного языка является такой язык, который опирается на принцип: «одно слово — одно значение, одно значение — одно слово». К сожалению, авторов подобных утверждений несколько не смущает, что во всех естественных языках мира наблюдается противоположное соотношение: широкая многозначность слов и полифункциональность грамматических категорий.

<sup>1</sup> Эшби У.Р. Введение в кибернетику. М., 1959. С. 23.

<sup>2</sup> Поливанов Е. За марксистское языкознание. М., 1931. С. 43.

<sup>3</sup> Weinrich H. Linguistik der Lüge. Heidelberg, 1966.

<sup>4</sup> Ibid. S. 33–35.

<sup>5</sup> Buysens E. Tautologies // La linguistique. 1970. N 2. P. 37–45.

Обратим внимание на известное положение об асимметричности языкового знака, установленное и описанное пражской лингвистической школой еще в 20-е гг. XX столетия<sup>1</sup>. Сама идея асимметричности языкового знака выросла из наблюдений над сложностью отношений между обозначаемым и обозначающим. Люди всегда стремятся (сознательно и бессознательно) найти новые средства для номинации обозначаемого. Эти поиски обусловлены развитием языка в его связях с мышлением и окружающей человека действительностью.

Датский лингвист О. Есперсен был безусловно прав, когда еще в 1925 г. отмечал, что принцип «одно слово — одно значение, одно значение — одно слово» превратил бы любой естественный язык в «адски неудобный» язык (возник бы «лингвистический ад»)<sup>2</sup>. Подобный принцип, как и принцип, лишаящий грамматические категории их полифункциональности, трансформировал бы язык в элементарное автоматическое устройство, совершенно непригодное для передачи сложнейшего духовного мира людей нашей эпохи.

Сказанное поясним примером. Из множества значений русского прилагательного *глубокий* выделим только два и представим их в виде двух разных слов: *глубокий* «имеющий значительное протяжение сверху вниз», например, *глубокий колодец*, и *глубокий* «серьезный, выдающийся», например, *глубокий мыслитель*. Теперь представим, что перед нами два разных слова, звучащие неодинаково и не соприкасающиеся по значениям. Каждое из этих двух воображаемых слов сейчас же лишится того объема, который свойствен одному многозначному прилагательному *глубокий* в живом русском языке. Если переносное значение *глубокий* (*глубокий мыслитель*) перестанет восприниматься на фоне его же пространственного осмысления (*глубокий колодец*), то «потухнет» и переносное значение, которое в естественном языке усиливается самим фактом взаимодействия различных значений, в нашем случае — физического (пространственного) и переносного. «Идеал» для искусственного языка (однозначность) действительно обернется «адом» для живого, вечно подвижного и постоянно обогащающегося естественного языка. Языки станут характеризоваться лишь одним количеством (число слов и категорий) и совершенно утратят свои сложные и объемные каче-

<sup>1</sup> Karcevskij S. Du dualisme asymetrique du signe linguistlque // TCLP. 1929. I. P. 88–92.

<sup>2</sup> Jespersen J. Mankind, nation and individual from a linguistic point of view. Oslo, 1925. С. 89, 119.



ственные категории. Языки превратятся в конструкции, «пухлые» по числу своих элементов и «тощие» по качеству этих элементов<sup>1</sup>.

### Синхронный материал

Против постулата «экономии» выступает не только теория, но и материал любого естественного языка.

Обратимся к материалу.

*Как начал работать — понемногу откладывал деньги на покупку «Москвича»* > *Откладывал деньги на «Москвича»* > *Откладывал на «Москвича»*. Предложение типа *Как начал работать — понемногу откладывал на «Москвича»* обычно рассматривается как упрощенное предложение разговорно-просторечного стиля<sup>2</sup>. Но там, где упрощение, там и «экономия». В действительности здесь нет ни того, ни другого. Если обратиться к последнему, казалось бы самому «экономному» предложению (откладывал на «Москвича»), то нельзя не заметить, как осложняется семантика самого глагола *откладывать* в построениях подобного образца. Здесь *откладывать* выступает в особом значении «откладывать деньги», т.е. осмысливается иначе, чем в свободном употреблении. Предложение, короткое по длине и тем самым казалось бы более «экономное», оказывается семантически более сложным и тем самым менее «экономным», чем предложение длинное, но с неосложненной («ненапряженной») семантикой глагола *откладывать*.

Предложение разговорного стиля *Помогать брату по арифметике* предполагает фон более развернутого предложения *Помогать брату заниматься (готовиться) по арифметике*. Конечно, лицо, произносящее первое предложение, чаще всего не ощущает фона второго предложения. Первое построение ясно и само по себе. И все же лингвист обязан видеть дальше. Если более короткое предложение по существу осмысливается на фоне более длинного предло-

<sup>1</sup> Р. Карнап различает количественный язык науки и качественный язык нашей повседневной жизни. Чем более строго излагает человек свои мысли, тем ближе его язык к количественному принципу. По мнению автора, к качественному языку прибегают лишь тогда, когда хотят «выразить... чувства в письме к другу или в лирической поэме» (Карнап Р. *Философские основания физики*. М., 1971. С. 176). Не говоря уже о том, что Карнап весьма произвольно и вместе с тем наивно суживает сферу распространения качественного языка, сама проблема представляется гораздо сложнее: в количественном языке обычно имеется известная доза качественных элементов, подобно тому, как и качественный язык не обходится без элементов количества. Разумеется, количественный принцип очень важен и в гуманитарных науках. Весь вопрос, однако, в том, как он интерпретируется.

<sup>2</sup> См.: Шведова Н.Ю. *Активные процессы в современном русском синтаксисе*. М., 1966. С. 79.

жения, то первое не может рассматриваться как более «экономное», чем второе. Количественные отношения между словами осложняются отношениями качественными, не позволяющими говорить об экономии первого (короткого) синтаксического типа сравнительно со вторым (длинным) синтаксическим типом.

Сторонники «экономии» обычно связывают понятие «экономии» с понятием дифференциальных тенденций в языке.

Как известно, в русском языке существуют многочисленные однокоренные слова с разным значением: *будний* и *будничный*, *вправить* и *выправить*, *героизм* и *геройство*, *глубинный* и *глубокий*, *двойной* и *двойственный*, *деловой* и *деловитый*, *надеть* и *одеть*, *освещение* и *освещенность*, *планировка* и *планирование*, *решимость* и *решительность* и сотни других<sup>1</sup>. Здесь могут быть не только парные, но и более сложные противопоставления типа, например, *героизм* — *героика* — *геройство* и т.д.

Историкам русского языка хорошо известно, что смысловые разграничения между словами такого характера установились не сразу: они формировались в процессе развития литературной нормы. Чем более строгими становились подобные разграничения, тем труднее стало обходиться без того или иного члена коррелирующей пары слов. Следовательно, дифференциация слов способствовала не «экономии», как обычно утверждают, а «узаконенению» всех слов, входящих в отмеченные противопоставления. Слов делалось не меньше, а больше, причем каждое слово в самом процессе разграничения становилось все более и более нужным в системе языка. Легче пренебречь словом-дублетом, чем словом, морфологически и семантически сравнительно строго отделенным от его однокоренного образования.

До середины XVIII в. европейские языки не располагали словами, равными по значению современным *культура* и *цивилизация*. Со второй половины века Просвещения почти одновременно оформляются два новых слова (*культура*, *цивилизация*), между которыми в разных языках постепенно устанавливаются тонкие и сложные градации<sup>2</sup>. Казалось «экономнее» было бы иметь по

<sup>1</sup> См., например, словарь: Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка / Сост. Ю.А. Бельчиков, М.С. Панюшева. М., 1966; *Они же*. Словарь паронимов русского языка. М., 2002; *Колесников Н.П.* Словарь паронимов русского языка. Тбилиси, 1971; *Вишнякова О.В.* Словарь паронимов русского языка. М., 1984.

<sup>2</sup> Во многих языках *цивилизация* чаще употребляется по отношению к прошлым эпохам в истории человечества, *культура* по отношению к более новым временам. См. о словах *природа*, *натура*, *культура*, *цивилизация* в кн.: *Будагов Р.А.* История слова в истории общества. М., 1971. С. 108–133 (гл. III. Природа и культура в истории общества); изд. 2-е, доп. М., 2003.

одному слову для выражения нового понятия. Многие же языки поступают иначе. В результате выигрывает человеческая мысль, стремящаяся ко все более глубокому осмыслению природы и общества.

Дифференциация, столь характерная для лексики в ее историческом движении, широко наблюдается и во всех других сферах языка.

Известный фонетист и фонолог Б. Малмберг показывает, что современная система гласных французского языка характеризуется двумя вокалическими подсистемами: одна из них, состоящая из 15 фонем, типична для строго литературной нормы, другая, состоящая из 10 фонем, наблюдается в разговорной и фамильярной речи. Здесь могут не различаться фонемы, противопоставление которых в литературной норме совершенно обязательно: например [ē] — [ǣ]: brin «стебелек; хворостинка» и brun «коричневый»<sup>1</sup>. Следовательно, большее число фонем определенного языка обычно успешнее справляется со своими коммуникативными функциями, чем меньшее число фонем того же языка. При меньшем числе фонем могут возникнуть недоразумения, вероятность появления которых резко уменьшается при большем количестве взаимнопротивопоставленных фонем. Дифференциация, оформляющаяся в лексике чаще всего диахронно, в фонетике и фонологии дает о себе знать прежде всего синхронно. Н.С. Трубецкой был совершенно прав, когда вслед за Л.В. Щербой выделял «различительную функцию» (*distinktive Funktion*) как важнейшую функцию в фонологии<sup>2</sup>.

В синтаксисе дифференциация категорий наблюдается преимущественно в историческом развитии языка. Анализируя вслед за А.А. Потебней построения типа «он был купец» и «он был купцом», Д.Н. Овсянко-Куликовский констатирует, что в древнерусском языке они употреблялись равнозначно. Позднее «...случилось здесь то, что всегда случается, когда в языке оказываются две равнозначные формы: одна из них была применена к выражению одного оттенка, другая — к выражению другого»<sup>3</sup>. С определенной эпохи конструкция со вторым именительным падежом (*он был купец*) послужила для передачи постоянного признака, а конструкция с творительным (*он был купцом*) — для передачи переменного признака. В этом заключении исследователя лишь

<sup>1</sup> *Malmberg B.* Synchronie et diachronie. X Congrès international des linguistes. Bucureşti, 1967. P. 3.

<sup>2</sup> *Trubetzkoy N.S.* Grundzüge der Phonologie. Wien, 1939. S. 30, 31.

<sup>3</sup> *Овсянко-Куликовский Д.Н.* Синтаксис русского языка. 2-е изд. СПб., 1912. С. 166.

наречие «всегда» звучит слишком категорически («всегда случается»), хотя общая тенденция синтаксического развития, приводящая к смысловой дифференциации категорий, намечена вполне убедительно.

Итак, «экономия» и дифференциация — взаимоисключающие друг друга понятия.

### Диахронный материал

Попытаюсь теперь иначе поставить вопрос. Допустим, что принцип «экономии» действительно определяет развитие языка. В таком случае древние языки должны быть менее «экономными», чем языки новые. Если языки становятся «все экономнее и экономнее», то очевидно, что самый принцип «экономии» должен приобретать все большее значение в процессе развития тех или иных языков. Между тем в действительности это нигде не наблюдается.

Младограмматики в свое время установили, что синтаксис древних индоевропейских языков еще с трудом передавал временную и пространственную перспективу. Архаичный синтаксис они сравнивали с древней живописью, мастера которой изображали предметы как бы в одной плоскости. Позднее об этом же стали писать и современные исследователи, стремясь уточнить время появления синтаксической перспективы в европейских языках<sup>1</sup>.

И.М. Тронский, в частности, приводил примеры из архаической и классической латыни: *Socrates leatus venenum hausit* букв. «Сократ радостный выпил яд» (а не *радостно* или *с радостью*); *adulescens didici* «я научился юноша», т.е. «будучи юношей», «в юности»; *orator suavis est voce* «оратор приятен голосом», т.е. «голос оратора приятен» и т.д.<sup>2</sup> Нужно заметить, что перспектива во времени выступала как решающий фактор в развитии синтаксической перспективы. Если перспектива в живописи больше

<sup>1</sup> По мнению Д.С. Лихачева, перспектива в живописи, как и перспектива во времени, возникают в России во второй половине XVII в. (см.: *Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы*. Л., 1967. С. 305). Материалы для других стран см.: *История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли*. Т. I. М., 1962. С. 302, 539, 655. В этой связи весьма интересно суждение великого скульптора О. Родена. В своем «Завещании» он писал: «Вы, скульпторы, развивайте в себе понимание глубины. Ведь наш разум лишь с трудом воспринимает ее. Он представляет себе явственно только поверхности. Вообразить себе формы в их объемности он не в состоянии. Но именно в этом и заключается наша задача» (цит. по кн.: *Вейс Д. Огюст Роден*. М., 1969. С. 557).

<sup>2</sup> *Тронский И.М. Очерки из истории латинского языка*. М.; Л., 1953. С. 134.

зависела от перспективы в пространстве, то синтаксическая перспектива опиралась прежде всего на перспективу во времени и уже во вторую очередь — на пространственную перспективу. Но так или иначе все разновидности перспективы взаимодействовали между собой.

Можно ли сказать, однако, что древнее предложение типа *Сократ радостный выпил яд* было более «экономным», чем предложение *Сократ радостно (или с радостью) выпил яд*, характерное для языков нового времени. Разумеется, этого сказать нельзя. Невозможно утверждать и противоположное — будто бы построение второго типа «экономнее» построения первого типа. Все дело в том, что вполне допустимое в других отношениях сопоставление предложений подобных двух типов не допускает сопоставления с позиции «экономии». Предложение *Сократ + радостный + выпил яд* строится по принципу «нанизывания» членов предложения, чего не наблюдается в предложении иного образца, где наречие *радостно* выступает в функции характеристики глагольного действия (*радостно выпил*). Хорошо известно, что во всех индоевропейских языках гипотаксис возникает не только позднее паратаксиса, но и оказывается сложнее последнего. Языки двигались от конструкций более простых к конструкциям более сложным. Поэтому, если обратиться здесь к принципу «экономии», то пришлось бы отождествить более сложное с более «экономным». Между тем «экономия» казалось бы должна упрощать, а не осложнять язык.

В свое время С.Д. Кацнельсон показал, что древнеисландские построения типа *vit Gunnar* «мы оба Гунар», т.е. «мы оба, я и Гунар» нельзя рассматривать ни как построения эллиптические («экономные»), ни как построения плеонастические («неэкономные»)¹. Все дело в том, что мысль людей той эпохи двигалась иначе, чем мысль наших современников. В древних языках часть обычно подчинялась целому, тогда как в новых языках она может выступать и независимо от целого. Этим определяется и архаический характер отмеченных построений. Их отдаленные пережитки встречаются и в новых языках, например, *мы с тобой* в смысле «я с тобой», *мы с ним*, т.е. «я с ним». Ср. также во французском просторечии *pous deux mon homme* букв. «мы оба и мой муж», т.е. «я с мужем» или «мы с мужем».

<sup>1</sup> Кацнельсон С.Д. Историко-грамматические исследования. М.; Л., 1949. С. 75, 79, 110. Из старых исследований, до сих пор сохраняющих все свое значение, см.: Кори Ф.Е. Способы относительного подчинения. Глава из сравнительного синтаксиса. М., 1877.

И в этом случае, как и в предыдущих, различие между старыми и новыми оборотами определяется отнюдь не степенью их «экономности», а характером мышления людей разных исторических эпох, особенностями синтаксических структур языков на разных этапах их существования.

Попытаемся, однако, подойти к конструкциям образца *vit Gunnar* с позиции «экономии». В этом случае в них можно найти что угодно: и «экономно» (в двух словах так много передано: *мы оба, я и Гуннар*) и антиэкономно (слово *vit* удивительно полисеманлично, язык «расточительно» вкладывает в одно слово множество значений).

Если бы «экономия» постепенно «наращивалась» в истории языка, то новые языки были бы экономнее старых языков. Факты, однако, опровергают подобное предположение.

Обратимся к историческому синтаксису французского языка. Старый язык часто «опускал» такие синтаксические звенья, без которых современный язык обойтись не может. В стихотворном тексте XIII в. «*La Chastelaine de Vergi*» (строки 342–343) читаем: *J'aim vostre niece de Vergi et ele moi*. — «Я люблю вашу племянницу, а она — меня». По нормам современного аналитического языка так сказать невозможно. Согласно этим нормам, глагол непременно должен быть повторен после второго подлежащего: *et elle aime moi* «и она любит меня». Нормы аналитического языка «требуют» повторения глагола после второго подлежащего, хотя подобное повторение может показаться «неэкономным». Следовательно, проблема не в дилемме «экономия — не экономия», а в строе языка, в синтаксических изменениях, совершившихся исторически.

Старый язык мог «пропускать» не только сказуемое, но и подлежащее. В этом же тексте постоянно встречаем построения типа: *Il disoit qu'il ert toz miens et le disoit si doucement que le creoie vraiment* (строки 786–788). — «Говорил, что он весь мой и говорил так тихо, что я ему действительно поверила». В оригинале *я* «пропущено» и только из контекста видно, о каком лице идет речь (сама форма *creoie* могла относиться и к первому и к третьему лицу). Старый язык поступал «экономнее» (пропуск подлежащего) нового языка (нет пропуска подлежащего), но от этого он не становился ни более ясным, ни более точным. Дело, следовательно, не в «экономии», а в строе языка на том или ином этапе его развития.

В этой связи нельзя не вспомнить старый спор о том, какие конструкции «проще и экономнее» — флективные или аналитические. «Простоту и экономность» обычно усматривают в аналитических конструкциях. Утверждают, что такие конструкции

избавляют язык «от трудных и неэкономных флексий» и делают его «стандартным и современным»<sup>1</sup>. Несмотря на популярность подобного рода концепции (обычно ее защищают более осторожно, с целым рядом оговорок)<sup>2</sup>, мы видели, что флективный строй старофранцузского языка был в определенном отношении более «экономным», чем аналитический строй современного французского языка.

### Межъязыковой материал

Может быть, «экономия» дает о себе знать в межъязыковых отношениях? Быть может одни языки «построены» экономнее, чем другие? Обратим внимание на межъязыковой аспект «экономии». Для этой цели проведем сравнительный анализ одного предложения на нескольких европейских языках: рус. *Моя единственная настоящая подруга*, англ. *My only real friend*, нем. *Meine einzige wirkliche Freundin*, фр. *Ma seule véritable amie*, ит. *La mia unica vera amica*, исп. *Mi única amiga verdadera*.

Выделим здесь только одну грамматическую категорию — категорию рода. Как она выражается в одном и том же предложении, переданном на шести различных языках? Сначала выделим полярные в этом отношении конструкции — английскую и итальянскую. В английском языке грамматическая категория рода (в данном случае женского) здесь совсем о себе не заявляет: каждое из четырех английских слов, составляющих анализируемое предложение, не имеет никаких родовых признаков. В итальянском языке ситуация прямо противоположная: каждое из пяти итальянских слов (включая и артикль) имеет отчетливо выраженную форму женского рода и каждое из них в мужском роде имело бы другую форму.

Следовательно, в итальянском языке в одном простом предложении категория рода передается пять раз подряд. В русском, как и в итальянском, каждое слово тоже выступает с родовым признаком, но самих слов оказывается здесь меньше, чем в итальянском. В испанском местоимение *mi* нейтрально по отношению к роду, а во французском ситуация гораздо сложнее: фонетически категория рода выражена только один раз (*ma*), а графически — три раза (*mà, seule, amie*). Как видим, различные

<sup>1</sup> См. обзор разных мнений по этому вопросу в статье: *Жирмунский В.М.* // Аналитические конструкции в языках различных типов. М., 1965.

<sup>2</sup> Ср.: *Шведова Н.Ю.* О понятии синтаксического ряда // Историко-филологические исследования. К 75-летию Н.И. Конрада. М., 1967. С. 212–213.

языки неодинаково «расточительны» в способах передачи категории грамматического рода.

Что из всего этого следует? Что итальянский язык менее «экономен», чем, например, французский и, тем более, английский? Такое заключение не имело бы никакого научного значения, так как не исключало бы противоположного вывода. «Сплошное» выражение категории рода в каждом из пяти итальянских слов, входящих в анализируемое предложение, допустимо рассматривать не как «расточительное», а как «экономное»: в процессе коммуникации не надо задумываться о каком «настоящем друге» идет речь — о мужчине или о женщине. Как видим, принцип «экономии» широко раскрывает дверь для произвольных истолкований. «Неэкономное» с одной точки зрения может показаться вполне «экономным» с другой точки зрения.

Индоевропейские языки знают противопоставление имен существительных по категории числа: единственное и множественное (другие возможные оппозиции в системе числа здесь не рассматриваются). Между тем китайский и японский языки к подобному противопоставлению прибегают лишь в исключительных случаях, когда возникает особая нужда подчеркнуть категорию числа. Обычно же лишь по контексту судят, о чем идет речь — об единственном числе или о множественном<sup>1</sup>. Что же здесь «экономнее»: наличие категории грамматического числа или ее отсутствие? С одинаковым «успехом» можно доказывать и то, и другое.

С позиции «экономии» ничего нельзя объяснить и в сфере межъязыковых лексических отношений. Во французском языке некогда было два слова для обозначения «города» — *ville* и *cité*. Позднее второе существительное приобрело более специальное значение (ср., например, *cité universitaire* «университетский городок»). В современном русском языке *город* имеет соответствие — старославянскую форму *град*, которая стала архаичной (ср. известные строки Пушкина: «красуйся град Петров»).

К тому же диахронные отношения *ville* — *cité* совсем иные (здесь два разных слова), чем аналогичные отношения между *город* — *град* (этимологически одно слово). В немецком же языке *Stadt* «город» вообще не имеет синонимов. Три языка дают три разных решения вопроса о номинации города и невозможно сказать, какое из них «экономнее».

Но вот немецкий язык располагает двумя существительными, выражающими понятие «заимствованное слово»: *Lehnwort*

<sup>1</sup> См.: Иванов А.И., Поливанов Е.Д. Грамматика современного китайского языка. М., 1930. С. 219; Фельдман Н.И. Японский язык. М., 1960. С. 31.



«заимствованное слово до XV в.», Fremdwort «заимствованное слово после XV в.» Ни русский, ни французский языки подобного разграничения не знают. Поэтому семантический объем русского словосочетания «заимствованное слово» оказывается большим по сравнению с аналогичным объемом каждого из двух немецких существительных — Lehnwort и Fremdwort.

«Лишнее» («неэкономное») с позиции одного языка обычно предстает как необходимое с позиции другого языка. В современных европейских языках разграничение местоимений *ты* и *вы* используется, в частности, и в плане обращения: множественное число может выступать как «вежливое число». Однако английский язык постепенно утратил противопоставление *thou* — *you* «ты — вы». Тем самым местоимение *you* «вы» лишилось того противопоставления в обращении (*ты — вы*), которое столь характерно для большинства других европейских языков<sup>1</sup>. Но стал ли от того английский язык более «экономным»? Ответ может быть только отрицательным. Изменилась лишь семантика местоимения *you* которая стала более многоплановой, чем в те времена, когда оппозиция *thou* — *you* еще сохранялась. Современное английское *you* в обращении к одному лицу звучит и вежливо, и невежливо в зависимости от контекста, от интонации, от сочетания с другими словами и т.д. Утратив противопоставление *thou* — *you* язык усложнил семантику оставшегося звена (*you*). Процессы подобного рода обычно не выходят за пределы отдельных языков. Само противопоставление *ты — вы* сохраняет прочные позиции во многих языках мира.

Нередко складываются такие отношения, при которых одна группа родственных языков пользуется одним словом для выражения одного понятия, а другая группа родственных языков — двумя словами для передачи того же понятия.

*Покидать пределы чего-либо* в русском языке часто передается глаголом *выходить*. Русское *он выходит* соответствует фр. *il sort*, исп. *sale*, порт. *sai*, ит. *esce*, рум. *iese*. А вот в некоторых германских языках глаголы движения, обозначающие направление, обычно имеют соответствие не из одного, а из двух слов. Французскому *il sort* «он выходит» в немецком соответствует *er geht hinaus*, а в английском *he goes out*<sup>2</sup>. Означает ли сказанное, что романские языки «экономнее» германских языков? И в этом случае ответ может быть только отрицательным. Различие между двумя группа-

<sup>1</sup> Бруннер К. История английского языка. Т. 2. М, 1956. С. 103–105 (противопоставление *thou* — *you* встречается еще у Шекспира).

<sup>2</sup> Wandruszka M. Sprachen, vergleichbar und unvergleichlich. München, 1969. S. 461.

ми языков здесь определяется различной ролью приставок в истории каждой из этих групп. К тому же в плане общей грамматической системы английский язык как максимально аналитический (в пределах германской группы), казалось бы, должен быть «экономнее», например, румынского как минимально аналитического (в пределах романской группы). Между тем в английском выступают два слова, а в румынском — одно слово. «Экономное» в одном ракурсе предстает как и «неэкономное» в другом ракурсе. С этим явлением мы уже встречались и раньше.

Межъязыковые соответствия точно также ограничивают принцип лингвистической «экономии», как и соответствия внутри отдельных языков.

### **Еще о теории**

Теперь можно вернуться едва ли не к центральному вопросу и спросить: на какие теоретические положения опирается теория языковой «экономии»?

Часто рассуждают так: в своем историческом развитии язык движется от конкретного к абстрактному, конкретное и «дробное» менее «экономно», чем абстрактное и обобщенное. Следовательно, само развитие языка от конкретного к абстрактному как бы определяет рост и усиление «экономного» принципа на всех уровнях языка.

В самом общем плане утверждение о том, что языки развиваются от конкретного к абстрактному не вызывает возражений. Об этом давно и много писали самые различные ученые. Но, во-первых, связано ли подобное развитие с «экономией», и, во-вторых, ослабляет ли абстракция способность каждого языка передавать богатейший мир конкретных представлений — все это уже гораздо сложнее и нуждается в особом рассмотрении.

Не выходя за пределы индоевропейских языков, отметим, что многие лингвисты не обнаруживают на древних этапах бытования языков способности передавать абстрактные категории. М.И. Стеблин-Каменский, например, писал: «Современному человеку непременно хочется находить общие понятия у людей прошлых эпох там, где были только более частные понятия. Из данных древнеисландского языка очевидно, что у людей, говоривших на этом языке, не было понятия «убийства вообще». Были только понятия об убийствах определенного характера»<sup>1</sup>. Далее автор показывает, как следует понимать подобные «частные убийства»

<sup>1</sup> *Стеблин-Каменский М.И.* Мир саги. Л., 1971. С. 83.

(из мести, из особо понятой чести и т.д.). Исследователь считает, что недопустимо переносить современные понятия мести, долга, чести, зла, души и другие в эпоху XIII–XIV вв., от которой дошли до нас рукописи исландских саг. Только такая концепция (не переносить современное в прошлое) представляется М.И. Стеблину-Каменскому исторической.

Спору нет. В историческом исследовании каждое понятие должно анализироваться исторически. Неправомерно транспонировать в средние века современные представления о долге и чести, разуме и чувстве и т.д. Но соблюдая историческую дистанцию и констатируя нетождественность понятий разных эпох, нельзя на этом основании лишать старые языки всякой способности к обобщениям и к абстракциям. Люди средних веков, как и языки того времени, умели обобщать по-своему, в пределах своего миропонимания и своих возможностей. Не следует забывать и другое: всякий язык обобщает, всякий язык стремится, в меру степени своего развития, передать не только конкретное (этот предмет, это чувство), но и обобщенное (предметы, чувства и пр.). В той же книге М.И. Стеблина-Каменского показано, что не умея оперировать еще, в частности, с понятием «убийства вообще», создатели древних исландских саг уже знали свои абстрактные категории: месть могла вызываться разными причинами и совершаться неодинаково, поэтому понятие «убийство из мести» уже обобщало известные случаи отдельных, как бы более частных поступков.

Следует противопоставлять не абстрактные категории современных языков конкретным категориям средневековых и других старых языков, как это обычно делают, а разные типы абстракции и разные типы передачи конкретных представлений в те или иные эпохи жизни анализируемых языков.

К тому же сама абстракция вовсе не всегда «экономна». В неоконченном сочинении «Кто мыслит абстрактно?» Гегель показывает, что есть различные виды и типы абстракции, некоторые из которых могут быть и примитивными. «Ведут на казнь убийцу. Для толпы он убийца, и только. Дамы заметят, может статься, что он сильный, красивый, интересный мужчина. Такое замечание возмутит толпу: как так? убийца — красив?» И несколько дальше: «Эй, старуха, ты торгуешь тухлыми яйцами! — говорит покупательница торговке. — Что, — кричит та, — мои яйца тухлые?! Сама ты тухлая!»<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Цит. по кн.: Гулыга А.В. Гегель Сер. «Жизнь замечательных людей». М., 1970. С. 82–83.

Гегель раскрывает своеобразие подобного рода абстракций (обобщений). В сознании торговки покупательница сейчас же становится «тухлой», как только покупательнице предлагаемый товар покажется тухлым. Убийца может быть только убийцей, поэтому физическая красота к нему не пристала и т.д. Подобные абстракции оказываются — по Гегелю — «тощими».

Известно, что история «предметов» обычно движется от конкретного к абстрактному. Теоретическое мышление, однако, обычно исходит из абстрактного, чтобы затем раскрыть всю сложность и многоплановость конкретного объекта (объектов) исследования.

Сказанное имеет отношение и к лингвистической теории. Соотношение между конкретным и абстрактным в истории разных языков нередко изображается прямолинейно и упрощенно как одностороннее движение от конкретного к абстрактному. Реальная картина гораздо сложнее. Даже история семантики слов, где, казалось бы, все определяется постулатом «от конкретного к абстрактному», в действительности гораздо сложнее.

Э. Бенвенист доказал, что, ставший уже хрестоматийным, пример индоевропейского развития ресу (*resunia*) от значения «скот» к значению «богатство» в трех группах индоевропейских языков, где сохранилось это слово (в индоиранской, италийской и германской), долго трактовался неверно. Тщательное изучение материала показало, что ресу в значении «богатство» оказалось более старым, чем в значении «скот». Исследователь предложил «перевернуть» соотношение двух центральных исторических значений этого слова<sup>1</sup>. Проблема представляется мне сложнее. Не исключена возможность, что в архаичном сознании само значение «богатство» мыслилось более предметно, чем теперь: это было «богатство», как бы ориентированное «на поголовье» (владение большим или меньшим поголовьем). Категория абстрактного в языке, как и категория конкретного, оказывается, таким образом, категорией строго исторической.

А.А. Потебня был глубоко прав, когда писал: «Нельзя охарактеризовать развитие языка его стремлением к отвлеченности, не прибавив, что вместе с тем развивается и его способность изображать конкретные явления»<sup>2</sup>. Перефразируя эти слова замечательного филолога, можно то же сказать о соотношении рационального и чувственного в языке. Чем больше развивается

<sup>1</sup> Benveniste É. Le vocabulaire des institutions indoeuropéennes. I. Paris, 1969. P. 47–52.

<sup>2</sup> Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. I–II. Харьков, 1888. С. 355.

способность языка передавать рациональные основы человеческого мышления, тем очевиднее выступает не менее важное умение языка выражать чувственное восприятие человека. Лермонтовское «погружаясь в холодный кипяток нарзана» («Герой нашего времени») — это не только метафора, но общая особенность языка, его сила, позволяющая проникать в многообразный мир чувственного восприятия. Все языки на всех этапах своего исторического существования всегда умели выражать конкретное и отвлеченное, рациональное и чувственное. Но в разные эпохи с этой задачей они справлялись неодинаково. Развитие любого языка совершенствует его же способности передавать все более адекватно и все более многообразно весь сложный мир значений, категорий и отношений.

Попытаюсь теперь резюмировать сказанное:

1. Ни развитие, ни функционирование языка не определяются принципом «экономии», так как любой живой естественный язык пополняется все новыми и новыми средствами выражения, новыми «приемами» коммуникации.

2. «Экономия» недопустимо смешивать с различными процессами лингвистической дифференциации, в результате которых разграниченные категории начинают занимать в языке более прочные позиции, чем категории неразграниченные; дифференциация расширяет ресурсы языка, а не суживает их.

3. «Экономия» неправомерно отождествлять с регулярностью системы языка, так как подобная регулярность обычно опирается на сложные и нередко противоречивые тенденции языка. «Неэкономное» спряжение так называемых неправильных глаголов сочетается с их регулярностью в каждом отдельном случае и с их устойчивостью в литературной норме.

4. «Экономия» нельзя отождествлять с выразительными возможностями языка, которые предполагают многообразие и выбор средств: «экономия» склоняет свою «голову» перед самым фактом непрерывного увеличения синонимических рядов (лексических, синтаксических, стилистических).

5. «Экономия» не может существовать ни за счет рационального, ни за счет абстрактного, так как в самом языке рациональное всегда представлено во взаимодействии с чувственным, а абстрактное — с конкретным.

6. «Экономия» как будто бы может коснуться отдельных звеньев языка (аббревиатуры), которые, однако, перестают быть «экономными» в системе языка.

7. «Экономия» нельзя относить к языку в его противопоставлении к речи, где «царствует избыточность». «Избыточность» та-

ких категорий, как, например, род и число, проникает не только в речь, но и в язык. «Экономное» с позиции одного языка может предстать как «избыточное» с позиции другого языка.

8. Понятие «экономии» языка и понятие прогресса языка — это совершенно различные понятия. Прогресс языка в конечном счете определяется непрерывно растущими возможностями человеческого мышления, «экономия» же языка — той или иной коммуникативной ситуацией, удобной в одних случаях и неудобной в других. Поэтому понятие «экономия» не имеет никаких оснований считаться «синтезом действующих в языке сил», тем более — результатом человеческой лени.

Язык неотделим от человека. С позиции машинно-технических критериев сам человек может показаться «сплошным излишеством». В нем слишком много «деталей», как будто бы «ненужных» для выполнения той или иной операции по жестко запрограммированной схеме. Но сила человека в его универсальности. То же следует сказать и о человеческом языке. Именно поэтому язык не подчиняется «закону экономии», как не подчиняется ему и сам человек. Разумеется, человек может, а иногда и обязан выполнять ту или иную работу «экономно». Природа же человека всегда будет характеризоваться универсальностью. Поэтому и человеческий язык универсален по своей природе и безграничен в своих реальных и потенциальных возможностях.

Первая публикация: Вопросы языкознания. 1972. № 1 (печатается с сокращениями); см. также: *Будагов Р.А.* Язык и речь в кругозоре человека. М., 2000. С. 139–166.

---

---

## СИСТЕМА И АНТИСИСТЕМА В НАУКЕ О ЯЗЫКЕ

Как известно, о системе и о структуре языка написано очень много<sup>1</sup>. Больше того. Оба эти термина стали знаменем лингвистики XX в., ее отдельных школ и направлений. Едва ли найдется серьезный лингвист, который отрицал бы системный (структурный) характер языка. Стоит, однако, присмотреться к тому, как понимается система (структура) языка в теоретически разных направлениях лингвистики. Проблема осложняется еще и тем, что в любом живом языке имеются не только системные, но и антисистемные тенденции и категории<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Термины *система* и *структура* здесь употребляются как близкие синонимы. На мой взгляд, еще никому не удалось провести убедительное разграничение между этими двумя терминами в лингвистике. (Заметим, слово *система* многозначно, одно из значений абсолютно синонимично слову *структура* — ‘устройство, единство закономерно расположенных и функционирующих частей’ = структура.) Далее *система* применяется по отношению к языку в целом, *структура* — по отношению к его отдельным уровням (ср. *система языка*, но *структура слова*). В той же мере, однако, в какой структура связана со структурализмом как определенным направлением в науке, сам термин *структура* тоже может получить более широкое значение. Любопытно, что в «Курсе» Соссюра говорится только о системе, а не о структуре (см. об этом рецензию Р.А. Будагова на изд. соч. Соссюра 1977 г. — ВЯ. 1978. № 2). Что же касается термина *антисистема*, то в дальнейшем изложении он употребляется (а не его менее ясный синоним — *асистема*) для обозначения таких явлений в языке, которые, хотя и противоречат системе (в этом плане они действительно антисистемны), вместе с тем не разрушают системного строения языка. Антисистема и направлена против системы, и выступает как производное от системы же понятие. Подобное жизненное противоречие глубоко типично для естественных языков.

<sup>2</sup> См., например: *Wandruszka M. Interlinguistik. Umriss einer neuen Sprachwissenschaft. München, 1971. S. 72* («наши языки в значительной степени антисистемны»). Аналогичные мысли высказывают отдельные филологи в разных странах.

---

---

Хотя в лингвистике оба термина (*система*, *структура*) обычно связывают с наукой XX столетия, особенно — со второй его половиной, однако историки грамматических идей в Европе отмечают, что термин *система* был одним из «ключевых терминов уже в XVIII веке»<sup>1</sup>. В середине этого столетия французский философ Е. Кондильяк публикует даже специальный «Трактат о системах» (*Traité des systèmes*), который был тесно связан с его главным сочинением — «Трактатом об ощущениях» (1754). «Система грамматики» в ту эпоху понималась как совокупность форм языка, связанных между собой определенными отношениями. Подобное истолкование грамматики само по себе ясное, вместе с тем оказывалось слишком общим, так как в эту эпоху представление о грамматических формах еще не находило себе опоры в реальных фактах различных языков: тогда никто не умел исследовать формы языка в процессе его функционирования. Общие рассуждения о грамматике вообще, безотносительно к тому или иному конкретному языку, занимали важное место в гносеологических построениях французских энциклопедистов<sup>2</sup>.

Примечательной оказалась судьба термина *система* в науке о языке XIX столетия. Возникновение и обоснование сравнительно-исторического метода вместе с первой книгой Ф. Боппа в 1816 г. способствовали изучению конкретных фактов индоевропейских языков, но временно как бы отвлекли внимание ученых от того, в каких взаимоотношениях (системах) сами эти факты находятся. И хотя в названии первой книги Ф. Боппа фигурировал термин *система* («Ueber das Conjugationssystem der Sanskrit Sprache...»), все же ученый ставил акцент не на понятии о «системе спряжения», а на понятии об отдельных элементах, образующих индоевропейскую парадигму спряжения. В первой половине XIX столетия система употреблялась еще в нетерминологическом значении.

Больше того. В эту эпоху в связи с развитием исторической точки зрения на природу и общество система начинает казаться бранным словом — нечто предвзятое, заранее кому-то или чему-то навязанное, а поэтому и противоречащее «свободному историческому движению».

В ту эпоху, по-видимому, только В. Гумбольдт (1767–1835) глубоко понимал, что и сам язык, и его отдельные уровни образуют

<sup>1</sup> Arrivé M., Chevalier J. La grammaire. Lectures. Paris, 1970. P. 66. В самом общем плане уже античность знала понятие системы (см. об этом в сб.: Системные исследования. Ежегодник 1974. М., 1974. С. 154–156).

<sup>2</sup> См. об этом: Lücke Th. Diderot. Skizze eines encyclopädischen Lebens. Berlin, 1949. S. 215.



своеобразное единство, внутри которого часть подчиняется целому, а целое вырастает из частей и на них «опирается»<sup>1</sup>.

В 1916 г. в связи с посмертной публикацией «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра, где заново была поставлена проблема системы языка, споры о системе в языке и в науке о языке разгорелись с новой силой. Представители разных направлений в науке стали предлагать свои, во многом несходные, истолкования системы<sup>2</sup>.

Несколько иной оказалась судьба термина и понятия *структура*. По данным различных этимологических словарей *структура* в европейских языках встречается уже в XIV столетии, но, по мнению Е. Кассирера, впервые научно обосновал важность этого понятия для науки французский натуралист и биолог Ж. Кювье (1769–1832) в 20-х гг. XIX столетия. По убеждению немецкого философа, именно Кювье истолковал структуру как нечто целостное, части которого целиком подчинены самому этому целому. Кассирер увидел у натуралиста Кювье даже целую «программу современной лингвистики»<sup>3</sup>.

Став широко распространенным «научным термином» в середине XX столетия, структура продолжала сохранять разные значения в разных направлениях науки о языке. Если, как мы видели, *система* имеет и сейчас несколько десятков определений, то примерно то же можно сказать и о *структуре*. Несомненно, однако, другое: оба эти термина, сохраняя многозначность, прочно входят в обиход разных наук, и прежде всего в обиход лингвистики, с 40-х гг. XX столетия.

Терминологические затруднения возникают здесь сразу по двум причинам. Дело не только в том, что оба термина во многом совсем несходно истолковываются в различных направлениях лингвистики, но и в том, что их широкое употребление во многих самых разнообразных науках в свою очередь воздействует на их лингвистическую интерпретацию, расширяя и без того широкую их полисемию. Терминологическая проблема осложняется и по другой причине: наряду с необходимостью применять анали-

<sup>1</sup> Гумбольдт В. О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода / Рус. пер. П. Билярского. СПб., 1859. С. 40 и сл.; Гайм Р. Вильгельм фон Гумбольдт. Описание его жизни и характеристика. М., 1898. С. 422–424.

<sup>2</sup> В одной из книг приводится 34 определения понятия системы в различных науках нашего времени (см.: Садовский В.Н. Основания общей теории систем. М., 1974. С. 93–98); см. также: Аверьянов А.Н. Система: философская категория и реальность. М., 1976. С. 188–190.

<sup>3</sup> Cassirer E. Structuralism in Modern Linguistics // Word. N. Y., 1945. N 2. P. 106–107.

зируемые термины по существу, по требованию современного состояния той или иной науки, оба термина нередко фигурируют и по «требованию» простого повествования. Стали говорить о системе (структуре) одежды, о системе (структуре) поведения людей дома или на улице и т.д.<sup>1</sup>

Такой «напор» обоих терминов (*система, структура*) не мог не вызвать и отдельные протесты. Дело в том, что многие лингвисты стали подгонять языковые категории — звуки, морфемы, слова, определенные синтаксические конструкции — под те или иные системы (структуры). Между тем языковые категории обычно не вменяются в жесткие рамки той или иной системы (структуры). Национальные языки народов оказываются гораздо сложнее, их категории полифункциональны, подвижны, многообразны.

Уже в 1945 г. один из скандинавских лингвистов, имея в виду догматичные схемы Л. Ельмслева, писал: «Я предполагаю, что практическое, несистематическое описание фактов языка в действительности более научно, чем подобного рода систематическое описание: первое допускает меньше насилий над самим порядком исследовательского процесса, чем второе, и тем самым дает меньше оснований для неверных истолкований»<sup>2</sup>. Здесь, хотя и в робкой форме, сказано, что иные структуры, в которые «втискивается» язык, могут представить этот язык в ложном виде, не таким, каким он является в действительности, а таким, каким хотел бы его видеть — по тем или иным причинам — исследователь. К сожалению, на фоне общего увлечения жесткими структурами в языкознании 60–70-х гг. XX в., подобные голоса протеста были мало слышны в общем хоре восторженных поклонников именно таких жестких структур в науке о языке. Между тем еще в 1936 г., совсем по другому поводу, замечательный русский лингвист Л.В. Щерба предостерегал любителей схем: «Можно все разобрать, можно все разложить по полочкам, но какая цена такой схеме?»<sup>3</sup>.

Система, в которой находятся самые различные «единицы» языка, воздействует на составляющие «единицы». Воздействие здесь несомненно. Но несомненно и другое: различные «единицы» языка и система, в которой они находятся, предстают не как взаимоисключающие друг друга категории, а как категории взаимозависящие, хотя во многом и различные. Значения отдельных языковых единиц существуют в любом языке объективно, хотя

<sup>1</sup> Ср., в частности: Barthes R. *Système de la mode*. Paris, 1967; *Sens et usages du terme structure dans les sciences humaines et sociales* / Éd. par R. Bastide. Paris, 1962.

<sup>2</sup> Borgstrom C. The Technique of Linguistic Descriptions // AL. 1945. 1. P. 14.

<sup>3</sup> Щерба Л.В. Избр. работы по языкознанию и фонетике. Л., 1958. С. 102.

многообразие их свойств обнаруживается в системе языка, в его различных уровнях.

Здесь следует обратить внимание и на другой аспект системы. Раньше речь шла о том, что единицы языка всех его уровней обычно не укладываются в систему, причем за пределами системы нередко оказываются как раз важнейшие языковые свойства и явления. Теперь возникает вопрос о взаимодействии единиц языка с процессом их же функционирования в той или иной системе (общей или более частной, относящейся к одному из уровней языка или даже к одному из видов этого уровня). На первый взгляд, эти проблемы кажутся никак между собой не связанными. В действительности они глубоко взаимообусловлены. Дело в том, что когда отдельные единицы языка функционируют в системе, сами эти единицы обычно обнаруживают не все свои свойства, а лишь некоторые из них. И в этом случае возникает проблема системы и антисистемы (структуры и антиструктуры), как возникала она и в первом случае. Система (структура), выявляя возможности и потенции языка, вместе с тем обычно выявляет их не полностью. Другие возможности одной и той же единицы языка могут обнаруживаться уже с помощью другой системы (структуры) или оказаться вне всякой системы (структуры).

Еще один важный аспект проблемы. Во многих направлениях современной лингвистики обычно высмеивается атомистический подход к тем или иным категориям языка. Между тем, как справедливо заметил известный физик, академик М.А. Марков, «атомизм всегда, как правило, находился в арсенале материалистической философии»<sup>1</sup>. Сказанное, разумеется, не сводится к призыву вернуться к атомистической концепции в науке (к учению о дискретном, прерывистом строении материи). Но приведенные слова специалиста означают, что современная наука не может не считаться с субстанциональными («лежащими в основе») свойствами тех предметов и явлений, которые она изучает. Системные отношения, организуя эти предметы и явления, должны лишь рельефнее выявлять их субстанциональные свойства. Речь идет, следовательно, не о возврате к старому, а о единстве старого и нового, об умении рассматривать предметы и явления и в их единичности, и в их системных связях и отношениях<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Марков М.А. О современной форме атомизма // *Вопр. философии*. 1960. № 3. С. 47.

<sup>2</sup> Математик В.С. Барашенков справедливо отмечает: «... все попытки объяснить окружающий нас мир, исходя только из свойств пространства и времени, оказываются безуспешными. Пространство и время не могут существовать без материи и вне ее... Пространство и время без материи являются понятиями, лишёнными реального физического содержания» (*Вопр. философии*. 1977. № 9. С. 83).

Наконец, еще один аспект проблемы. Резко выступая против любой ссылки на историю, против любого исторического истолкования структуралисты всегда вынуждены замыкать любую систему, любую структуру их собственными границами.

Неудивительно, что подобное понимание структуры языка не могло не вызвать протестов в недрах самой американской лингвистики. Уже с конца 60-х гг. XX столетия начинают выходить различные сборники, посвященные историческому языкознанию на его современном этапе<sup>1</sup>. Исследователи стремятся не только описать наличные в языке структуры, но и понять пути их происхождения и формирования.

Чтобы уточнить отношение языка к действительности — одна из важнейших гносеологических проблем лингвистики — Э. Бенвенист предложил различать «два модуса значимостей»: внутренний, семиотический, без рассмотрения отношения языка к действительности, и семантический модус, для которого отношение языка к действительности приобретает решающее значение<sup>2</sup>. Стремление выйти за пределы замкнутого модуса «внутренних значимостей», стремление осмыслить санкции языка в современном обществе, начинает все чаще и чаще характеризовать творчество наиболее видных филологов нашего времени.

Что, однако, практически означает критика жестких систем и жестких структур в языке и в науке о языке? Обратимся к анализу материала — здесь по необходимости ограниченному — из истории и теории романских языков.

Все романские языки восприняли переход количественного признака гласных в качественный. Хорошо известно, что латинские гласные характеризовались краткостью и долготой, тогда как романские гласные — своей открытостью и закрытостью. И хотя фонологическая роль открытости и закрытости гласных в разных языках стала неодинаковой (наибольшая — во французском, итальянском и португальском), все же именно этот признак гласных оказался для них характерным. Процесс перехода

<sup>1</sup> См., например: *Directions for Historical Linguistics. A Symposium* / Ed. by W. Lehmann and Y. Malkiel. University of Texas Press, 1968. Здесь, в частности, демонстрируется ограниченность структурной лингвистики, во всем противопоставленной историческому языкознанию (с. 98 и сл.). Голоса в защиту актуальности исторического метода раздаются и среди представителей современного естествознания. О «важности принципа историзма» даже в такой науке, как информация, уже написаны книги (см., например: *Крестьянский В.И. Методологические проблемы системного подхода к информации*. М., 1977). Здесь он пишет: «Стержневая идея книги... — последовательно использовать принцип историзма» (Там же. С. 3).

<sup>2</sup> *Benveniste É. Problèmes de linguistique générale*. II. Paris, 1974. P. 225.

краткости-долготы в открытость-закрытость обычно изображается с помощью строгой структурной схемы (дифтонги здесь опускаются). Сам по себе отмеченный переход в истории романских языков произошел строго и имел важные последствия и для фонетической, и для фонологической их системы. Создается впечатление, что простая схема-структура все легко объясняет. В действительности, в реальном развитии звуковой системы романских языков многое предстает перед нами в гораздо более сложном виде. Прежде всего каждое долгое латинское *u* действительно сохраняется в виде *u* в большинстве романских языков, кроме французского и окситанского (провансальского). Здесь каждому долговому латинскому *u* всегда соответствует огубленное (лабиализованное) *u*. В результате испанскому тигу «стена» во французском в том же значении соответствует тиг, где уже нет латинского *u*, но есть сильно лабиализованное *u*.

Важно отметить, что при всем значении общероманского движения гласных одна структурная схема может объяснить немного: слишком велики индивидуальные расхождения между языками, даже близкородственными.

Фонетические структуры, в особенности в диахроническом плане, находятся под влиянием множества других тенденций языка, учитывать которые обязан всякий серьезный исследователь. В этом, в частности, обнаруживается социальная природа не только условий функционирования языка, но и самих структур, которыми располагает язык на разных его уровнях. Поэтому и судьба таких структур в каждом языке оказывается во многом различной.

В еще большей степени все сказанное относится к грамматике. В 1936 г. Р.О. Якобсон в интересной статье о теории падежей показал асимметрию падежных противопоставлений в славянских языках. Принцип бинарности падежных противопоставлений весьма относителен. Если винительный падеж сигнализирует, что на данный предмет направлено действие, то никто не может сказать, что именительный падеж имеет противоположное значение. Между тем в другом ракурсе именительный и винительный могут оказаться соотносительными падежами. Структура падежных противопоставлений предстает перед нами как структура асимметричная<sup>1</sup>.

То же следует сказать и о падежных отношениях романских языков. Большинство современных романских языков (кроме румынского) не знает падежных отношений. Остатки старых падежей сохранились лишь в местоимениях. Между тем в членных формах румынских существительных отчетливо противостоят

<sup>1</sup> Jakobson R. Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre // TCLP. 1936. N 6. S. 240.

именительно-винительный падеж, с одной стороны, и родительно-дательный падеж — с другой (и в единственном, и во множественном числе).

Падежи имен существительных и прилагательных не сразу исчезли и в других романских языках. В старофранцузском и в старопровансальском (вплоть до XIV столетия) еще отчетливо противопоставлялись тоже два падежа. Это противопоставление было, однако, совсем иным, чем в румынском. В западнороманских языках в основе оказалась структура, опирающаяся на оппозицию прямого и косвенного падежей.

Грамматическая структура оказывается и общей, и в то же самое время не общей. Она выступает и как структура, и как антиструктура, если учитывать не только ее морфологическое построение, но и ее функциональное поведение в языке. Недаром такие выдающиеся филологи, как В. Гумбольдт и А. Потебня, считали, что каждый язык располагает не только явной, но и неявной (скрытой) грамматикой.

По моему глубокому убеждению, при изучении системных и структурных отношений в грамматике недопустимо превращать сами эти отношения в абсолютно релятивистские. Наука XX в. справедливо отметила огромную роль категории отношения во всех областях знания, в том числе и в лингвистике. Но сам этот факт может служить основой и для верных, и для ошибочных заключений. В свое время даже такой ученый, как И.А. Бодуэн де Куртенэ, утверждал, что формы *вода*, *воду*, *воде* и другие в одинаковой степени сосуществуют в русском языке и «... мы с одинаковым правом можем говорить, что форма *вода* переходит в форму *воду*, как и наоборот, форма *воду* — в форму *вода*»<sup>1</sup>. Хотя перечисленные формы действительно сосуществуют в языке и они не «переходят» друг в друга в школьном смысле этого слова, все же нельзя считать, что наше сознание, а вслед за ним и наш язык, не различают основных и производных форм каждого отдельного слова. Считать иначе — значит не разграничивать такие принципиально различные категории в лингвистике, как категории значения и отношения, категории независимой и зависимой субстанции. При всем значении системных и структурных связей в грамматике сами эти связи служат для выражения человеческих мыслей и чувств, т.е. в конечном счете для передачи субстанциональных (в широком смысле) понятий.

Учение о системном и структурном характере языка внесло много принципиально нового в лингвистику XX столетия. Однако

<sup>1</sup> Бодуэн де Куртенэ И.А. [Рецензия] // ИОРЯС. 1907. Т. XII. Кн. 2. С. 795. Рец. на кн.: Чернышев В. Законы и правила русского произношения.

в отдельных влиятельных направлениях науки о языке нашей эпохи и система, и структура стали толковаться односторонне, прямолинейно. Ученые начали анализировать не реальные системы и структуры, бытующие в реальных живых языках, а системы и структуры, которые характерны для искусственных кодовых построений. Подобные построения вполне возможны для удовлетворения тех или иных технических целей, но сами они не имеют отношения к национальным языкам. Вместе с тем речь идет не о том, чтобы заменить жесткие структуры различных уровней структурами менее жесткими, более гибкими, как это предлагают отдельные ученые. Речь идет о понимании сложной природы самих структур, о соотношении структурных и антиструктурных тенденций в синхронном состоянии любого развитого языка<sup>1</sup>.

При изучении разных национальных языков лингвисты обязаны считаться с взаимодействием системных и антисистемных, структурных и антиструктурных тенденций во всех языковых сферах и уровнях. Борьба подобных противоборствующих тенденций определяется самой природой естественных языков человечества и служит источником их же дальнейшего развития<sup>2</sup>. Каждый национальный язык — это средство выражения не только самых разнообразных мыслей, но и самых разнообразных чувств людей, для которых данный язык является родным. Язык опирается на наш повседневный опыт, на нашу практику, на нашу науку в широком смысле. Он служит и почти всем видам искусства. Как заметил однажды один из крупнейших физиков XX столетия, — «причина, почему искусство может нас обогатить, заключается в его способности напоминать нам о гармониях, недостижимых для системного анализа»<sup>3</sup>. Это, конечно, не означает, что здесь сле-

<sup>1</sup> Любопытно, что в интернациональном нидерландско-американском журнале «Лингвистика и философия» («Linguistics and Philosophy. An International Journal»), основанном в 1977 г. (Dordrecht — Boston), в обращении редакторов к авторам и читателям отмечается, что в журнале публикуются и будут публиковаться те материалы, которые относятся не к искусственным, а только к естественным языкам человечества, и тем самым представляют большой интерес и для лингвистики, и для философии.

<sup>2</sup> Конкретный материал см.: *Будагов Р.А.* Сравнительно-семасиологические исследования. М., 1963 (гл. 1 и 9); 2-е изд. М., 2003.

<sup>3</sup> *Бор Н.* Атомная физика и человеческое познание. М., 1971. С. 111. Тоже один из наших современных прозаиков, знаток русского языка В. Распутин заметил: «А языку, известно, чем чудней, тем милей» (Наш современник. 1976. № 10. С. 4). Из контекста следует, что *чудней* автор толкует здесь так: «точнее», «ярче», «самобытнее». Вместе с тем — и здесь нет никакого противоречия — «пошлость мышления начинается с отрыва слова от жизненной первоосновы» (*Нагибин Ю.* Литературные раздумья. М., 1977. С. 23).

дует опустить руки. Но означает, что следует учитывать и функцию языка, относящуюся к передаче наших мыслей, и функцию языка, относящуюся к выражению наших чувств в самом широком смысле. Эти последние подлежат не менее строгому изучению, чем первые. Вместе с тем именно они требуют в первую очередь понимания сложного соотношения системных и антисистемных, структурных и антиструктурных тенденций в живых языках человечества.

Первая публикация: Вопросы языкознания. 1978. № 4. С. 3–17; см. также: *Будагов Р.А.* Язык и речь в кругозоре человека. М., 2000. С. 208–228.



---

---

НЕСКОЛЬКО  
ЗАМЕЧАНИЙ  
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  
ТЕОРИИ ЯЗЫКА  
И ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Проблема совершенствования языка — это не только лингвистическая, но и филологическая проблема в широком смысле. Филологи многих стран неоднократно отмечали различные точки соприкосновения лингвистики и литературоведения. Об этом приходилось писать и автору данных строк<sup>1</sup>. Здесь же хочется обратить внимание еще на одну область филологии, которая, будучи прежде всего литературоведческой, вместе с тем может заинтересовать своими стилистическими аспектами и языковедов. Речь пойдет о типологии литературных ситуаций.

Можно назвать различные случаи совпадения сюжетных и психологических (в широком смысле) ситуаций, которые встречаются у великих писателей разных стран и народов. При этом речь идет не о формальных совпадениях, а о таких ситуациях, которые в дальнейшем повествовании начинают играть важнейшую роль в идейном обосновании самого замысла художественного произведения — романа, повести, рассказа, поэмы, лирического стихотворения и т.д.

Чисто формальные совпадения у больших мастеров прозы уже привлекали к себе внимание исследователей. Кто не знает «проблемы сюжетного треугольника», знакомого нам не только по романам «средней руки», но и по великим произведениям искусства. Весь вопрос, однако, в том, чем и как «наполняется» подобный треугольник, именно своим «наполнением» отличающий настоящего мастера от заурядного сочинителя. Один французский эссеист в свое время даже утверждал, что в истории литератур мира встречается не бо-

---

<sup>1</sup> См.: *Будагов Р.А.* О некоторых общих проблемах филологии // Науч. докл. высшей школы. Филологические науки. 1976. № 1.

лее 36 драматургических ситуаций<sup>1</sup>. Ему казалось, что появление новых ситуаций теперь уже невозможно, и писатели вынуждены лишь комбинировать в пределах уже давно известных соотношений. Любопытно, что цифра 36 применительно к ситуациям на сцене, по-видимому, впервые была предложена итальянским драматургом К. Гоцци (1720–1806), автором, в частности, хорошо известных у нас пьес «Принцесса Турандот» и «Любовь к трем апельсинам». В 1830 г. И. Эккерман записал: «Затем Гёте заговорил о Гоцци и его венецианском театре, где актеры импровизируют, получая от автора лишь сюжет. Гоцци полагал, что существует только 36 трагических ситуаций. По мнению Шиллера, их больше, однако на деле ему не удалось найти даже тридцати шести»<sup>2</sup>. Чисто формальный критерий сам по себе еще мало что решает. Хотя цифру 36 поддерживали такие авторитеты, как К. Гоцци и, отчасти, Гёте, она заколебалась, когда каждую ситуацию стали рассматривать более «дробно», усматривая в одной «картине» множество ее вариантов. Поэтому в 1950 г. другой исследователь насчитал уже около 200 000 драматургических ситуаций<sup>3</sup>.

Подобные подсчеты сами по себе любопытны, но они еще не дают возможности проникнуть в существо художественного процесса. Одна и та же схема (ситуация) может заключать совершенно различное содержание и тем самым почти ничего не раскрывать, почти ничего не объяснять в творчестве большого писателя. Здесь вновь подтверждается справедливость давно известного положения о глубоком и постоянном взаимодействии формы и содержания в искусстве.

К типологии ситуаций необходимо подойти со стороны содержания самих этих ситуаций. Тогда и их форма предстанет в совершенно новом освещении. В настоящих заметках делается попытка показать значение подобных содержательных ситуаций лишь на одном литературном примере. Думается, однако, что в дальнейшем количество и качество примеров удастся увеличить.

В «Анне Карениной» Л. Толстого имеется поначалу, казалось бы, несущественный эпизод, который уже обращал на себя внимание (в частности, А.П. Чехова). Но этот эпизод не изучался типологически, как определенная модель, дающая возможность раскрыть глубокое содержание. Когда Анна Каренина возвращается из Москвы в Петербург (ч. 1, гл. XXX) и ночью на площадке

<sup>1</sup> *Politi G.* Les trente-six situations dramatiques. Paris, 1912.

<sup>2</sup> *Эккерман И.* Разговоры с Гёте. М.; Л., 1934. С. 495.

<sup>3</sup> *Sougiou E.* Les deux cent mille situations dramatiques. Paris, 1950. Колебание цифры от 36 до 200 000 показывает, насколько условна «голая арифметика» в искусстве. Но и цифры приобретают смысл, когда они соотносятся с функциями искусства.

вагона встречается с Вронским, то между ними происходит диалог. Вронский прямо и смело выражает свои чувства Анне. Еще не веря тому, что произошло, Анна решительно отвергает объяснения Вронского. «Это дурно, что вы говорите, и я прошу вас, если вы хороший человек, забудьте, что вы сказали, как и я забуду, — сказала она, наконец». Вронский: «Ни одного слова вашего, ни одного движения вашего я не забуду никогда и не могу...» «Довольно, довольно! — вскрикнула она...» Казалось бы, Анна все отвергла, притязания Вронского представляются ей кошунством. Но когда через несколько часов уже на вокзале в Петербурге она встречается с мужем, Алексеем Александровичем Карениным, Толстой так комментирует их встречу: «Ах, Боже мой: отчего у него стали такие уши? — подумала она, глядя на его холодную и представительную фигуру и особенно на поразившие ее теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы».

Типология ситуации: после первого объяснения с Вронским Анна не только иными глазами смотрит на мужа, но и сам муж теперь кажется ей совсем иным. Поразительно тонко отмечено «стали такие уши», как будто бы до этого они не были такими (именно *теперь* стали). Больше того, Анна поражена и хрящами ушей, именно теперь поражена, после объяснения с Вронским («поразившие ее *теперь* хрящи ушей»). Обобщим типологию ситуации: после объяснения с человеком, который представляется ей прекрасным, мужественным, но решительно отвергая его притязания, Анна иначе оценивает своего мужа. Физические недостатки Каренина как бы олицетворяют недостатки всего его облика. Муж теперь кажется ей другим человеком. «Хрящи ушей» лишь «зацепка», помогающая взглянуть другими глазами на формально близкого, но по существу далекого человека.

Как известно, «Анна Каренина» впервые была опубликована в России в 1876–1877 гг. А в 1889 г. в Париже вышел в свет роман Ги де Мопассана «Сильна как смерть». Есть все основания считать, что Мопассан был знаком с этим произведением Толстого, французский перевод которого был опубликован в издательстве Ашет в 1885 г., за четыре года до публикации романа Мопассана. Когда Тургенев, познакомившись с Мопассаном у своего друга Флобера, рекомендовал автору «Жизни» прочитать «Войну и мир» Толстого, то Мопассан, по словам Боборыкина, позднее сообщил Тургеневу: «Нам всем следует учиться у графа Толстого»<sup>1</sup>. После такого отзыва об эпопее Толстого Мопассан едва ли мог пройти мимо «Анны Карениной». Но даже независимо от Толстого (доказать его прямое воздействие на писателя,

<sup>1</sup> Боборыкин П. Д. Воспоминания. Т. 2. М., 1965. С. 200.

весьма несходного по характеру дарования, все же трудно) у Мопассана встречается ситуация, аналогичная только что описанной толстовской сцене. Здесь, конечно, речь пойдет не о влиянии одного писателя на другого, а о типологии ситуаций.

Напомню эту сцену в романе Мопассана<sup>1</sup>. Позируя знаменитому художнику Оливье Бертену, героиня повествования, молодая графиня Анна Гилеруа (любопытно: здесь тоже Анна), отвергает его притязания и защищает честь своей семьи. Но Оливье Бертен не женат, он умен, красив и талантлив, а муж Анны глуп, бездарен, хотя и очень богат. И все же Анна не допускает даже мысли о том, что в ее жизни могут возникнуть какие-либо перемены. Однако после первого же объяснения с Бертеном Анна, вернувшись домой и слушая «болтовню своего мужа», как бы впервые замечает: перед ней «самый заурядный болтун» (*l'homme vulgaire et phraseur*). Мопассан и раньше упоминал о болтливости Гилеруа, но то была авторская характеристика. Теперь же *впервые* сама Анна обращает внимание на заурядность и болтливость мужа, парламентского репортера по вопросам сельского хозяйства.

В чем общность типологии ситуации у Толстого и Мопассана? Не сравнивая творчество во многом несходных писателей, хочется подчеркнуть другое: типология данной ситуации у обоих писателей играет решающую роль во всем последующем развитии событий, в замысле и того и другого прозаика. После описанного события Анна Каренина поняла, наконец, истинную цену своему мужу, жесткому и холодному себялюбцу, подобно тому, как и Анна Гилеруа поняла карьеристские устремления своего мужа, совершенно безразлично относящегося к ее внутреннему миру. Сходная ситуация в обоих романах приводит к аналогичным последствиям. Сама ситуация оказывается не только формальным приемом, но и средством, во многом определившим дальнейший ход развития всех центральных событий в обоих романах.

«Хрящи ушей» Каренина нужны автору, разумеется, не сами по себе, а во многих других планах — идейных и сюжетных. Прежде всего: показать новое отношение Карениной к мужу под влиянием влечения к более достойному человеку (как кажется героине). «Заурядная болтливость» Гилеруа нужна и Мопассану не сама по себе, а для «поворота» всех последующих событий: духовный мир художника (при всей его ущербности) оказывается все же гораздо богаче духовного мира парламентского репортера. В обоих случаях «прием» выступает не только как формальный прием, а прежде всего как средство яркой характеристики многих

<sup>1</sup> *Maupassant Guy de. Fort comme la mort. Éditions en langues étrangères. M., 1957. P. 29–30.*

персонажей. У Толстого речь идет не только об Анне, но и о ее муже, о Вронском, о среде, в которой они вращаются. У Мопассана характеризуются и мир героини романа, и взгляды парламентского деятеля, и убеждения художника Бертена, и взаимные отношения между ними.

Можно обнаружить и различия в казалось бы аналогичной ситуации. У Толстого после описанного эпизода Анна *впервые замечает* «хрющи ушей» Каренина, у Мопассана о болтливости супруга сначала сообщается от имени автора и *лишь позднее*, после описанной ситуации, о болтливости Гилеруа *начинает* думать героиня романа. И оба эти эпизода сходны<sup>1</sup>.

Изучение подобных типологически аналогичных или близких ситуаций у больших мастеров слова представляет бесспорный интерес при условии, если сами эти «приемы» рассматриваются не в замкнутом кругу 36 или более возможных ситуаций, а как средство своеобразного раскрытия характеров и психологии действующих лиц повествования. И у Толстого, и у Мопассана так и оказывается: описанные эпизоды выступают как в большей или меньшей степени переломные и в развитии действия обоих романов, и в истолковании их центральных персонажей.

Методологически здесь возможны два решения вопроса. Первое: отметив совпадение ситуаций у разных авторов, отнести подобное совпадение к одному из образцов (стандартов) теоретически допустимых ситуаций и на этом поставить точку (найден принцип чисто формальной классификации). Второе решение: отметив упомянутое совпадение, попытаться объяснить, какую функцию интересующая нас ситуация выполняет в раскрытии замысла данного эпизода или даже всего повествования в целом. В нашем случае идейное и напряженно эмоциональное содержание эпизода у обоих авторов близко. Но теоретически вполне возможно допустить, что аналогичный эпизод мог играть разную роль в зависимости от общего замысла того или иного писателя. Вместе с тем *возникает и лингвистический вопрос*: как выражается данная ситуация в разных произведениях, какими языковыми средствами она передается, какое опорное слово или опорные

<sup>1</sup> У обоих писателей воспроизведенные сцены не содержат в себе ничего эротического, ничего «адюльтерного». В этой связи показателен отзыв И.С. Тургенева о другом романе Мопассана — «Жизнь»: «Роман — прелесть и чистоты чуть ли не шиллеровской» (цитирую по кн.: М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Т. 3. СПб., 1912. С. 222). О «стыдливом сердце» Мопассана вспоминает и К.Г. Паустовский в проникновенном очерке о французском писателе (см.: Паустовский К. Золотая роза. М., 1972. С. 504). «Философию» некоторых ранних эротических новелл автора «Жизни» недопустимо переносить на его основные романы и на очерки путешествий («На воде», «Бродячая жизнь» и др.).

слова при этом выбираются («хрящи ушей», «заурядная болтливость»), как синтаксически и стилистически ситуация оформляется (у Толстого вначале диалог, затем монолог, у Мопассана вначале монолог, затем диалог) и т.д.

Речь не идет о том, заимствовал ли Мопассан сходный эпизод у Толстого или создал его самостоятельно (разумеется, сам по себе и этот вопрос интересен). Здесь хотелось подчеркнуть другое: даже тогда, когда у разных писателей сюжетные и психологические ситуации близки или даже почти совпадают (это «почти» весьма существенно), они выполняют не совсем одинаковую (а нередко и совсем разную) функцию, если анализируются тексты больших мастеров. У Мопассана описанный эпизод сразу и резко меняет русло течения всего романа, у Толстого — он только намекает на возможный перелом в психологии Карениной, в ее взглядах и убеждениях, в ее отношении к окружающей среде. Сам же перелом наступает немного позднее. Здесь дает о себе знать и многоплановость романа Толстого и сравнительная одноплановость повествования Мопассана. Толстой постоянно и широко пользовался приемом, который впоследствии в кино будет назван «сменой планов». У Мопассана этого почти нет. Но в обоих случаях не технический прием оказывается самоценным, а его «наполнение», его истолкование большими мастерами прозы.

Известно, как высоко ценили у нас творчество Мопассана Тургенев и Чехов, Куприн и Л. Толстой. В 1894 г. Толстой написал предисловие к собранию сочинений Мопассана, издававшемуся на русском языке. Отметив глубокие противоречия в творческих исканиях французского прозаика, Толстой отдал должное блестящему и яркому мастерству автора «Жизни» и «Милого друга»<sup>1</sup>.

Изучение содержательной типологии литературных ситуаций еще только начинается. В настоящих заметках хотелось лишь вновь обратить внимание на эту тему, весьма интересную и в сравнительно-историческом, и в культурно-историческом планах<sup>2</sup>.

Из кн.: *Будагов Р.А.* Что такое развитие и совершенствование языка? М., 1977. С. 258–264.

<sup>1</sup> Толстой Л.Н. О литературе. М., 1955. С. 280–282.

<sup>2</sup> Ср. главу «О типологии речи» в кн.: *Будагов Р.А.* Язык, история и современность. М., 1971 и статью: *Соловьева А.К.* Заметки о типологии начальных строк художественных произведений // Науч. докл. высшей школы. Филологические науки. 1976. № 2. Проблема типологии в широкой международной постановке, но несколько в ином плане специально интересовала А.Н. Веселовского (см.: *Соколов А.Н.* А.Н. Веселовский — основоположник исторической поэтики // Уч. зап. МГУ. 1946. Вып. 107. Т. 3. С. 170–171; сб.: Академические школы в русском литературоведении. М., 1975. С. 255–256).

---

---

ОБ ОДНОМ  
ИНТЕРЕСНОМ  
ИЗДАНИИ,  
ПОСВЯЩЕННОМ  
ХУДОЖЕСТВЕННОМУ  
ТВОРЧЕСТВУ\*

«Научный совет по истории мировой культуры» при АН СССР опубликовал очередную книгу (1980), которая обращает на себя внимание всех, кому дороги судьбы современных наук, кто хочет разобраться в борьбе идей, во взаимоотношениях между разными областями знания. Впрочем, все уточняется уже заглавием сборника: в нем речь идет о взаимодействии между наукой (в широком смысле) и художественным творчеством, прежде всего художественной литературой. Анализируется вопрос о воздействии НТР на творчество писателей. Вопрос, относящийся к ряду вечных и актуальных.

Сама по себе эта тема может быть названа старой темой. Проблема «физиков и лириков» обсуждается во всем мире на протяжении нескольких десятилетий. Больше того. Эта тема периодически возникала и в XIX столетии. Таким образом, заслуга многочисленных авторов рецензируемого сборника не в постановке самого вопроса, а в том, как он освещается в 1980 г. и к каким заключениям он приводит своих читателей. Именно этим, на мой взгляд, интересна данная публикация.

Все статьи сборника можно разделить на две категории: работы более специальные, обычно чисто технического характера (например, «применение ЭВМ для составления словарей рифм» или «метрический репертуар А. Блока») и работы теоретического плана, авторы которых размышляют о социальном значении НТР, о типах и способах ее воздействия на художественную литературу. Нисколько не умаляя значения первого рода разысканий, я хочу, однако, обратиться к статьям второго рода. Хорошо, что авторами статей являются

---

\* НТР и развитие художественного творчества. Л., Наука, 1980.

представители самых различных специальностей и профессий: филологи, философы, писатели, математики, физики, инженеры, искусствоведы. Многие статьи изложены в форме свободной беседы, что придает им особую привлекательность.

Хотя сама по себе проблема взаимодействия (в дальнейшем под такой проблемой я буду иметь в виду проблему взаимодействия науки и художественного творчества) уже не нова, трудности взаимопонимания между представителями разных областей знания все еще велики. Отмечая подобные трудности, физик-теоретик академик А.Б. Мигдал в своей яркой статье замечает, что подлинное взаимодействие требует не поверхностного знакомства с той или иной наукой, а понимания ее существа, ее назначения, ее истории. А этого добиться в каждом отдельном случае, разумеется, совсем не легко.

Писатель, тщательно не изучивший современных проблем физики, может заставить «героя» своего романа, по профессии физика, защищать такие положения, которые вызовут лишь улыбку у реально существующих физиков. В свою очередь физик-теоретик, рассуждая о тайнах художественного творчества, но не знакомый с историей и теорией мировой литературы, с историей культуры, способен вызвать аналогичную улыбку у всякого образованного филолога. Этот последний тип дилетантизма особенно опасен, так как он широко распространен. Вспомним, например, толстовского Алексея Александровича Каренина, который, ничего не понимая в вопросах искусства, имел самые твердые и категоричные суждения именно по этим вопросам. Л. Толстой уже тогда сосредоточил свое внимание на этом парадоксе.

Не меньшие трудности возникают и тогда, когда НТР начинает как бы отодвигать на задний план *самого человека*. О серьезности проблемы свидетельствуют публикации с такими названиями, как, например, «Что же остается людям?»<sup>1</sup>.

При всем значении техники в современную эпоху, не следует и преувеличивать ее роль. Академик П.Н. Федосеев справедливо разграничивает понятие «производительных сил» и понятие «техники».

Как показывают интересные материалы сборника, можно, на мой взгляд, выделить два вида или два типа отражения НТР в художественной литературе (вслед за авторами сборника следует считать 1905 г., год великого открытия А. Эйнштейна, годом начала НТР). В первом случае речь идет о прямом, непосредственном

<sup>1</sup> См.: Левиков А. Что же остается людям? // Новый мир. 1980. № 5. Этому же вопросу (защите интересов людей в наш век электроники) посвящена и кн.: Митрофанов А.С. Кибернетика и художественное творчество. М., 1980.



воздействию НТР на художественное творчество. Такое воздействие обнаруживается прежде всего в самом языке и стиле художественного произведения, в изображаемой эпохе, в манере поведения «героев» и т.д. Когда, например, у А. Вознесенского «Олени, как троллейбусы, Снимают ток с небес» (с. 101) или у Б. Слуцкого «Небеса теперь простые склады звезд, эфира и высоты» (с. 114) или когда полет Юрия Гагарина вызывает к жизни многие сотни стихотворений, то прямое воздействие НТР здесь совершенно очевидно и не нуждается в специальных комментариях.

Но значительно менее изученным, хотя еще более существенным, оказывается второй тип воздействия НТР на художественное творчество. Речь идет о своеобразном *внутреннем влиянии*, о том, как меняются общие условия жизни людей в эпоху НТР и как подобные изменения находят свое выражение в творчестве художников слова.

Приведу два примера. В 20-х гг. во многих странах были весьма популярны так называемые производственные романы французского писателя П. Ампа. Они и у нас переводились на русский язык и пользовались широкой известностью. Между тем Амп считал, что лучшая революция делается путем совершенствования машин (с. 118). Ничего индивидуального, подлинно творческого, эти романы не имели. И неудивительно поэтому, что они вскоре оказались совсем забытыми, хотя, казалось бы, отражали успехи НТР. Но вот, примерно в то же время, в 1925 г. появился роман «Эроусмит» большого мастера — С. Льюиса. Его центральный персонаж занят проблемой бактериофага. Здесь и раскрыт сложный духовный мир ученого. И хотя проблема бактериофага, как научная проблема, давно решена, роман до сих пор читается с большим интересом: в этом глубокое различие между «производственным» уровнем Ампа и «производственным» уровнем С. Льюиса (с. 120).

Со своей стороны замечу: от биографии изобретателя пенициллина Флеминга, талантливо воссозданной А. Моруа<sup>1</sup>, оторваться трудно не потому, что в наши дни проблема пенициллина волнует человечество, а потому, что в книге показаны трудные, нередко мучительные, поиски научной истины, препятствия, возникающие на пути ученого. Влияние НТР в подобных случаях оказывается уже не внешним, а внутренним, органическим.

Сходные мысли развивает и писатель Д. Гранин в ярком очерке на эту же тему: «Литература не подсобное средство для НТР... История литературы свидетельствует, что так называемые произ-

<sup>1</sup> См.: Моруа А. Жизнь Александра Флеминга. М., 1964.

водственные романы оказывались жизнестойкими, если в них сосредоточивались главные социальные заботы времени, а не проблемы кислородного дутья и скоростного фрезерования» (с. 47). Такое, безусловно справедливое, суждение особенно знаменательно в устах писателя, инженера по образованию.

Тем самым два типа воздействия НТР на художественное творчество подтверждаются разнообразными фактами: воздействие преимущественно внешнее и воздействие прежде всего внутреннее.

Само по себе влияние техники на художественное творчество наблюдалось и задолго до возникновения НТР. Изобретение парового котла, ткацкого станка, воздухоплавания и т.д. — все эти и подобные им технические новшества не могли пройти мимо страниц художественных текстов, оказывая тем самым влияние и на персонажей этих текстов, и на восприятие читателей. Однако должна была произойти НТР, чтобы подобное воздействие стало бы не только более мощным, но и иным по своему характеру, по своим последствиям.

Здесь же возникает и другой вопрос: с техникой обычно связывают различные процессы автоматизации. Авторы сборника правы, подчеркивая важность разграничения нужных и ненужных автоматизаций. Одно дело автоматизация всевозможных подсобных работ, возникающих в самом процессе подготовки художественного произведения, совсем другое — автоматизация интуиции, которая в 1980 г. наконец-то признается «недоступной для ЭВМ» (с. 172, мнение академика-математика В.М. Глушкова). И здесь, как и везде в таких случаях, следует думать прежде всего о человеке.

Прибавлять к посредственным художественным произведениям (словесным, живописным, музыкальным и другим), еще такие же посредственные опусы, созданные автоматами, бессмысленно. И безусловно прав один из авторов сборника, утверждая, что «машинное стихосложение» не имеет «даже отдаленного отношения к предмету поэзии» (с. 229). То же, разумеется, надо сказать и о «машинной прозе».

Другой вопрос — чисто теоретический: может ли автомат справиться с такой «работой»? Это интересно, и на этот вопрос должны дать ответ только большие специалисты в области ЭВМ. Но людям, в их жизни, в их радостях и горестях, посредственные музыкальные, живописные, прозаические или стихотворные произведения, разумеется, не нужны. А так как интуиция для машины недоступна, то и говорить об индивидуальном художественном творчестве машины невозможно. Машина воспроизводит по

стандарту, и в этом ее своеобразная сила. Художественное же творчество индивидуально и неповторимо. Я имею в виду больших мастеров.

С этими, очевидными в наши дни положениями, в целом согласны все участники рецензируемого сборника. Так определяется его бесспорное достоинство. Разграничив нужные и ненужные эксперименты, авторы тем самым продвигают вперед всю проблему. И дело здесь совсем не в том, что кто-то будто бы накладывает запрет на дальнейшие эксперименты в этой области, как иногда демагогически заявляют, а в самой целесообразности (с позиции интересов людей) тех или иных экспериментов.

Нет сомнений, что возможности ЭВМ будут развиваться все больше и больше. Но пусть это развитие направляется на благо людей.

Взаимоотношения между НТР и художественным творчеством тесно связаны с взаимоотношениями более широкого характера — между человеком и техникой, между человеком и машиной. Подобные взаимоотношения возникли уже давно. Если не обращаться к предшествующим векам, то XX в. знает немало ярко написанных произведений, изображающих всю сложность проблемы. Известный чешский писатель К. Чапек в своей драме «R. U. R.» (1920) показал, как могут роботы восставать против человека (сам же Чапек впервые ввел в литературный язык слово *робот*<sup>1</sup>). Здесь можно вспомнить и Чарли Чаплина с его ярким фильмом «Новые времена» (1936), в котором человек превращается в своеобразный придаток к машине. Швейцарский писатель М. Фриш в 1957 г. публикует роман «Homo Faber», изображающий личность, преклоняющуюся перед машиной как перед новой религией. С других позиций Л. Леонов в своем «Русском лесе» (1953) ведет рассказ об ученых разных взглядов на окружающую нас природу, на взаимоотношения между человеком и новой техникой.

Конечно, было бы не только наивно, но и неразумно присоединиться к панике «маленького человека» перед огромной мощностью машины. Очень старая история с английскими луддитами лишней раз напоминает нам об этом. Здесь почти все определялось и определяется социальными условиями жизни людей и их культурным уровнем. Но здесь есть и другая сторона вопроса, на которую попутно обратили внимание некоторые из авторов сборника.

Известен весьма старый вопрос о том, что «дано» человеку раньше — разум или чувство. «Нет ничего в разуме, чего раньше не было бы в чувстве» (*Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu*).

<sup>1</sup> Подробная история слова *робот* дана в кн.: Брагина А.А. Неологизмы в русском языке. М., 1973. С. 154–160.

Это положение в XVII столетии было впервые сформулировано Дж. Локком, а немного позднее Г. Лейбниц продолжил приведенное изречение, прибавив к нему: «за исключением самого разума» (*nihil intellectus ipse*)<sup>1</sup>. Тем самым вопрос о первичности чувства или разума не был решен.

Старый спор приобретает новый смысл в эпоху НТР. Д.А. Гранин тонко замечает: в наше время имеется немало людей, «которые не написали за свою жизнь ни одного большого письма, не видели ни одного восхода солнца, не просидели и часа на кладбище..., не знают наизусть ни одного стихотворения... Современный человек живет во все нарастающем цейтноте. Скорее, некогда!» (с. 41). И это глубоко справедливо. Взаимоотношения между НТР и художественным творчеством предстают здесь в новом ракурсе. И конечно, глубоко ошибаются люди, считающие, что все это лишь «сантименты», не имеющие никакого отношения к великой и серьезной проблеме НТР. Между тем здесь связь прямая, если понимать НТР не абстрактно, не «вообще», а как НТР, совершающуюся для человека и во имя человека. И разум оказывается неотделимым от чувства.

К сожалению, любое общество должно располагать такими специалистами и такими специальностями, которые лишены прямого творческого начала. Без подобных специалистов общество существовать не может. Вот и возникает проблема: как таким труженикам дать возможность любоваться природой или слушать музыку, не допуская, чтобы сама профессия лишала людей того мира чувств, о котором речь шла при анализе ранее приведенного изречения. Здесь многое зависит от социального устройства самого общества.

Единство разума и чувства — это единство противоположностей, единство не только диалектическое, но и историческое. Как справедливо замечает один из авторов сборника совсем по другому поводу, «восковой манекен, натуралистически воспроизводящий безупречно сложенную современную женщину, эстетической ценности не имеет, а статуи, созданные до нашей эры и дошедшие до нашего времени безрукими и даже безговыми, до сих пор служат... источником высокого эстетического наслаждения» (с. 231). Разум ищет правильных, привычных форм, чувству же надо другое — индивидуальная красота и неповторимость, даже если такая неповторимость ущербна. Вопрос осложняется. Существенно, кем, как и когда созданы созерцаемые человеком предметы. В разные эпохи меняется и представление о самой красоте.

<sup>1</sup> Виндельбанд В. История новой философии. Т. 1. М., 1906. С. 395.

Вот и оказывается, что разум и чувство образуют не только диалектическое, но и историческое единство, подвижное во времени.

Уже было остроумно замечено: есть теоремы Пифагора, Колмогорова, но нет теорем Математического института (с. 46). Между тем общий уровень развития соответствующей науки в каждую историческую эпоху помог в свое время и тому и другому ученому. То же, разумеется, наблюдается и в художественном творчестве. «Война и мир» Л. Толстого индивидуальна и неповторима. Но уровень движения литературного языка, художественного творчества, науки, специально историографии эпохи Толстого подготовили условия для возникновения его романа.

Высоко оценивая рецензируемый сборник в целом, я позволю себе сделать два критических замечания.

Как мы видели, в сборнике хорошо показано воздействие НТР на художественное творчество. Что же касается обратного воздействия художественного творчества на НТР, на ее методы и формы, то о таком воздействии лишь бегло упоминается в книге (с. 22, 145, 224), но по существу специально не исследуется. Об этом нельзя не сожалеть. Большинство сборников на сходную тему, изданных за последние два—три десятилетия и у нас, и за рубежом имеют этот же недостаток. По-видимому, легче анализировать влияние НТР на художественное творчество и шире — на гуманитарные науки в целом, чем проследить своеобразное, обычно прямо не выраженное, как бы подспудное, но глубокое воздействие гуманитарных областей человеческого знания на сущность, формы и методы протекания НТР. Здесь еще почти совсем нетронутая, хотя и очень интересная тема, социально острая и важная. Лишь И. Грекова в запоминающейся статье попутно заметила, что математические науки, проникая в гуманитарные сферы знания, сами становятся менее жесткими (с. 224). Но как все это происходит в действительности, еще не показал никто<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Однако, ср. слова академика-химика В.А. Легасова: «...та техника, которой наш народ гордится, которая финишировала полетом Гагарина, была создана людьми, стоявшими на плечах Толстого и Достоевского...

Люди, создававшие тогда технику, были воспитаны на величайших гуманитарных идеях. На прекрасной литературе. На высоком искусстве. На прекрасном и правильном нравственном чувстве...

Они выражали свою мораль в технике. Относились к создаваемой и эксплуатируемой технике так, как их учили относиться ко всему в жизни Пушкин, Толстой, Чехов.

А вот в следующих поколениях, пришедших на смену, многие инженеры стоят на плечах «технарей», видят только техническую сторону дела... долгое время игнорировалась роль нравственного начала — роль истории нашей, культуры — а ведь все это одна цепочка» (Юность. 1987. № 7. С. 48; прим. А.Б.).

У меня вызывает решительное возражение термин «точные» науки по отношению к математике и естествознанию. В свое время я попытался подробно обосновать несостоятельность такого термина<sup>1</sup>: всякая наука располагает *своим* понятием точности. Без этого условия невозможно говорить о взаимодействии разных наук. К тому же термин «точные» науки вызывает невольное представление о науках, будто бы «неточных». Разумеется, у каждой науки имеются свои трудности, свои нерешенные темы и проблемы. Но это совсем другой вопрос, не имеющий никакого отношения к понятию «точности — неточности». То, что в большинстве европейских языков также употребляется этот же «термин» (ср., впрочем, английское *hard sciences* «строгие науки»), несколько не делает его приемлемым.

Отрадно, что взаимодействие НТР и художественного творчества осмысливается в наши дни гораздо более широко, чем это наблюдалось 10–15 лет тому назад. На мой взгляд, речь должна идти теперь именно о *взаимодействии* разных областей человеческого знания, а не об одностороннем наступлении одних наук на другие. При этом не следует думать, как это, к сожалению, иногда наблюдается до сих пор, что математическая символика сама по себе обеспечивает чуть ли не абсолютную точность доказательств. Критикуя стиль некоторых ученых за последние 20–25 лет, один из авторов сборника, имеющий степень доктора физико-математических наук, совершенно справедливо пишет: «... с помощью математической символики можно написать столько ерунды, столько пустопорожних, псевдонаучных измышлений, что иной раз диву даешься... Само по себе наличие математического аппарата никак не придает точности и достоверности научному исследованию» (с. 225).

НТР и художественное творчество — тема большая, весьма интересная и весьма актуальная. Она интересна потому, что художественное творчество никогда не иссякает, а НТР продолжается и развивается. Этим же определяется и актуальность самой темы. И хорошо, что рецензируемый сборник дает не только разнообразный материал, но и продуманное его осмысление, которое должно привлечь внимание самого широкого круга читателей.

Науч. докл. высшей школы. Филологические науки. 1981. № 1.

<sup>1</sup> См. специальный раздел о понятиях интуиции и точности: *Будагов Р.А.* Язык и культура. Хрестоматия: В 3 ч. Ч. 1. М., 2001. С. 17–18; см. также: *Он же.* Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени. М., 1978. С. 5–45.

РУБЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ БУДАГОВ  
ЧТО ТАКОЕ РАЗВИТИЕ  
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЯЗЫКА?

*2-е издание, дополненное*

Редактор  
*Л.Н. Левчук*

Художник  
*А.В. Прошкина*

Художественно-технический редактор  
*З.С. Кондрашова*

Корректор  
*Л.И. Орлова*

Компьютерная верстка  
*Л.В. Тарасюк*

Лицензия ИД № 01829 от 22 мая 2000 г.  
Подписано в печать 25.05.2004.  
Формат 60×90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Офсетная печать. Гарнитура Таймс.  
Усл. печ. л. 19. Тираж 1000 экз. Заказ

Издательство «Добросвет-2000»  
Контактные телефоны:  
720-21-05, 150-69-36,  
факс: 459-04-53.  
Отпечатано с оригинал-макета  
в типографии НИИ «Геодезия».  
г. Красноармейск, Московская обл.